

РЕДКАЯ КНИГА

КНИГА • РЕДКАЯ

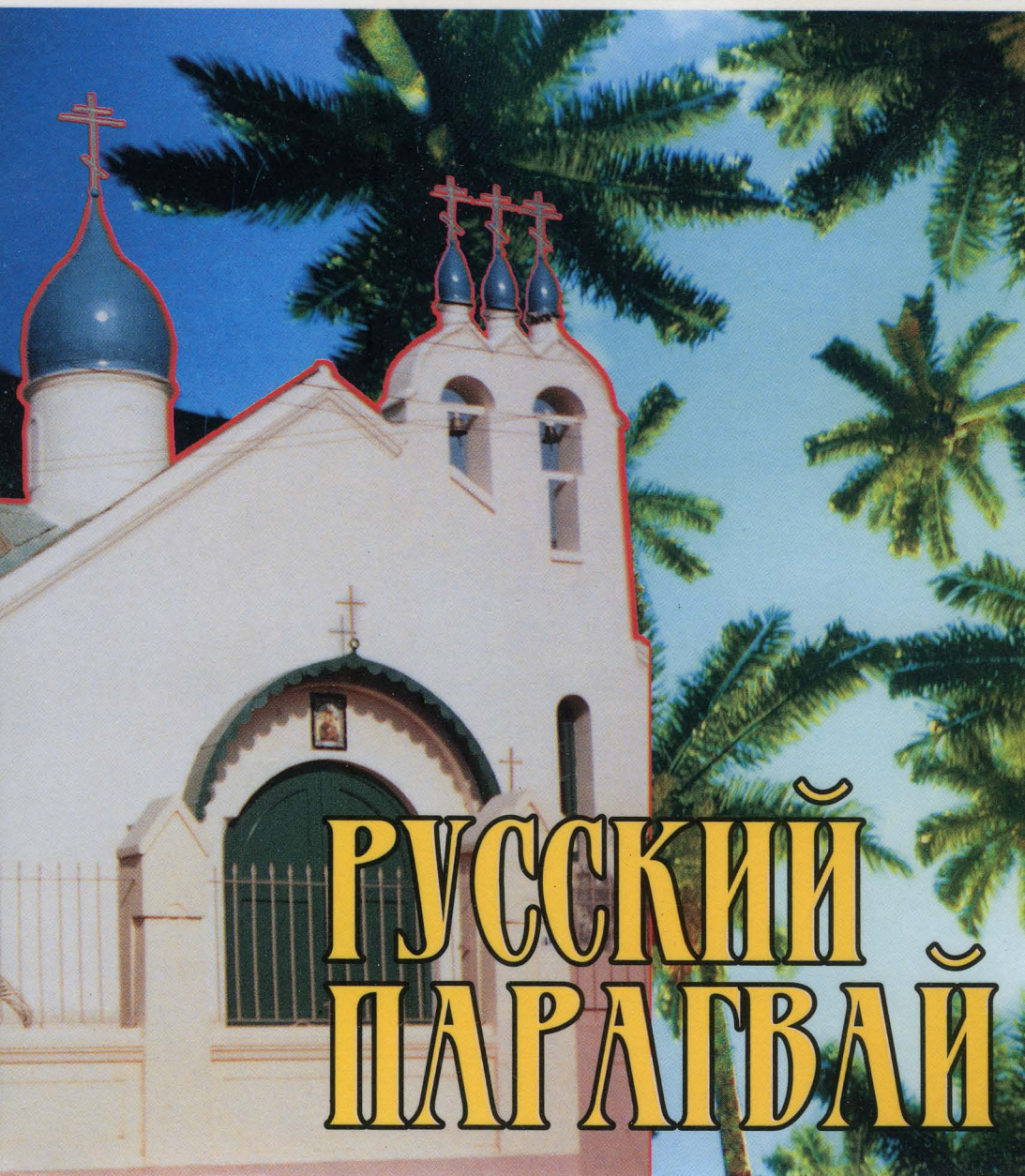
РЕДКАЯ КНИГА



РЕДКАЯ КНИГА

КНИГА • РЕДКАЯ

РЕДКАЯ КНИГА



РУССКИЙ ПАРАГВАЙ



резиденция АРИДЕП

Мемориал и Музей защитников Чако

Дворец Президента

Этнографический музей «Андрес Барберо»

храм Покрова Пресвятой Богородицы

Национальный Пантеон Героев

улица МАЙОРА САЛАЗКИНА

улица КРИВОШЕЙНА

улица БУТЛЕРОВА

улица ВЕЙСА

улица КАСЬЯНОВА

улица ЛЕЙТЕНАНТА МАЛЮТИНА

улица БЛИНОВА

улица ИНЖЕНЕРА КОНРАДИ

улица ГОЛЬДШМИДА

CIUDAD DE ASUNCION
VIAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

РУССКИЕ МЕСТА
В СТОЛИЦЕ ПАРАГВАЯ
АСУНСЬОНЕ

*Посвящается русским офицерам,
отстоявшим
свободу и независимость Парагвая
в 1932—1935 годах*





Иван Тимофеевич Беляев

БОРИС МАРТЫНОВ

РУССКИЙ
ПАРАГВАЙ



Повесть о генерале Беляеве,
людях и событиях прошлого века

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2006

Однажды, в далеком 1980 году, занимаясь в Библиотеке иностранной литературы, я наткнулся на странное словосочетание — парагвайские казаки. Что за диво? С тех пор я стал выуживать из проходившей через мои руки литературы все, что так или иначе было связано с историей Парагвая. И вот всплыло имя генерала Ивана Тимофеевича Беляева. Со временем этот исторический персонаж виделся мне все четче. Я оценил масштабы личности генерала Беляева.

Началась работа. Первым результатом ее стал выход в 1993 году в Институте Латинской Америки РАН небольшой книжки «Парагвайский Миклухо-Маклай. Повесть о генерале Беляеве». Но я понимал, что без поездки на место событий, без встреч с людьми, с теми самыми «парагвайскими русскими», которые помнили Беляева или что-то знали о нем, настоящая книга не состоится.

Двухлетняя командировка в Бразилию. Поездка в Парагвай. Встречи, беседы, документы, памятные места... Огромный материал, заставивший по-новому взглянуть на многие события, дали встречи с Александром Георгиевичем фон Экштейном-Дмитриевым, Виктором Бутлеровым, Святославом Канонниковым, Натальей Срывапиной и Брониславой Сушник. Всем им — живущим и тем, кто, к сожалению, уже ушел от нас, — огромная благодарность и низкий поклон. Без их поддержки и понимания не было бы этой книги.

Большую помощь оказали мне директор Национального этнографического музея Асунсьона доктор Аделина Пусиньери и президент Ассоциации индеевских исследований Парагвая доктор Рафаэль Рейес. Благодаря информации, полученной от наших бразильских друзей, я подробнее узнал о планах нацистской Германии в отношении Южной Америки и о деятельности немецких «пятых колонн» в Бразилии, Аргентине и Боливии. Эта информация существенно расширила рамки повествования.

По возвращении в Москву я встретился с Ириной Владимировной Кузнецовой. Занимаясь историей своего славного рода Эллиотгов-Беляевых, она любезно передала мне материалы семейного архива и фотографии.

Беседы с Сергеем Алексеевичем Беляевым, автором ряда публикаций по истории русской эмиграции, дали мне ценные сведения о судьбах братьев Беляевых в нелегкие для России годы.

Добрым словом вспоминаю Кирилла Владимировича Таганцева, встреча с которым в Санкт-Петербурге летом 1999 года осталась для меня памятной.

Не могу не отметить вклад в эту работу Павла Львовича Шебалина. Весной 2001 года он побывал в России. Мы много говорили о последних годах жизни генерала Беляева.

Татьяна Владимировна, Александр Сизоненко и Александр Кармен — мои коллеги латиноамериканисты, побывали в Парагвае и опубликовали интересные работы по его истории. Их материалы тоже использованы при написании книги.

Наконец, величайшая признательность моей жене Елене. Не рождаются книги без любви, понимания и поддержки наших близких. Я-то это знаю.



Однажды заведенные великим Петром часы — обожал он всякую механику! — отсчитывали второе столетие огромной империи, раскинувшейся от океана до океана. Скрипя в осях, страна натужно подтягивалась за временем, которое задавали ей и куранты Петропавловки, и «карманные часы» поручика Лермонтова в простенке Школы гвардейских кавалерийских подпрапорщиков и юнкеров, что у Синего моста, и десятки тысяч часовых механизмов в жилетных и нагрудных карманах петербургского чиновного люда.

Город с циферблатами площадей, стрелками проспектов и линиями улиц казался гигантскими часами, искусный механизм которых с туго заведенной однажды пружины царь Петр упрятал где-то в глубине финских хлябей. Город, механическим насекомым присосавшийся к северо-западной окраине страны-континента, методично втягивал ее в себя, перемалывая тяжелыми маховиками тысячелетнее наследие Святой Руси, перетирая зубчатыми колесами древние верования, традиции и привычки ее обитателей. Все громче звучало «ать-два», незаметно заменившее собой «тик-так».

Первый надлом обозначился в конце века восемнадцатого. «Солдат — механизм, артикулом предусмотренный». Бесталанный правнук угодил-таки великому прадеду, сумев довести до изящества тайную мысль последнего. Механизмы стреляли и маршировали, пили вино и развлекали дам, органчики в головах писали входящие и исходящие, распивали чай и грозили указующими перстами. Город жил по своим законам.

Но выше закона был Бог.

Откуда-то из глубин народного бытия появился вдруг Он: полководец и поэт, учитель и творец — Суворов! Враг шаблона и догмы, он однажды сказал: «Каждый солдат должен знать свой маневр!» Надо было ослабить пружину, пока какой-нибудь новый Пугач не растащил страну на портянки. Вольнодумство прикрывалось чудачеством и оправдывалось великими победами. Был нужен — терпели.

Потом постарались забыть. «Наука побеждать» грозила науке угождать, мешала равеннию на начальство. И вот уже знаменитое ермоловское: «Государь, произведите меня в немцы!» — подводит черту под одним периодом и выводит все на новый круг, туда, где «своя своих не познаша». Механизм стал работать вхолостую,

потом пошел вразнос. Идея Петра о Великой России уперлась в непонимание того, что ни одно подобие не достойно оригинала, что живую душу и свободное творчество, подаренные людям самим Творцом, нельзя заменить системой, сколь бы совершенной она ни казалась.

Приближалось новое, двадцатое столетие. Часы, заведенные рукой великого Мастера, стали часовым механизмом, которому суждено было привести в действие заряд. Мощнейший из всех, какие только знала История...



Глава первая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Здесь жили люди, и в каждом — чудо,
А вдруг вернуться, вспомнив Неву?
Я никогда тебя не забуду.
Вернее временно, пока живу.

Андрей Вознесенский

Мы сидим в обычной двухкомнатной квартире в районе метро «Алтуфьево» и неспешно пьем чай с симпатичной пожилой женщиной. Тишина, уют...

Но обстановка донельзя обманчива. Стоит лишь чуть напрячь фантазию — и перед глазами мелькают светские салоны старого Петербурга, клопочут телефонными звонками полевые штабы различных, порой довольно экзотических армий, раскрываются холодные трюмы эмигрантских пароходов, слышится русская, немецкая, испанская речь. А то вдруг и стены, и потолок растворяются в буйной зелени южноамериканской сельвы, оглушающей криками попугаев, ревом ягуаров, стрекотанием цикад... Все же прав был чародей и переводчик из булгаковского «Мастера»: пространство растяжимо и пятое измерение существует.

Хозяйка наша, Ирина Владимировна Кузнецова, представляет большой и славный род Эллиотов-Беляевых, давший России немало прелестных женщин, блестящих офицеров, талантливых ученых и инженеров, священников и врачей. В разные времена с этой семьей так или иначе пересекались судьбы генералиссимуса Суворова, поэтов Блока и Гумилева. Однажды — было это при царе Алексее Михайловиче — Беляевы едва не стали царской родней. По семейному преданию, на устроенных во дворце в Коломенском смотринах царь в последний момент предпочел девице Овдотье Беляевой Наталью Кирилловну Нарышкину — будущую мать царя Петра...

Наш рассказ пойдет об одном представителе этого обширного семейства, чья судьба была, наверное, самой необычной.

Фигуру генерал-майора от артиллерии Ивана Тимофеевича Беляева трудно уместить в знакомые для обыденного сознания рамки. Она предстает сразу в нескольких ипостасях и действует в двух разных пространственно-временных измерениях. Это был генерал русской армии и индейский вождь в далеком Парагвае, который сочетал в себе качества незаурядного военного и глубоко

штатского ученого-гуманиста. Парадокс, но чем неординарнее человек, тем иногда бывает легче дать ему какое-то однозначное определение. Генералу Беляеву вполне можно было бы присвоить звание «профессиональный спасатель». Если бы он задался целью составить себе распорядок — не на день, не на неделю, а на всю жизнь, — то, наверное, мог бы записать:

первое — спасти Россию;

второе — спасти веру, традиции и культуру русской нации;

третье — спасти Парагвай;

четвертое — спасти от вымирания и истребления парагвайских индейцев.

Мечтатель? Конечно! Сколько таких мечтателей рассеялось по просторам земли российской, в ближнем и дальнем ее зарубежье, затерялось в глубинах истории. Читатель вправе спросить: стоило ли затевать книгу об одном из них? Однако Иван Беляев — мечтатель с такой результативностью дел, редок в России. И потом, человек, вполне достойно выполнивший два последних задания, может быть, был близок к тому, чтобы выполнить и два первых? А это уже интересно...



Есть в городе Санкт-Петербурге Гарновская улица, что идет параллельно Измайловскому проспекту. Здесь, в одном из домов, в скромной квартире, в каких жили семейные офицеры гвардейского Измайловского полка и лейб-гвардии Второй артиллерийской бригады, — в ней служил капитаном тридцатидвухлетний Тимофей Михайлович Беляев, — родился наш герой. Шел 1875 год, а день был весенний — 19 апреля.

Возвращаясь накануне со службы домой, гвардеец-артиллерист пребывал в состоянии тревоги. Конечно, предстоящее появление на свет ребенка заставляет любого отца задумываться и о здоровье матери, и о том, что ждет его кровиночку в этом безумном мире. Но в отличие от дня сегодняшнего, когда россиянин сто раз подумает перед тем, как завести детей, капитан Беляев крепко надеялся, что любимые его чада, а их было уже четверо: дочка Маша, Махочка, и трое сыновей — Сережа, Мишуша и Володя, — найдут свое место в жизни. И дело было не только в материальном благополучии семьи — денег, как известно, всегда не хватает! Глядя на медленно выплывавшие из-за домов величественные ультрамарины Троицкого собора на фоне блеклого северного заката, капитан ободрял себя тем, что мир, в который предстояло шагнуть очередному представителю рода Беляевых, прекрасен.

Так, должно быть, думали в ту пору многие. Вот что напишет герой нашего повествования семьдесят пять лет спустя в непомерной дали от уютных берегов Фонтанки: «Я родился в те дни, когда Европа только что вышла из потрясений, вызванных движением 48-го года, и вооруженных столкновений, сопровождавших возрождение Германии и Италии. В тот самый момент, когда насильственная смерть становилась анахронизмом и лишь вызывала любопытство, как пережиток прошлого; когда казалось, что перед Европой, а за нею и перед всей Вселенной, открывается безоблачное будущее непрерывного прогресса».

Теплым петербургским вечером весны 1875 года не возникало опасений за судьбы человечества. Дело было в другом.

Холодны апрельские рассветы. Пронзительным ветром продуло жену Тимофея Михайловича, когда она, стоя в дверях, проводила ранним утром мужа на службу. Пора рожать, а тут — воспаление легких. Беспокойство о здоровье Марии Ивановны и будущего ребенка не покидало Тимофея Михайловича все последние дни, и никакие мысли о предстоящем повышении, о скором отпуске и долгожданной поездке в имение тестя под Гдовом не могли заглушить нараставшей тревоги.

Через пять дней после рождения четвертого сына, нареченного Иваном, Мария Ивановна Беляева скончалась. «Перед кончиной, рассказывают, она нежно поцеловала меня. Едва ли я отдавал себе отчет в значении ее последнего благословения, но чем дольше я живу, тем больше проникаюсь мыслью, что ее любовь вместе с незапятнанной честью моего отца было лучшее, что я мог бы унаследовать от своих родителей», — напишет Иван Тимофеевич в своих мемуарах.

* * *

Отвлечемся от треволнений капитана и поговорим об истории его рода, как и положено в любом серьезном биографическом произведении.

Питерская ветвь Беляевых пошла от Ивана Ивановича, брата царской невесты Овдотьи, которая закончила свои дни в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре. По некоторым данным, Беляевы получили дворянство от первого из Романовых — Михаила Федоровича, за заслуги во время «Московского сидения» при поляках в 1612 году. Можно предположить поэтому, что отнюдь не превосходные стати более удачливой соперницы, а всего лишь относительно недавнее дворянство Овдотьи повлияло на результат смотрин в Коломенском.

На фамильном гербе Беляевых был изображен медведь, державший в лапах три ячменных колоска. Это говорило о том, что

род имел новгородские корни, а его основатели не чурались крестьянской работы. Позднее на гербе появился символ воинства — подкова. Беляевы служили в рейтарах царям Алексею Михайловичу и Петру Алексеевичу. За Петром Алексеевичем потом и подались на север, в новую столицу.

Алексей Иванович Беляев, правнук Ивана Ивановича, в 1765 году, при Екатерине Великой, имел обер-офицерский полковничий чин, собственный дом в Санкт-Петербурге и был женат на Анне Нелидовой. Было у них двое сыновей — Тимофей и Михаил. Младший, Михаил, родившийся в 1792 году, начинал службу в Воронеже, затем был переведен в Санкт-Петербург, в аудиторский департамент Правительствующего сената. После столицы он некоторое время служил в Варшаве. Последний чин Михаила Алексеевича — генерал-аудитор.

Михаил Алексеевич Беляев, дед нашего героя, был женат дважды. Первый раз на Софье Захаровне Кадьян. Кадьяны — последние грузинские князья из Аджарии. В этой семье детей было десятеро. Шестеро умерли в раннем возрасте, в живых остались четверо — Александр, Алексей, Николай и Тимофей, отец Ивана Тимофеевича. От второго брака у Михаила Алексеевича детей не было.

Судьба всех четверых оказалась связана с артиллерией. Крымская война расставила многое по местам. «Первый звонок» петровского будильника прозвучал под Балаклавой и Севастополем. Служба Царю и Отечеству — смысл и цель жизни многих поколений русских офицеров — все больше требовала не столько беспрекословного исполнения приказов и самоотверженности на поле брани (в этом с нами мало кто может потягаться!), сколько самостоятельности, смелости мысли и суждений, творческой неуспокоенности...

Воюя на бастионах Кронштадта, поручики Александр и Алексей Беляевы мыслили вполне творчески. Им, имевшим дело с пушками, не подпустившими англичан и французов к столице, уже в 1855 году было ясно: артиллерия — бог войны. Оба не только стали фанатами артиллерии, но и добились, чтобы младшие братья — Николай и Тимофей — пошли по выбранному ими пути. С тех пор и по суровый февраль 1917 года все мужчины Беляевы не просто офицеры, они — артиллеристы.

Александр Михайлович прожил недолго, до сорока двух лет, успев стать полковником и профессором Михайловской артиллерийской академии. Алексей Михайлович дослужился до генерал-лейтенанта, был управляющим делами Артиллерийского комитета, военным журналистом, редактором издававшегося в Петербурге «Артиллерийского журнала». Своими публикациями он немало способствовал перевооружению русской армии нарезным

оружием. Его сыну, Михаилу Алексеевичу, который, по мнению французского посла в России М. Палеолога, был «одним из наиболее образованных и добросовестных офицеров русской армии», суждено было стать последним военным министром империи...

Карьера Тимофея Михайловича началась с поступления в 1855 году в знаменитый Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус. Знаменитое учебное заведение размещалось тогда во дворце светлейшего князя и генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова. Кадетом Тимофей частенько захаживал в дом к своему начальнику — командиру корпуса генералу Ивану Андреевичу Эллиоту, формально — по службе, на деле — повидаться с его прелестной дочкой Марией Ивановной. По окончании курса молодой офицер посватался и получил согласие генерала.

В семье Эллиотов прошли детство и юность нашего героя. Поэтому познакомим читателя и с ее историей. Шотландец Эллиот приехал в Россию при Екатерине Великой вместе с двенадцатью капитанами, покрывшими себя неувядаемой славой при Чесме и Наварине, — с Грейгом, Огильви, Рикордом и другими. В России капитан Эллиот стал зваться Андреем Ивановичем.

В «Записках русского изгнанника», оконченных в Парагвае в 1950 году, Иван Тимофеевич Беляев рассказал, как в разгар Гражданской войны он встретил в Харькове молодого британского офицера Джона Кеннеди родом из тех же мест, откуда происходили и русские Эллиоты:

«— Но у ваших на гербе рука с копьем? — спросил меня британец не без беспокойства.

— Нет! У наших над щитом рука с мечом, а под щитом девиз: Peradventure!

— Ах, как я рад! Ведь про тех, без девиза, ходила дурная слава. Мой дед запретил мне общаться с ними...»

Девиз на гербе Эллиотов Беляев перевел как «Наудалую!» И это «Наудалую!» стало жизненным кредо Ивана Тимофеевича, любившего азарт и благородный риск, с удовольствием участвовавшего в самых безнадежных предприятиях.

Клан Эллиотов был известен в Шотландии с XV века. Его основателем считают Роберта Элволда — кастеляна, смотрителя замка Эрмитэдж, принадлежавшего графам Дугласам. В XVII веке клан неимоверно разросся и распространился по всей Британии, а потом и по всему свету. Символом благородных Эллиотов был боярышник, их родовым именем — Джилберт. Среди них были судьи, политики, философы, моряки, писатели и поэты, даже вице-король Индии! Особенно чтили шотландские Эллиоты одного своего предка, который прославился тем, что дал обет ежедневно отсылать Марии Стюарт по алой розе, что и делал вплоть до конца жизни несчастной королевы.

Контр-адмирал Андрей Иванович Эллиот скончался в России в 1822 году не очень, прямо скажем, состоятельным человеком. Всего-то богатства у него и было — двое сыновей, служивших в пехотном имени принца Карла Прусского полку. Однажды рота этого полка, совершая утомительный марш-бросок, набрела на небольшое поместье Леонтьевское, под Гдовом. Там коротал свою старость Леонтий (Людольф) Федорович Трефурт, швейцарец на русской службе, дипломат екатерининской школы, секретарь по иностранной переписке самого Суворова — личность во многих отношениях легендарная.

Четыре сына Леонтия Федоровича были расписаны по полкам, тем больше отеческой любви доставалось единственной дочери — Елизавете, воспитаннице Смольного института. Как раз в ту пору, когда усталая компания храбрых вояк под водительством Ивана Андреевича Эллиота маршировала из леса прямо к Леонтьевскому, там гостила Лизонька, свет родительских очей. И так уж, наверное, суждено было судьбой, что столичная барышня не смогла устоять перед простым пехотным офицером, «без затей», но с неподражаемым шармом, который решил к тридцати двум годам наконец-то завести семью.

Как опытный дипломат, Леонтий Федорович знал: есть вещи, против которых разум бессилен. Он дал согласие на брак.

«Свадьбу сыграли как нельзя лучше, — рассказывала потом маленькому Ване Марья Калинишна — старая нянька Эллиотов. — Гостям отвели помещение в домике, а Прусскому полку — в бане. Вечером играла полковая музыка, а ужин был такой — все с ног сбились. Ночью запустили фейерверк и стреляли из старой турецкой пушки, добытой еще под Измаилом. Ну а потом молодые жили в простой деревенской избе. Там у них родилась Елизавета Ивановна». За Елизаветой Ивановной последовали Генриетта Ивановна, Александра Ивановна Елена Ивановна, мать Ивана Тимофеевича Мария Ивановна и, наконец, Евгения Ивановна.

Жизнь в имении потекла быстро, бурно, особенно в летние месяцы. Подросли дети. Замечательно красивые девушки привлекали в усадьбу столичный бомонд. Дом наполнился знакомыми, молодежью. Из знаменитостей в Леонтьевском бывали Тургенев, Гончаров, Григорович, Дружинин. Сегодня мы бы сказали: сельцо, господский дом с его историческим убранством, томный сад — приют «трудов и вдохновенья», обладали особой аурой, творили чудеса, вдохновляли на подвиги. Из шести сестер замуж вышли трое...

Вернемся к капитану Беляеву. Через год после смерти Марии Ивановны Тимофей Михайлович снова женился. Его избранницей стала молоденькая купеческая дочка Мария Николаевна Септюрина. Этот брак был негативно воспринят петербургской гвардейской средой. Кардинально изменилась и жизнь детей, так и не

нашедших с мачехой общего языка. «Мог ли я осуждать его? — писал об отце Иван Тимофеевич. — Ему было тридцать два года, ей — шестнадцать. Заботился ли он в ту минуту о детях? Конечно нет». Позднее отношения с отцом наладились, с мачехой же остались довольно сдержанными.

После того как старшая, Махочка, поступила в Смольный институт, Мишуша, Володя и самый маленький — Ваня (Сереза к тому времени поступил в военную гимназию) окончательно прижились в семействе Эллиотов. А после перевода Тимофея Михайловича из Главного артиллерийского управления в Варшаву командиром батареи Третьей гвардейской гренадерской бригады дети вообще переехали жить на Васильевский остров к бабушке и дедушке, к незамужним тетям. «Нас окружала там та теплота, та неподдельная любовь, в которой мы так нуждались», — вспоминал Иван Тимофеевич.

«Милый Петербург, Нева, яркое освещение, отражающееся на мокрых плитах тротуаров, городской шум на улице, грохот ломовиков, свет фонарей, проникающий сквозь высокие окна, завешанные шторами...» — эти детские впечатления навсегда остались в памяти будущего изгнанника.

Главную роль в воспитании юных Беляевых играли незамужние тети — Генриетта Ивановна и Елизавета Ивановна, частенько спорившие о методах воспитания, но всякий раз забывавшие взаимные обиды, стоило только дедушке, Ивану Андреевичу, пригрозить им отправкой детей к отцу в Варшаву. Тетушки сумели заронить в души детей «ненасытную жажду к просвещению и широту гуманных взглядов», заботились об их быте и эстетическом вкусе, обучали языкам, живописи, музыке и манерам. Дяди Эллиоты — Фридрих Иванович и Леонтий Иванович, служившие в лейб-гвардии Финляндском полку, редко вникали в семейные дела, и вся забота о воспитании подрастающих воинов сосредоточилась в слабых женских руках. Ситуация могла бы стать критической, если бы не летние месяцы в Леонтьевском. Жизнь в усадьбе направила развитие мальчиков в должное русло. Родина, ее история, страсть к путешествиям и приключениям, аромат неизведанного, жажда геройства — все это сосредоточилось для них на нескольких десятинах Псковской земли.

С каким восторгом рассказывал Иван Тимофеевич Беляев о поездках с дедушкой и бабушкой, со всеми тетями и братьями на трех тарантасах через Нарву и Гдов в Леонтьевское! Наверное, тогда и обнаружился в нем поэтический дар, пронесенный через годы и испытания до конца жизни.

«...Вот мы сворачиваем с перекрестка направо, летим во всю прыть между усадьбой и скотным двором и, сопровождаемые всей стаей пастушьих собак, по широкому, поросшему травой двору

подлетаем к крыльцу. А там уже нас ждут все постоянные обитатели: прислуга, собаки, кошки — словом, все, кого мы покинули здесь осенью...

В предбалконной зале накрыт широкий раздвижной стол. В ней прохладно и легко дышится после зноя и дорожной пыли. Со стен сурово смотрит портрет старого адмирала и улыбается прелестное личико его сына, теперь уже восьмидесятидвухлетнего старика... Старинные английские часы с гириями бьют двенадцать. Мы дома. Наконец-то!..

Сегодняшние поколения не питают особых чувств к родному гнезду. В Америке, например, смотрят на дома и земли лишь как на валюту, как на преходящую ценность. Для людей порубежья девятнадцатого и двадцатого веков родной очаг был всем, был земным раем».

Сейчас на пути в Леонтьевское, где наш юный герой любовался разливом Плюссы, пенящиеся воды которой омывали береговые известняковые плиты, и воздух наполнялся сладким ароматом тысяч и тысяч цветов, встали корпуса цементного, кирпичного и регенераторного заводов, лесокombината и комбината строительных материалов в городке Сланцы.

С 1880 года поместье принадлежало семейству фон Энденов. Муж Елены Ивановны Эллиот, Николай Николаевич фон Энден, окончил училище правоведения и впоследствии стал сенатором. И хотя в Леонтьевском господствовали женщины — у Елены Ивановны было три дочери, военно-историческая обстановка в усадьбе дедушки не претерпела никаких изменений. Она по-прежнему была пронизана культом Суворова. Рассказы Леонтия Федоровича о великом полководце, его чудачествах, победах, сверхъестественной честности и правдивости увлекали юных Беляевых, укрепляли в них решимость стать военными. Однако рассказы эти были лишены дидактики и строились не столько вокруг подвигов, сколько вокруг человеческих качеств и, может быть, даже недостатков полководца. Судите сами.

После блестящих побед и освобождения Италии от французов в честь Суворова в Милане был дан роскошный бал. Все взоры были устремлены на победителя, каждый стремился выразить ему свое восхищение, первые красавицы дарили Александра Васильевича восторженными улыбками. И сам он был в ударе, сыпал шутками, для каждого находил слова приветия.

В разгар веселья генералиссимусу доложили, что из Петербурга прибыл курьер. Суворов тотчас взял у него пакет и удалился в кабинет. Каково же было его удивление, когда он прочел приказ императора о немедленном возвращении в Россию. Он вызвал Леонтия Федоровича Трефурта и тотчас продиктовал ему ответ, составленный в самых резких выражениях, назвав распоряжение

императора (это Павла-то Первого!) «чистым безумием». Сам запечатал и велел тотчас отправить пакет государю. Потом круто повернулся и вышел в зал, стараясь казаться по-прежнему веселым и непринужденным.

На другое утро Суворов поздно вышел к завтраку, ничего не пил и не ел.

— Послали курьера? — бросил отрывисто Трефурту.

Тот ответил утвердительно.

К обеду Александр Васильевич явился мрачный как туча.

— Уехал курьер? — спросил, как только вошел.

— Уехал, ваше сиятельство.

Вечером Суворов был совершенно расстроенный.

— А что, Леонтий Федорович, курьер наш скачет?

— Скачет, ваше сиятельство.

— И никакая сила его уж не остановит?

— Простите, Александр Васильевич... Я взял на себя смелость пакета не отсылать.

Долго хранилась в семье Беляевых массивная золотая табакерка с заказанным в Милане портретом из слоновой кости. На портрете был изображен Суворов в мундире и при всех орденах, с Андреевской лентой через плечо, с алмазным аксельбантом и жезлом в руках. Это была награда Леонтию Федоровичу за оказанную услугу...

Как-то на чердаке усадьбы в груде мусора и заброшенных книг юный Иван Беляев нашел уланский палаш суворовских времен. Он был сломан, но сталь клинка, бронзовая гарда и полированные ножны блестели как новые. «Эта находка повлияла на всю мою жизнь», — признавался впоследствии Иван Тимофеевич.

Настал черед книг. Чердак был ими полон. Под звуки рапсодий Листа, истоиво исполнявшихся тетей Женей в гостиной, перед мальчиком вставали исполинские стены древних крепостей, простирались поля, где бились Ахиллес и Аякс, где оттачивал свой меч славный Сид Кампеадор*. Позже Беляев писал: «Мой метод чтения был своеобразный: быстро научившись читать, я видел перед собою не буквы и слова, а изображения и картины и летал по страницам, как белка по деревьям, с невероятной быстротой. Вот почему точные науки давались мне с таким трудом. Любимые стихи я перечитывал много раз, и они навсегда оставались в моей памяти. В романах же я пробежал лишь начало и конец, и только если они мне нравились, читал затем целиком».

Эпизоды, эпизоды...

Первая любовь — первое разочарование. Хорошенькая Любочка фон Энден, двоюродная сестричка «с удивительным цветом

* Испанский рыцарь, прославившийся подвигами в Реконкисте (XI век).

лица и огромными удивленными глазами». «Как-то раз нам принесли по блюдецку с земляничными ягодами. Это были первые. Мы сидели друг против друга, и я с восхищением наблюдал, как она ест. К своим ягодам я и не притронулся.

— Любочка, выйдешь за меня замуж — отдам тебе все свои ягоды.

Она бросила на меня радостный взгляд и потянулась за моим блюдецком!..

Но вот последняя ягодка исчезает в ее пунцовых губках, она встает и ...

— Я пойду поиграю с Володей!

Вот когда я понял, что значит коварство женщин».

Гуляя как-то по Андреевскому рынку Васильевского острова, Иван за двенадцать копеек приобрел в полную свою собственность книжку Фенимора Купера «Последний из могикиан» — и навсегда заболел индейцами. С тех пор гуруны, ирокезы и остальные коренные жители обеих Америк затмили в его воображении античных героев и средневековых рыцарей.

Неистошимый чердак в усадьбном доме Леонтьевского открыл Ивану новые тайны. Старинные карты и атласы, «Новая всемирная география» Жана Реклю, мудрое сочинение Гельванда «Земля и люди» и, наконец, двадцать два пыльных тома «Истории путешествий» Прево...

Рано постигший коварство женщин, одиннадцатилетний романтик совершенно пленился достоинствами науки, которая, в отличие от всяких там любочек, сторицей платила за принесенные на ее алтарь жертвы. Любовь к научной истине навсегда поселилась в сердце нашего юного героя. Чуть позже он увлекся серьезными трудами по географии, этнографии, истории и филологии, добытыми в петербургском кабинете уже тогда подававшего большие надежды молодого востоковеда (впоследствии видный советский ученый-индолог, академик), родственника по отцу, Сергея Федоровича Ольденбурга.

Но главное даже не это. Уже в детстве судьба по какой-то своей необъяснимой прихоти указала нашему герою на ту страну, которой суждено было стать его второй родиной. Разглядывая старинную, восемнадцатого века, карту Парагвая, бог весть каким ветром занесенную на Среднерусскую равнину, и повторяя нараспев будоражащие юную душу названия — А-сун-сьон, Эн-кар-на-сьон, — мог ли Иван вообразить, что на берегу неведомой реки Парагвай, по извиистой нитке которой вниз и вверх скользил его палец, обретет он, русский, и свою последнюю радость, и свой вечный покой. «Я знал Парагвай с детства» — любил повторять генерал Беляев. И это была правда.

В десять-одиннадцать лет у мальчика определился уже круг интересов: военное дело, история, география и этнология, конк-

ретнее, все, что касалось американских индейцев. Особняком стоял Парагвай в прельстительной дымке чего-то сказочного и недостижимого. Заливаемый потоками тропических дождей, обдуваемый суровыми южными ветрами — памперо, обильно поросший желтыми цветами лапачо, он фиксировался в потаенных уголках памяти как терпеливо ждущий своего часа подарок.

С одиннадцати лет началась военная карьера Ивана Беляева — его определили в кадетский корпус. «Экзамены я выдержал блестяще, — рассказывал Иван Тимофеевич, — третьим во второй класс. Но на осмотре обнаружилось, что я слишком близорук». Тогда в приемной генерала Махотина, начальника военно-учебных заведений, тетка Генриетта Ивановна пошла ва-банк:

— Как вы можете? Все его родные — военные. Мальчик рвется на военную службу, он хочет умереть за Отечество на штыках!

«Я не вполне отдавал себе отчет в этом последнем, — отмечал впоследствии Беляев, — но сильно волновался, так как неудача с корпусом грозила мне отправкой к отцу в Варшаву». Слезы тетушки-патриотки и, главное, специальный приказ военного министра, который исхлопотал для сына Тимофей Михайлович, помогли — Ивана зачислили в корпус, где уже учились его братья — Сережа, Миша и Володя.

Корпус не оставил приятных воспоминаний в душе нашего героя. Жизнь кадетов младших классов, как описал ее Беляев, была достаточно суровой и даже несправедливой. Однако он уже тогда умел посмотреть на себя со стороны и трезво оценить увиденное в контексте сложившихся обстоятельств. В самом деле, что мог он, тщедушный книголюб и идеалист в пенсне, противопоставить здоровой, уже почти мужской среде, бравировавшей цинизмом и верхоглядством? Цук, а по-современному «дедовщина», издевательство над всем святым, травмировали его еще неокрепшую душу.

«Зверей» — так в те далекие годы «деды» именовали младших — заставляли проделывать примерно все то же, что и сегодня, даже, может, с более изощренной фантазией.

— Молодой, ходите за мной и вопите белугой, пока я не скомандую «отставить!».

Или посреди ночи:

— Молодой, пулей расскажите про бессмертие души рябчика!

Князь В.С. Трубецкой в «Записках кирасира» рассказывает, что старшие заставляли писать младших высокоинтеллектуальные трактаты, типа «Влияние луны на бараний хвост». И что же? Вышли из кадетских корпусов царской России многие одареннейшие литераторы и философы.

Постепенно, однако, все приходило в норму. Первогодок, перетерпев ему положенное, сам становился жукающим, но и это проходило, когда юноша становился личностью. «Вскоре среди

кадетов стало проявляться взаимное уважение, начали налаживаться отношения, формироваться характеры, наклонности, вкусы и интересы», — отмечал Беляев. В конце концов, почему бы ему и не сойтись с коллективом? Так легче, веселее и спокойнее. Круг однокашников облегчает тяжелое бремя каждодневного, самостоятельного выбора. Но отдать коллективу всего себя без остатка... Нет. Гены идеалиста и романтика не позволяли плыть по течению. В главном, принципиальном, Иван умел отстаивать свои убеждения, ухитрялся оставаться самим собой.

Закончились семь долгих кадетских лет. «Под занавес» разыграли «Ревизора». Иван не без успеха изображал одну из посетительниц губернатора. Тетя Елизавета Ивановна млела от актерской удачи племянника, в то время как сам он страдал от жесткого дамского корсета.

К шестнадцати годам Иван Беляев стал стройным темноглазым юношей с едва заметной темной полоской над верхней губой, но все еще слабеньким, тщедушным на вид. Физически он разовьется позднее. Но духовное взросление его очевидно. Ему удалось кончить курс первым. Впереди лежал путь, проторенный многими мужчинами рода Беляевых — Михайловское артиллерийское училище.

Училище это было основано в 1820 году по инициативе великого князя Михаила Павловича. В 1849 году оно получило название Михайловского. «Прекрасное здание на берегу Невы, у Литейного моста, старинные медные пушки по обе стороны, великолепная швейцарская, роскошная лестница, обширные, но сухие и теплые камеры, пружинные матрацы на роскошных кроватях, безукоризненные чистые мраморные умывальники, блестящие паркеты — все это было совершенно иное, чем то, что мы видели в корпусе. Юнкера, явившиеся из отпуска, в элегантной форме, при шашке с белой португеей и замшевых перчатках, старшие — со шпорами... Только что проведенное электричество придавало всему праздничный вид. Начальство держало себя с особым тоном, присущим хорошо воспитанному артиллеристу. Все взаимоотношения были основаны на правилах безупречной вежливости. Мы попали в иной мир» — это рассказ Беляева о родном училище.

Действительно, Ивану было чем гордиться. Престиж Михайловского училища дополнялся пригнанной по размеру формой, заказными сапогами, погонами с золотым кантом и шапкой с медной эмблемой. Но главное (вот оно!), юнкерам-артиллеристам полагалось иметь шашку и шпоры в отличие, например, от пехотинцев, инженеров и топографов, и это наполняло сердце юноши особым энтузиазмом.

На медицинском осмотре эйфория, однако, поутихла. Зрение Ивана к тому времени отнюдь не улучшилось. Казалось, пропадут даром усилия самого начальника училища, генерала Демьяненко-ва, шепотом, по-школярски неуклюже подсказывавшего Ивану буквы злосчастной таблицы. Но велика сила традиций! Велик истинно русский дух, ставящий человечность превыше всяких догм и правил! Репутация дядьев и братьев, прошедших через училище, спасла, казалось бы, безнадежное дело — Иван Беляев стал «михайлоном».

Юнкера России... Сколько доброго и недоброго сказано о них! Они первыми гибли в междоусобной брани, последними оставляли позиции, исподлобья глядели на тех, кто предавал священные идеалы. Открытое юношеское сознание впитывало окружающий мир с благоговением и энтузиазмом, не позволяя усомниться в великой мудрости Творца. Критицизм, который придет позднее, нарушит духовную цельность призраками индивидуального успеха и благополучия, посетит сомнение в вечном и приблизит животный страх смерти. Счастливыми уйдут лишь те, кто навсегда сохранит в душе юнкерский пыл и азарт, не растеряет по жизни самоотверженности, благородства и чести.

Анекдоты про Беляева-михайлона скоро стали достоянием юнкерской общественности. Курс училища был перегружен математическими предметами, которые совсем не увлекали нашего героя. «С аналитикой я еще кое-как справлялся, — вспоминал Иван Тимофеевич, — но дифференциалы наводили на меня ужас. Когда я брался за учебник, с первой же страницы мне грезилась рыцарские копыта и мечи, индейские луки и стрелы, шотландские мечи — клейморы. А за ними леса и луга, стада диких животных, толпы дикарей... Я хватался за голову и все начинал сначала». Старый математик Будаев, повидавший в училище немало представителей беляевского рода, после очередного экзотического ответа Ивана пробурчал что-то в том смысле, что те были умные, а этот...

Однажды, когда началось преподавание теории бесконечно малых величин, математик впервые заметил заинтересованное отношение Беляева к своему предмету.

«— Что с вами? Вы начали разбираться в математике?»

— Видите ли... Изучая условия жизни индейских племен, я пытаюсь применить теорию бесконечно малых величин для определения площади занимаемого ими пространства.

— И что же?

— Нужна формула Миссисипи и Миссури, иначе я не смогу сделать никаких вычислений...»

«Как я проскочил все экзамены, — недоумевал Беляев, — не отдаю себе отчета. Могу только сказать, что много позднее во сне я

видел себя у доски с мелом в руке, изображающим знак интеграла... Я просыпался под грохот артиллерийских выстрелов и с радостью говорил себе: «Слава Богу, это только война!»

Плохой математик, но отличный артиллерист — звучит абсурдно. Но вот вам пример человека, который имел талант к пушкам от Бога, он доказал это, командуя артиллерией в трех войнах, не зная интегралов и дифференциалов. Наверное, все же жизнь немного сложнее тех формул, в которые ее по простоте душевной все время пытаются втиснуть.

Зато гуманитарные дисциплины, языки и особенно верховая езда давали возможность хотя бы на время забыть о математике. «Тонкая кость и деликатное телосложение, унаследованное от кавказских предков, сделали из меня джигита», — писал Иван Беляев. Он почти сразу научился понимать коня. «Скачет наш Шамиль» — так говорили о нем офицеры конно-горного дивизиона, которым Беляев командовал в Гражданскую. «Даже Врангель не без зависти поглядывал на мою кавказскую посадку и все время спрашивал меня, садясь на черкесское седло, не слишком ли он наклоняется вперед?» — простим нашему герою это скромное чванство, вполне допустимое при общем его ироничном отношении к себе.

А еще в училище был строй — то, что так сразу пришлось по душе будущему генералу. Его любовь к строю, похоже, заключала в себе гораздо большее, чем простое любование строгостью каре. Это не было пристрастием к муштре и фрунту, что так часто ассоциируется у нас с «военной жилкой». Конечно, без образцов классической Греции не обошлось и здесь — «наши орудия и ящики, скакавшие по зеленому полю, казались мне троянскими и ахейскими колесницами». Но главным была все же не романтика. Строй Беляеву — и это, пожалуй, главное, благодаря чему он стал не паркетным, а настоящим генералом, — позволял на фоне армейской слаженности и единообразия лучше рассматривать людей. Любая личность, пусть даже чудаковатая, не лишенная скромных пороков, но цельная и неподкупная, не автомат и не функция, вызывала в нем неподдельный интерес и живое участие. Случайные штрихи поведения, мимолетные высказывания и шутки некоторых особенных, и тем симпатичных ему людей Беляев умел сопрягать с чем-то более высоким, что позволяло лучше понимать суть тех грандиозных исторических событий, свидетелем которых ему довелось стать. Так на Руси испокон веков прислушивались к блаженным, чтобы потом, всплеснув руками, подивиться премудрости, которую Господь вложил в их уста.

Основной курс артиллерии в училище читал Василий Тимофеевич Чернавский, носивший характерное прозвище Шнапс. Четкость изложения предмета, помноженная на оригинальную мане-

ру выражаться, сделали его кумиром юнкеров. Во время Турецкой войны Чернавский удостоился от царя золотого оружия с надписью «За храбрость» — его батарея, израсходовавшая снаряды, сумела отогнать налетевшую турецкую конницу. Вместо того чтобы показать противнику тылы, русские артиллеристы с банниками наперевес выстроились у своих замолчавших орудий, готовые умереть. Потрясенные башибузуки сломались и повернули назад...

Накануне торжеств, сопровождавших заключение франко-русского союза, преисполненные энтузиазма михайлоны вздумали отправить приветственное послание своим коллегам в военную школу Сен-Сир. Узнав об этом, Шнапс в крайнем возбуждении вбежал в конференц-зал, комкая в руках злосчастную телеграмму.

— Вот до чего додумались! — закричал он. — Едва успел повернуться спиной, так они мне тут же и нас...ли в шапку! Какие у вас там могут быть фратернитэ, профон сантиман и прочая дребедень? Что вы понимаете в государственных делах? Сегодня они вам — бонжур, а завтра — штык в пузо. Зарубите себе на носу!

Эту тираду Беляев живо припомнил позднее, в годы трагичной для России Русско-японской войны, когда военный союз с Францией не позволил нам перебрасывать войска на восток целыми корпусами, и накануне Первой мировой, когда верность этому союзу толкнула неподготовленную страну в войну против вооруженного до зубов врага, и потом, когда «союзники» фактически предали Белое дело и, забыв жертвы, на которые пошла Россия ради спасения Франции и Европы, сделали русских эмигрантов людьми второго сорта. Вывод Беляева об исторической враждебности Запада к России, основанной на зависти и страхе, позволил ему избежать искушения многих эмигрантов, уповавших на помощь Европы в свержении коммунизма, а в годы Второй мировой не гнушавшихся даже поддерживать фашистов.

...Вот и настала пора выпускных. «Будаеву мы отвечали по своим билетам, — вспомнил Иван Тимофеевич, — которые вызубрили наизусть. Но потом он гонял нас по всему курсу и ясно мог составить представление об успехах каждого ученика. Спас меня стоявший рядом Шнабель (впоследствии воспитатель детей великого князя Дмитрия Павловича). Вопрос мне достался великолепный, но я забыл основную формулу. Мой спаситель написал мне ее на уголке мелом, и вся доска мгновенно покрылась выводами. Профессор выходил и не заметил «маневра». По всем другим предметам я прошел блестяще, но химия и математика спустили меня на семнадцатое место из семидесяти». И все же Беляеву удалось выбрать «гвардейский балл»! Иван выходил подпоручиком во 2-ю лейб-гвардии Артиллерийскую бригаду, в которой уже слу-

жили три его брата и в которую приказом от 12 августа 1895 года командиром был назначен его отец — Тимофей Михайлович.

На высочайшем смотре, который проходил в Красном Селе, карьера молодого офицера, однако, могла закончиться, еще не начавшись.

Красное Село. Сколько раз вспоминалось оно тем, кто перед атакой сжимал в руках приклад винтовки или древко пики, стараясь забыть о том, что это война, и воскрешал в памяти веселое время на маневрах под Дудергофом (ныне — с. Можайское, Ленинградской области) и Красным Селом.

Впервые гвардейские полки были выведены на летние маневры в Красносельские лагеря Екатериной II летом 1765 года. С 1823 года Красное Село стало постоянным местом сбора для учений и маневров Гвардейского корпуса. Несмотря на некоторое неустройство быта (офицеры размещались по два-три человека в небольших деревянных домиках, солдаты — в палатках), все участники тех событий, судя по дошедшим до нас мемуарам, с удовольствием вспоминали эту торжественную, немного нервную, но в то же время разгульную жизнь.

Грандиозные учения были необыкновенным зрелищем. Все огромное красносельское поле, вплоть до дудергофских озер, до отказа заполнялось пехотинцами, кавалеристами, артиллеристами и саперами — разноцветные мундиры, полная выкладка, блеск амуниции. Гремели сотни орудий, под отрывистые звуки команд огромные массы людей и лошадей, сведенные в геометрические фигуры, срывались с места, двигались и разбивались друг о друга. Над полковыми знаменами и желтоватой пылью, поднятой тысячами сапог и копыт, над громоподобным «ура» с разных сторон медленно парили величественные дирижабли.

Вечером на биваках звучали разудалые русские песни, хлопали пробки «Клико» и «Мумма», звонкий русалочий смех доносился со стороны садов и дач Дудергофа.

На высочайшем смотре летом 1895 года государь император произвел Ивана Беляева в офицеры гвардии. Все они, вчерашние юнкера, уже теребили в карманах новенькие офицерские погоньи и хранили в сундучках сшитую у лучших портных и тщательно отглаженную парадную гвардейскую форму. Предвкушая грядущее торжество, они не ели глазами фельдфебелей и не тянулись в струнку, отдавая честь офицерам.

Судьба, хранившая нашего героя для будущих подвигов, и здесь решила обнаружить свое ненавязчивое присутствие. По всегдашней своей горячности, в пылу соревнования, организованного между полками, Иван Беляев сунулся между колес, чтобы помочь вытащить застрявшее орудие. «Кони дернули — и я попал под колесо, которое прошло через мою руку и ногу, вдавлив меня в

грязь. Я встал и перекрестился. Это было чудо: ведь пушка весила 150 пудов!» — вот как было дело.

После окончания смотра Николай II подошел к фронту вчерашних юнкеров — михайлонов.

— Господа, — донеслись его слова, — поздравляю вас с первым офицерским чином!

Вот и наступило оно, желанное мгновение, которому было отдано столько времени и сил, принесено столько жертв. После производства был положен загул, причем каждый новоиспеченный гвардеец должен был продемонстрировать умение пить не хмелея. Гвардейские традиции — вещь незыблемая. Сегодня чаще всего мы вспоминаем те из них, на которые начальство смотрело сквозь пальцы. А ведь, если задуматься, без этих «глупостей» могли бы пострадать традиции рыцарства и чести, основанные на доходившем иногда до чрезмерности отстаивании гвардейцами чувства собственного достоинства (проблема браков с простолюдинками, например). Бретерство, пьянство, азартные игры наказывались достаточно строго, но не бесповоротно. В то же время жесткие, иногда просто жестокие своды гвардейских писаных и неписаных правил и традиций не позволяли офицеру, ударившему солдата или как-то иначе уронившему честь своего полка, мздоимцу, подлецу и лгуну, а более всего трусу оставаться в гвардии. Смерть за родину была не просто почетной — она составляла смысл существования. Такое представление о смысле жизни давало русскому гвардейцу (как, наверное, и японскому самураю) внутреннюю убежденность в собственной исключительности.

Правда, и здесь многое было через край. Лихость, азарт, безрассудство, противопоставлявшиеся иногда трезвому расчету, а порой даже профессионализму, привели к тому, что к концу 1915 года почти вся кадровая армия оказалась выбита. Это вкупе с другими обстоятельствами привело затем к трагедии 1917-го.

Мемуаристы часто с восхищением вспоминают лихую атаку эскадрона лейб-гвардии Конного полка под командованием ротмистра барона П. Н. Врангеля на германскую артиллерийскую батарею 6 августа 1914 года под Каушеном в Восточной Пруссии. Потеряв от картечи половину эскадрона, Врангель с оставшимися конногвардейцами захватил пару орудий (!) и обратил в бегство германских артиллеристов, однако потом уже у полужэскадрона не хватило сил, чтобы организовать преследование противника. За этот бой Врангель удостоился Георгиевского креста...

В канцелярию Михайловского училища новоиспеченные офицеры явились уже в парадных мундирах своих частей. Форма гвардейца-артиллериста в 1895 году включала черную мерлушковую шапку, украшенную Андреевской звездой и скрещенными под нею медными стволами пушек, темно-зеленый мундир с воротником и

обшлагами черного бархата с красной выпушкой (приборные цвета русской артиллерии) был снабжен золотыми эполетами и шитьем, украшен золотыми пуговицами. Вдобавок ко всему этому великолепию полагались еще шапка и сапоги со шпорами. «В душе у меня царили восторг и упоение», — признавался Иван Беляев.

Много ли надо молодому человеку, чтобы почувствовать себя счастливым?! Времена, конечно, меняются, чего не скажешь о человеческой природе. Как тогда, так и сейчас, ему, наверное, нужно чувствовать свою востребованность, принадлежность к чему-то высокому и сложному, обязательно пользующемуся престижем и, конечно же, модному. Это возвышает его в собственных глазах, в глазах друзей и знакомых, любимой девушки.

Пора нам остановиться на политических взглядах Беляева. Для нас, самой жизнью повернутых сегодня к истории России, к той цепи ошибок, случайностей, закономерностей, властвовавших в ней на протяжении всего XX века, эти взгляды могут представлять определенный интерес.

Иван Беляев был монархистом. Монархизм его, однако, не был тупым и догматичным, панически боявшимся всего, что могло бы нарушить уже устоявшуюся систему взглядов. Восприятие им монархической идеи носило художественно-эмоциональный характер и основывалось на вере, а не на разуме. На торжественную пестроту гербов, карет, дворцов и горностаев, которые так милы сердцу художника и поэта в юношеском возрасте, накладывался благородный идеализм, жажда подвига, презрение к духовной скудости демократического товарного изобилия.

Вспоминая в далеком Асунсьоне свои чувства при производстве в офицеры, Беляев писал: «Русские люди! Неужели мы не вернем когда-нибудь этого прошлого? Несчастное поколение, которое умрет без тех восторженных порывов, под влиянием которых наши предки, забывая все, даже самих себя, находили счастье умереть в Его глазах, создавая великую, единую Россию, мать всех последующих ее народов, надежду угнетенных... Какая демократия окружает своих избранных ореолом, заставляющим русского видеть в царе не жалкого исполнителя капризов своевольной и подкупленной черни, а эмблему чести, долга, глубокой веры в Бога, готового в свою очередь умереть за святыни как герой, как солдат, как мученик!...

Вся жизнь скромной военной семьи, к которой я принадлежал, тысячами золотых нитей была сплетена с судьбами державной семьи, поднявшей Россию на предназначенное ей Создателем место. Семейные традиции большинства членов нашего рода сделали эти связи неразрывными. Сколько драгоценных мелочей встают передо мною в моих воспоминаниях!

Трехлетним ребенком видел я в Летнем саду Александра II, который неторопливо шел по мосткам. «Идет!» — шепнула нянька. Мы с братом Володей сняли шапки. Государь ответил кивком головы. Как сейчас помню его озабоченное лицо и сгорбленные плечи... Помню и гигантскую фигуру Александра III об руку с его неразлучной подругой, которая верила, что, пока они вместе, жизнь его не подвергнется опасности. Помню его и при посещении им Михайловского артиллерийского училища... И вот теперь...»

В своих монархических пристрастиях Беляев был, конечно же, не оригинален. Князь В.С. Трубецкой, вспоминая момент своего производства в подпоручики лейб-гвардии Кирасирского полка, пишет о поголовной «влюбленности» в государя молодых гвардейцев и подкрепляет свое утверждение ссылкой на Льва Толстого. У того аналогичное чувство на высочайшем смотре остро переживал молодой Николай Ростов.

Но за беляевским «и вот теперь», похоже, скрывалось многое. В том, что касалось конкретной практики монархической государственности, у Беляева дело обстояло сложнее. Не будем осуждать его за излишнюю эмоциональность, вполне, кстати, уместную для того времени. С годами и опытом взгляды Ивана Тимофеевича приобретут необходимую стереоскопичность, обогатятся здравым сомнением.

А пока... Пока — время ликовать и смеяться! Старый Петербург помолодел, наполнился сотнями молодых, жизнерадостных подпоручиков и корнетов, летавших по всем направлениям, вызывая улыбки дам и сочувственные взгляды стариков. Каждый из них хочет испытать ранее запретное: проехаться в вагоне первого класса, закурить прямо на улице папироску, посидеть в «Медведе» или «У Кюба», устало, не без рисовки заказав *Moum sec cordon vert*, икру и рябчиков и щедро оставив на чай. Как приятно пройти мимо «шпаков» в студенческих фуражках, надменно глядя поверх их голов или как сквозь мутное стекло, а потом поздороваться за руку с совершенно незнакомым офицером гвардейского полка, невзирая на его возраст и чин, — вот оно, гвардейское братство! Касте, имеющей право умирать за Отечество, должны же быть положены привилегии.

Девяностые годы благословенного девятнадцатого века. Удивительное время, когда зловещие символы нового только окукливались по темным углам, а слепые нетопыри безверия еще не расправили своих перепончатых крыльев. Империя развивалась, вступая в новый, индустриальный век. Казалось, что может ей угрожать? Впечатление стабильности усиливали многоэтажные доходные дома, стремительно выраставшие вдоль Каменноостровского и на Литейном, электрические фонари на улицах, первые

трамваи, задорно дребезжавшие на Невском, нараставший калибр орудий и толщина брони императорского флота.

Еще не распалась связь времен, но на историческом горизонте уже появились первые признаки надвигавшейся бури. Умирая в Леонтьевском в 1888 году, Иван Андреевич Эллиот, который родился через два года после смерти Суворова, еще цитировал своего кумира: «Слава Богу, слава Вам, Туртукай взят, и я там», но совсем скоро будет спущен на воду броненосец «Ослябя», а там и война, Цусима — закончится героический этап истории России, начнется новый — жертвенный.

Союз с Францией, казалось, гарантировал мир России и Европе на долгие годы. Система баланса сил, созданная в Европе еще при Бисмарке, должна была работать автоматически — наступавший век грезился веком автоматов и машин. Огромная континентальная масса России, ее многомиллионные человеческие ресурсы должны были защитить страну от вторжения. Однако уязвимость ее столицы со стороны Балтийского моря и основных путей подвоза со стороны Черноморских проливов при условии, что Россия не станет кардинально наращивать свой флот, давали европейцам уверенность в ее сдержанности. Отсутствие у Англии мощных сухопутных сил вполне компенсировалось ее островным положением и колоссальным флотом, который один был способен гарантировать безопасность ее обширных колониальных владений. Сильная германская армия и флот были надежной гарантией от попыток реванша со стороны Франции, в то время как возможность агрессии Германии против Франции выглядела проблематичной в свете франко-русского союза. Дряхлевшие Австро-Венгерская и Османская империи явно шли к своему распаду. Но в интересах европейских государств было предоставить их своей судьбе, а не затевать большую войну, чтобы оттянуть неизбежное. Слепая вера в «систему» как проклятие нависала над миром...

Подпоручик Беляев исправно нес службу в Гвардейской бригаде вместе с братьями под командой отца. Тимофей Михайлович до получения должности коменданта Кронштадтской крепости опекал сыновей и не позволял им расслабляться, поддерживал в них интерес к наукам, даже втягивал в дискуссии за общим обеденным столом.

Мы можем только гадать, о чем были эти дискуссии. Русское кадровое офицерство со времен восстания декабристов традиционно стояло в стороне от политики. Хорошо это или плохо — не беремся судить. Кадровому офицеру, присягнувшему на служение Родине, политика была противопоказана по определению. И все же... Пока существовал костяк кадровой армии, особо беспокоиться было не о чем. Но сколько еще было отпущено этим корнетам, поручикам, ротмистрам и генералам, всю жизнь тянувшим

лямку нелегкой государственной службы? Ведь с запада уже тянуло промозглой сыростью Мазурских болот.

Предметом застольных бесед в семействе Беляевых были, конечно, военное дело и, учитывая одержимость Ивана географией и этнологией, лишь сильнее разгоревшуюся в пору его офицерской молодости, разговоры об индейцах и Америках. Возвращаясь со службы, он, по его собственным словам, «с жаром хватался за все, что только могло иметь общее с индейцами». Из дневника Ивана Беляева: «Мировую историю я проходил по программам историко-филологического факультета. Ботанику, зоологию и геологию — по курсам высших учебных заведений, всеобщую географию — по всем источникам, какие только мог найти. По этнографии и антропологии я пользовался указаниями милейшего С.Ф. Ольденбурга. Я не упускал ничего, что могло бы способствовать моей заветной мечте, к осуществлению которой я готовился сознательно и бессознательно, как дитя, которое готовится к своей роли матери, не отдавая еще себе отчета о будущем. Каждую ночь я горячо молился о моих любимых индейцах...Богу было угодно услышать мои молитвы».

«Неужели молился?» — спросит недоверчивый читатель. Но у нас нет оснований не доверять Ивану Беляеву. Увлечение индейцами появилось у него в раннем детстве и с тех пор не давало расслабиться.

Позднее Фрейд назовет подобного рода увлечения сублимацией полового влечения. Действительно, офицер Российской императорской гвардии не курит, воздержан в еде и алкоголе и все еще девственник. Сегодня такого назовут закомплексованным, лохом, занудой. Но дело тут не в занудстве, а в принципах, отстаивать которые так, как отстаивал Беляев, могут немногие.

«Мне было уже 26 лет,— писал Иван Тимофеевич, — но я умер бы со стыда, если б кто-нибудь захватил меня в разговоре с барышней или в попытке с ней познакомиться. И в мыслях я не допускал скотского чувства без любви... Нет, лучше смерть с высоким идеалом в груди! Солдат идет на смерть за свое знамя, мученик за свою веру. Неужели же мне опозорить себя и своих предков и унизиться до того, чтобы покупать или продавать любовь?!»

Кто первый сдаст — дух или тело? Это как в альпинизме: человек идет на покорение вершины, но только не вне, а внутри себя, что гораздо труднее, да и для здоровья накладнее.

Результат — боли в сердце. Тимофей Михайлович пригласил к Ивану доктора, который, угрожая неминуемой смертью, вырвал энтузиаста из лап науки и отправил на Кавказ, в горы. Мудрый доктор понимал: лучше заниматься настоящим альпинизмом...

Это путешествие, которое Беляев проделал вместе с другом, поручиком Басковым, помогло ему поправить пошатнувшееся здоровье. Оказавшись на маршруте, которым шли молодые люди — из Владикавказа на Грозный горами, через Казбек на Шатой и Ведено, мы бы сегодня за свое здоровье гроша ломаного не дали. Однако в ту пору никто русских офицеров, путешествующих в полном полевом облачении, даже грубым словом не обидел. Лишь однажды старый чеченец на коне и в лохматой бурке сказал, указывая на горы:

— Зачем идешь один? Там живет абрэк, будэт рэзать, башка долой снимать!

Офицеры поблагодарили его за предупреждение и двинулись дальше...

Путешествие помогло Беляеву взглянуть на себя по-другому. Началась новая жизнь, в которой постепенно находилось место и службе, и учебе, и науке, и... женщинам. По возвращении Иван приобрел золотое пенсне, которое придавало его лицу особое выражение и выигрышно смотрелось вместе с золотым аксельбантом. Он перестал скромно отводить глаза от представительниц прекрасного пола, но по-прежнему ждал ту единственную, которую, он был глубоко уверен, преподнесет ему Судьба.

Неожиданно наметилась перспектива научной карьеры. Скромная брошюра «На земле хевсуров» — плод скитаний по Кавказу (первая научная публикация), открыла Беляеву дорогу в Императорское географическое общество, куда он был принят по рекомендации профессоров Н. А. Богуславского и А. И. Мушкетова. По вечерам Беляев старался регулярно посещать заседания общества, которые проходили под председательством маститого академика Семенова-Тян-Шанского, пользовался богатой библиотекой.

Особенно заинтересовали молодого офицера несколько научных сообщений: о бедственном положении туземцев Австралии, о Парагвае, где индейцы все еще считались людьми второго сорта, и лекция, прочитанная знаменитым путешественником Р. Амундсеном, который только что возвратился из экспедиции к Южному полюсу. Но не менее научных докладов возродившегося для новой жизни Ивана поразил трактат одного малоизвестного индийского философа о женщинах. Оказалось, что они, по мнению мудрого индуса, наделены девятнадцатью (!) качествами для привлечения мужчин.

На одном из заседаний академик С.Ф. Ольденбург предложил Беляеву возглавить конвой многомесячной экспедиции Академии наук в Монголию. Это предложение Беляев воспринял как великую честь, участие в экспедиции должно было окончательно определить его судьбу как ученого. Однако дома, лежа на диване,

Иван Тимофеевич рассуждал так: «Ну хорошо! Проведя годы в бесплодной Монгольской степи с кучкой ученых и конвойных казаков среди тысячелетних развалин в поисках какой-нибудь полустертой монеты, обнаружим мы новое заключение какого-нибудь мудреца, нашедшего в женщине девятнадцать совершенств, но, может, без двадцатого все остальные — ничто. А я найду это двадцатое совершенство!»

Беляев отказался, но не из-за личных соображений. Иван Тимофеевич, и не он один, чувствовал: над Россией сгущаются тучи, копится в атмосфере политического и интеллектуального застоя критическая масса, грозящая неисчислимыми бедами. Будучи военным, он сделал единственно правильный для себя выбор. Родина требовала службы, а все остальное, даже любимая наука, могло подождать до лучших времен.

Фактически выбор он сделал давно. Потому при широте гуманитарных интересов такая настойчивость при поступлении в военное училище. Только ли это семейная традиция или передававшаяся с генами невозможность не сопереживать судьбе страны?

Подспудное беспокойство ощущали тогда многие. Одна из глав в мемуарах Ивана Тимофеевича Беляева называется «Начало конца». Посвящена она, как ни странно, большому балу в Зимнем дворце 12 января 1904 года — в самый канун Русско-японской войны. Этот бал, последний в истории императорской России, многие историки и мемуаристы вспоминают как событие, имевшее символическое значение. Рассказ Беляева о бале заставляет вспомнить Михаила Афанасьевича Булгакова и его нетленный роман. Судите сами: «...В танцах участвовала, быть может, одна двадцатая приглашенных; остальные толпились в огромном белом зале и в смежных коридорах. В маленькой ротонде, круглом зале и при входе во фрейлинский коридор стоял огромный стол со всевозможными закусками. В большом коридоре ключом било шампанское. Придворный оркестр в красных фраках занимал возвышенную эстраду...

В указанный час двери царских покоев отворились, и на пороге оказались высочайшие хозяева. Раздались торжественные звуки полонеза из «Жизни за царя», и под звуки пятисот струнных инструментов в руках пятисот профессоров Консерватории появилась царственная чета, за нею вдовствующая императрица с великим князем Владимиром и великая княгиня Мария Павловна со старейшим членом дипломатического корпуса в традиционной феске и роскошном золотом мундире. Со вторым и третьим туром кавалеры меняются местами, в последнем царица в своей алмазной диадеме, сияющей всеми цветами радуги, составляет пару с турком в его алой феске.

В рогонду уже невозможно протиснуться. В узком проходе, ведущем туда, встречаются два течения.

— Ради Бога, мадам! — восклицает высокий судебный генерал, которого полная дама с пышным бюстом затормозила в самой теснине. — Вы же порежетеесь моими остроконечными звездами!

...Ужин начинается ровно в два часа. Проходит государь, чтобы убедиться, что все гости заняли свои места. Перед каждым — хрустальные бокалы, роскошные приборы. На столе — золотые и серебряные вазы с цветами и конфетами... Лакеи работают с поразительной быстротой, убирая блюда и подавая кушанья, прежде чем гость успеваает заметить это.

Вокруг круглого стола с закусками любители толпятся в три ряда. Влево, в свободном местечке, расположились гости. Это сестры-американки: одна замужем за герцогом Мальборо, другая — за миллионером Вандербильдом. Обе полные красивые блондинки, каждая — в целой кирасе драгоценнейших бриллиантов, за которыми едва проглядывает белизна открытого тела...»

Однако не роскошь бала, а нечто другое приковало тогда внимание молодого офицера. Одна из картин, висевших в большом коридоре, называлась «Живой мост». Изображен был один из малоизвестных эпизодов Кавказской войны. Конные чеченцы с шашками наголо нагоняют орудие, которое артиллеристы пытаются спасти, перетасив через глубокий ров, заваленный еще живыми телами солдат, пожертвовавших собой. Глядя на это полотно, Беляев вдруг осознал: всем им — и тем, кто сегодня беззаботно пирует, и тем, кто несет нелегкую службу, — вскоре, возможно, придется заполнить своими телами глубокий ров, через который прокатится тяжелое колесо российской истории... Генерал Кутепов, известный деятель Белого движения и лидер эмиграции, по свидетельству современников, часто вспоминал эту картину как символ жертвы, которую принесла Россия на алтарь человечества.

На этом бале многие заметили, что царь подчеркнуто игнорирует японского атташе. Не прошло и двух недель — и японский флот без объявления войны (вот он, прагматичный XX век!) напал на русские корабли, крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», стоявшие в порту нейтрального государства, а потом и на русскую эскадру в Порт-Артуре.

Проигранная война стала прологом великой русской трагедии...

Вспоминая в далеком Парагвае грандиозные сдвиги начала столетия, Иван Тимофеевич с особой горечью отмечал неблагоприятную роль, сыгранную в судьбе России Соединенными Штатами и Европой. Уже тогда, в начале 1950-х годов, он раньше, чем многие маститые политологи современности, усмотрел связь

между Русско-японской войной, первой русской революцией и Первой мировой войной, крахом императорской России и образованием СССР, между всеми этими событиями и трагедией Второй мировой.

Беляев возмущался: нигде в мире вероломное нападение японцев не вызвало столько аплодисментов, как в Соединенных Штатах, которые до тех пор встречали со стороны России только «самое глубокое благожелательство». Достаточно вспомнить отказ Екатерины II от посылки русских войск на помощь английскому королю, воевавшему с североамериканскими повстанцами, ее политику вооруженного нейтралитета, обеспечившую колонистам свободу морской торговли, появление в разгар Гражданской войны в США двух русских эскадр — в Нью-Йорке и Сан-Франциско, которое нейтрализовало угрозу северным штатам со стороны Великобритании, и многое, многое другое...

Но взхлеб аплодируя Японии, американцы, сами того не ведая, нажили себе опасного врага, который жаждал территориальных захватов. «За Порт-Артуром, — писал Иван Тимофеевич, — последовал Пирл-Харбор, вызвавший затем бесчеловечное разрушение Хиросимы и Нагасаки». История не прощает ошибок и рано или поздно жестоко наказывает за них...

«Но Европа поплатилась еще тяжелее за свою слепую ненависть к России». Что хотел сказать этим Беляев? Наверное, что поражение в войне с Японией, обнажившее слабость российского тыла, «полную политическую неосведомленность масс и безграмотность интеллигенции во всем, что не касалось ее ближайших интересов», приблизило Первую мировую войну, создало у Германии и ее союзницы Австро-Венгрии представление о слабости русской армии, породило стратегию, нацеленную на провоцирование революции в России.

Союзница Японии в войне 1905 года, Англия, стремилась по мере возможности ослабить своих континентальных противников: традиционного — Россию, и нового — Германию. После поражения России в войне с Японией — флот Японии почти полностью был построен на верфях британского адмиралтейства — Англия произвела революцию в военно-морском деле, оснастив свои ВМС принципиально новыми кораблями — дредноутами. Это значительно ускорило печальный, но вполне закономерный развал европейской системы баланса сил.

Политику Англии в начале XX века можно с полным основанием назвать провокационной в отношении России. Полагаясь на островное положение и мощный флот, Англия до последнего оттягивала свое вступление в Первую мировую войну на стороне Антанты, что создавало у германского кайзера иллюзию ее нейтралитета.

Желание максимально ослабить своих противников, как реальных, так и потенциальных, побудило Уайтхолл затеять в тот сложный период, когда на карту были поставлены судьбы мира, вероломную дипломатическую игру. Сначала Англия конфисковала линкоры, строящиеся на ее верфях для Турции, не считаясь с тем, что наносит удар по национальному достоинству пока нейтральной страны. А в разгар военных действий британский флот «по недоразумению», а скорее всего, совершенно сознательно, «упускает» новейшие германские корабли — «Гебен» и «Бреслау», дает им пройти из Средиземного моря в Черное, после чего те, подняв турецкие флаги, бомбардируют Севастополь и Новороссийск. Турция незамедлительно вступает в войну на стороне Германии и запирает проливы, на которые в довоенные годы приходилась большая часть российского внешнеторгового оборота...

Связав Россию, своего союзника, еще и Турцией, «дальновидная» Англия уже думала о послевоенном устройстве мира, где наша страна, победившая, но крайне ослабленная, не могла бы претендовать на «кусочек пирога», равнозначный английскому, — проливы! Ближний и Средний Восток!! Индийский океан!!! Кроме того, Англия была не прочь поживиться за счет наследия Османской империи.

Отрезвление придет год спустя, когда не готовая к войне Россия потеряет в боях с Германией половину кадровой армии и перспективы победы Антанты станут весьма проблематичными. В панике британское правительство, не считаясь с потерями, будет бросать на штурм Дарданелл все новые и новые войска и корабли, чтобы доставить в истекающую кровью Россию столь необходимые ей оружие и боеприпасы. Первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль попытается исправить допущенную ошибку, но будет поздно...

Политика Британии, по сути, совпадала со стратегией ее врага — Германии, задумавшей разжечь в России пожар революции. И обе добились того, к чему стремились. «Европа поплатилась еще тяжелее за свою слепую ненависть к России, — напомним вывод Беляева. — Подрубая самые корни существования державы, всегда стоявшей на страже мира и справедливости, она навсегда нарушила европейское равновесие, исключая возможность взаимного доверия, и положила начало всем бедствиям, явившимся на смену «золотому веку» мирового прогресса».

Попробуем разобраться. Получив на Востоке Европы страну большевиков, гораздо менее предсказуемую, чем нелюбимая, но все же союзнически верная императорская Россия, лидеры западной дипломатии испугались. А где страх — там и глупость. Образчиком таковой стал Версальский мирный договор с Германией и

гибельное послевоенное устройство Европы, открывшее завидный простор для устроителей еще одной мировой бойни.

Глупость Старого Света имела такой размах, что Соединенные Штаты, собиравшиеся стать во главе новой системы европейской и всемирной безопасности, сочли за лучшее остаться на время в своей крепости — Америке, чем участвовать в неминуемых европейских разборках.

Условиями Версаля Германия была низведена на уровень полуколонии, существование которой полностью зависело от прихоти победителей. Даже Франция в 1815 году, после Наполеоновских войн, не получила таких позорных условий мира, как Германия в «прогрессивном» и «демократическом» XX столетии. Загнать народ, носитель великой европейской культуры, в угол оказалось просто. Труднее было не дать ему озлобиться против европейских держав, взваливших на него чрезмерную долю ответственности за преступления кайзеровского правительства. Тем более что вскоре, и это тоже закономерно, на загаженных унижением и нуждой германских горизонтах появился артистичный сукин сын, сумевший направить эту озлобленность в русло, нужное для своей зарождавшейся партийки. Дело оставалось за малым...

«...Державы, всегда стоявшей на страже мира и справедливости» — оставим этот пассаж на совести Ивана Тимофеевича. Как русский офицер и патриот, он не мог не считать политику своей страны априори справедливой и гуманной и немедленно подал своему бригадному командиру прошение об откомандировании в действующую армию, на Дальний Восток.

Однако, осуждая Россию за все ее «имперские авантюры» в прошлом, нам, сегодняшним, все же не стоит забывать, что XIX столетие завершилось испано-американской войной, в результате которой США, присвоившие себе титул всемирного радетеля за демократию, свободу, за права человека, без особых угрызений совести прибрали к рукам колонии монархической Испании — Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико, подавили восстание на Филиппинах и установили на Кубе такой унижительный полуколониальный режим, который спустя 60 лет был свергнут в результате самой радикальной революции, какие только знала история Западного полушария.

В начале XX века закончилась англо-бурская война, познакомившая мир с понятиями «геноцид», «концлагерь», «институт заложников». «Демократическая» Англия посчитала себя вправе подавить свободу народа, жившего от нее на расстоянии десятков тысяч километров, который к тому же организовывал свою жизнь на демократических началах (вот и верь после этого, что демократии между собой не воюют). Россия, решившая, что настала пора обернуться лицом к Востоку, взглянуть на Великий океан, лишь

поставила себя в один ряд с англичанами, подчинившими себе Африку, и немцами, устроившими фатерлянд из Камеруна.

На войну Беляева не пустили. Полковник Лехович от имени командира бригады в весьма лестных выражениях попросил его остаться для анализа и освоения опыта, полученного в ходе войны. А боевой опыт требовал радикальных новаций в организации русской армии, и в частности артиллерии. Для этого глава Артиллерийского ведомства великий князь Сергей Михайлович привлек к работе молодых, не испорченных рутинной офицеров, в том числе только что вернувшегося из Франции брата Ивана Беляева, Сергея Тимофеевича, получившего к тому времени чин полковника. Заваленный работой, брат иногда поручал Ивану разрабатывать некоторые вопросы тактики применения артиллерии в бою. Дивизионный командир поручил ему выработать на практике метод обучения артиллерийских разведчиков. В результате в 1913 году появился составленный Иваном Беляевым Устав горной артиллерии, горных батарей и горно-артиллерийских групп, который стал серьезным вкладом в развитие артиллерийского дела в России.

Скоро бежало время. За трудами Иван не заметил, как ушли из жизни тети — Генриетта Ивановна и Елизавета Ивановна — добрые гении его детства и отрочества. Вместе с дедушкой Иваном Андреевичем Эллиотом они упокоились на Смоленском кладбище Васильевского острова. «Холодно становилось на душе. Холодно и сиротливо. И чем более я терял, тем сильнее влекло меня к жизни какое-то особое чувство, которое шептало мне: «Торопись! Тебе уже тридцать лет». Казалось, стоило протянуть руку, и я нашел бы свое счастье, о котором мечтал... Но нет, думалось мне, все это не любовь, а только компромисс с требованиями природы...»

Любовь! Сегодня, когда человечество задумало расчитаться со всеми своими «комплексами», оно, похоже, вознамерилось уравнять в правах понятия «любовь» и «секс». Но кто из нас в угаре любви (первой, чистой, настоящей) не возносил предмет своего поклонения на пьедестал, не полагал его достойнейшим и честнейшим? Иногда вопреки всякому опыту, рассудку и «добрым советам» друзей даже мысли не допускал, что «чистейшей прелести чистейший образец» может оказаться вполне земным созданием. И что это, если не отблеск запредельного, свидетельство существования Божьего мира? Не ищем ли мы в любимом наперекор всем сомнениям образ светлого ангела?

Кому-то все эти рассуждения покажутся смешными и глупыми. Да и возразить совсем не трудно: вознесенные на пьедестал земные женщины, случается, испытывают головокружение, страх высоты, стремятся поскорее ощутить под ногами твердую почву. Но чем

сильнее характер человека, его вера в святое чувство, тем с большим упорством ищет он свой идеал и рано или поздно находит.

Иван Беляев наконец влюбился. Возвращаясь из Петербурга в Дудергоф, он заметил в окне вагона прелестную молодую барышню. Он перешел в ее вагон, но сесть рядом с прекрасной незнакомкой показалось ему святотатством. А вот его спутник, красавец кавалерист Фаминицын, вежливо, но с интересной развязностью попросил у дамы разрешения занять пустующее рядом место. Она отказала. Гвардеец, однако, не стушевался, а выждал, когда девушка на остановке вышла прогуляться по перрону, и устремился за ней. Они вернулись в вагон порознь, и Фаминицын был явно обескуражен неудачей. Иван решил: это его звездный час, и вскоре уже беседовал с прелестной незнакомкой.

Но Беляев изменил бы себе, если бы вновь не поступил вразрез всяких правил. Выйдя на вокзале в Дудергофе, он не спросил у девушки ни имени ее, ни адреса. Но судьба уже вела его. Переведя дух от пережитого и уняв сердцебиение, Иван поклялся во что бы то ни стало найти предмет своей ярко вспыхнувшей любви и... сделать предложение.

— Эх, дурак ты!.. — высказался от имени офицерской компании поручик Стефанов. — Ну, что ж, все по коням. Едем искать Ванькину невесту!

Поиски затянулись. Прошла неделя, другая. Беляев в свободное от службы и поисков время отдавался ранее не свойственному ему увлечению — картам. Но вот в один прекрасный день раздался голос дежурного:

— Господин штабс-капитан, господин штабс-капитан! Мы ее нашли!

— Кого?

В батарее тогда пропала лошадь.

— Барышню!

Так Иван обрел свое счастье. И столкнулся с новой проблемой. С родными трений не было. Тимофей Михайлович, сам женатый вторым браком на купеческой дочери, полностью разделял демократические воззрения младшего сына, но получить разрешение на брак с простолюдинкой (отец Маруси был лесничим) для гвардейского офицера оказалось непросто. Бригадное начальство, обеспокоенное участвовавшими мезальянсами в гвардейской среде, затребовало сведения о Марусе.

Свадьба оттягивалась. Создалось тяжелое положение. Иван решил разрубить гордиев узел и жениться без разрешения начальства. Он отправил невесту в Леонтьевское, подальше от любопытных глаз, и там же, в окрестностях, подыскал подходящую церковь и священника, согласившегося обвенчать их тайно.

Однако бракосочетание пришлось отложить. Батарея Ивана была отправлена в Кронштадт — восстали матросы. На дворе стоял революционный 1905 год. И хотя батарее не пришлось сделать ни единого выстрела, поход запомнился молодому командиру. Он впервые испытал чувство ответственности за подготовку операции, обеспечение и моральное состояние солдат, за выполнение боевой задачи и сохранение жизней подчиненных. Ноябрьские события в Кронштадте заронили в нем сомнения, что все должно идти «как установлено».

Тимофей Михайлович, освобожденный сыном из «кронштадтского сидения», будучи комендантом крепости, не раз предупреждал начальство об опасности мятежа, об отсутствии среди матросов сознательной дисциплины. Военная система, созданная Петром Великим и с тех пор не менявшаяся в своей основе, губила государство. Офицеры, возвращаясь из плавания, разбегались в отпуски, в экипажах оставался один офицер на сотню матросов. Разрушалась простая человеческая связь командира и подчиненных. Вынужденное безделье, тупость и малограмотность унтер-офицеров, превращавших занятия в профанацию, а дисциплину в издевательство, стали питательной средой для бунта, за который заплатились не зачинщики (их потом отстояли опытные адвокаты), а все те же матросы.

Но вот наконец прошли тревожные дни, можно было вернуться к Марусе. Свадьбу сыграли в Леонтьевском сразу по возвращении Ивана из похода. Священник, умилившись видом молодых и количеством выпитого, не подвел («Абы на хорошеньких, так всех перевенчаю!») и оженил гвардейца. Ну а дальше началась конспирация.

Слух о том, что Беляев женился без дозволения, дошел-таки до начальства. В питерской квартире Марусе нередко приходилось прятаться в гардеробе, пока «негласно» проверяющие офицеры, стесняясь выпадавшей на их долю миссии, не слишком придирчиво осматривали скромные апартаменты штабс-капитана.

На что рассчитывал Беляев? Очевидно, на то, что со временем все образуется и они с Марусей перейдут на «легальное положение». Так бывало уже не раз. Отступить он не собирался: «Какое право имеет человек или даже государство становиться между теми, кому Провидение ниспослало залог бессмертия и небесной любви? Какое оправдание тем, кто ставит препятствия между любящими, стремящимися соединиться навеки?» Но Провидение, на которое уповал Иван, решило провести молодого офицера через испытания.

Осенью 1907 года, не прожив и двух лет с любимым мужем, Маруся умерла. Как, почему? В своих мемуарах Беляев, щедрый на мельчайшие бытовые подробности, но предельно скупой на

все, что касается интимной стороны жизни, ничего не говорит об этом. Мы можем только догадываться.

У Ивана Тимофеевича Беляева никогда не было детей. В отличие от многих, ему повезло, и вскоре после смерти жены он встретил женщину, которая возбудила в нем не менее сильное чувство. Но ни в те благополучные для России пять лет, которые оставались до начала Великой войны, ни в Парагвае, где он, казалось бы, мог отдохнуть наконец от всех тревожностей российской смуты, Беляев не рискнул завести их.

В Парагвае его «большими детьми» стали индейцы. Сторонние наблюдатели даже иронизировали над тем, с каким чувством русский генерал отдавал себя делу защиты их прав. Принимая во внимание характер Беляева и возвышенное отношение его к женщинам, можно предположить, что Маруся умерла при неудачных родах. Видимо, Иван Тимофеевич поклялся больше никогда не подвергать жизнь своей любимой подобному испытанию, тем более что между Марусей и второй женой, Алей, обнаружилась некая мистическая связь.

Судьба послала ему Алю — Александру Александровну Захарову — в тяжелую пору, когда горе от потери жены заставляло задумываться о смерти. Трудно было видеть те же улицы, жить в той же обстановке, где еще совсем недавно ощущал себя любимым и счастливым... Тогда впервые возникла мысль уехать. Куда? Конечно же в Парагвай! Военным советником. Однако в то время дипломатического представителя этой страны в Петербурге не было, и Парагвай до поры до времени остался далекой мечтой.

Судьба поджидала Ивана Тимофеевича на питерском почтамте. И в этом был свой, исполненный значения смысл. Девушка, сортировавшая письма, не спускала с Беляева глаз — она давно заприметила симпатичного офицера, но он не обращал на нее никакого внимания. На этот раз он вдруг увидел ее, увидел в ее очаровательном лице что-то родное, близкое душе. Уже на следующий день Иван дождался прекрасную почтальоншу на Бассейной улице, где та жила, представился и добился свидания, а еще через два дня сделал предложение и получил согласие.

Мистическое проявилось в том, что старая няня как-то нагадала Але, что выйдет замуж она за Ивана, и при том за вдовца. А еще выяснилось, что Беляев много раз встречал хорошенькую девочку, когда та жила с родителями в Дудергофе. А Аля вспомнила, как чуть не потеряла сознание от испуга, когда молодой офицер (это был Беляев) с некоторым риском для жизни (явно рискуя) перескочил на вороном коне через глубокий, наполненный водой ров...

Однажды утром Аля проснулась какая-то особенная.

— Не уходи, я хочу рассказать тебе, что видела во сне. Мне приснилась Маруся, такая светлая и радостная. Она сказала мне: «Бери, и береги его».

— Но как же ты узнала ее? Ведь ты никогда ее не видела!

— Мы даже были знакомы. В Дудергофе я часто встречала ее. Когда я проходила мимо, она всегда заговаривала со мной о чем-то приятном, а однажды сказала: «У меня такой чудный жених — офицер». Как-то, когда шел дождик, я одолжила ей свой зонт...

— Так это был твой зонт? Это была ты? Маруся сказала, что ей одолжила зонт одна милая девушка.

Совпадение? Да нет, Судьба.

Начались все те же проблемы. Родители Али принадлежали к купеческому сословию, и, несмотря на сочувствие, выказанное ему в полку после смерти Маруси, Беляеву, вновь женившемуся на простолоудинке, пришлось ловить на себе косые взгляды ревнителей «чистоты дворянской крови». А потом в полк пришло письмо. Автор, офицер (Беляев не называет его имени), где-то выудил сведения о том, что отец Али ввиду стесненных жизненных обстоятельств сам стоял за прилавком буфета. Это для гвардии было уже «слишком». Согласитесь, как переменчиво российское общество. Еще вчера (по историческим меркам) принадлежность к сфере услуг, торговли и предпринимательства котиновалась ниже всякого уровня, а сегодня деньги могут восполнить все, что недодано человеку при рождении.

Беляеву надоели сплетни и пересуды. Он решил разом с ними покончить: попросил перевода в армию, на Кавказ. Для Ивана Кавказ не был навязанным выбором. Он любил его с детства, в жилах его текла и грузинская кровь. Когда он писал о Кавказе, казалось, что за спиной его стоит сам Михаил Юрьевич Лермонтов. «Когда, подъезжая к Минеральным Водам, замечаешь на горизонте едва заметные очертания горных вершин и перевалов, легких, как вечерние облака, прозрачных, как мираж, душу охватывает чувство глубокого и загадочное... Меня очаровывали ночи в лунном сиянии, и скалы, и снега, и ледники казались волшебным краем, куда уносилось воображение под немолчный рокот тысячи ручьев и водопадов, сливавшийся в какую-то дикую мелодию».

И вот настал день, когда на погонах заблестели литеры «1. К.С.А.Д.» — «Первый Кавказский стрелково-артиллерийский дивизион». Настал час разлуки с блестящим, не в меру лошеным, но все же таким родным, таким домашним Санкт-Петербургом. Как быстро пролетело время! Корпус, училище, производство в офицеры, полк, служба, товарищеские пирушки, встреча и разлука с любимой и, наконец, новая любовь. Казалось, жизнь сделана, судьба определилась. Впереди — долгие годы службы, счаст-

ливая семейная жизнь, карьера военного, а может быть, ученого, потом отставка и покойная старость в кругу родных и друзей. Так или примерно так рисовалась Беляеву его будущая жизнь. Сомнения? Предчувствия? Были и они. Но человеку свойственно рассчитывать на лучшее. Рассчитывал на него и Беляев. Однако этому лучшему не суждено было сбыться.

Человечество на пути своего взросления в XIX веке где-то сделало неправильный выбор, и к началу нового столетия все ускользящий поток времени неумолимо затягивал города и страны, людей и их судьбы, идеи и вещи, прогнозы и моды, высокое искусство, гуманистическую науку, наивный юмор, изящные манеры, врожденное благородство, честь, достоинство, исторический оптимизм — и все, все, все в сливную воронку небытия. России суждено было играть в этой трагедии одну из главных ролей. И откуда нам, сегодняшним, знать, насколько опустился тот занавес, который поднял над своей сценой Великий Творец...

Молодым и счастливым супругам Беляевым казалось тогда, что перебираются они всего лишь на Кавказ. На самом же деле они переезжали из одной эпохи в другую, где нормой жизни русских людей станет борьба за выживание, страх за родных и близких, тоска по родине. В советское время этот период почему-то с гордостью именовался «эпохой войн и революций». Наверное, правильнее назвать его «эпохой жертв», принесенных Россией на алтарь будущего планеты во имя торжества человеческого разума и его неизбежного единения с разумом вселенским.

Последний раз Беляевы приехали в Санкт-Петербург в отпуск в 1913 году. «Этот год, — писал Иван Тимофеевич, — пожалуй, счастливейший в истории России, был последним счастливым годом и в нашей жизни. Мало думалось о том, что ожидало нас впереди...»

Кажется порой, что государства, как люди, способны чувствовать и думать и, как люди, бороться за выживание. Накануне своего обрушения в бездну императорская Россия переживала бурный экономический, культурный и научный подъем, претерпевала важные политические изменения, которые в перспективе означали переход к конституционной монархии. Предчувствуя возможные потрясения, страна как будто решила мобилизовать все свои жизненные силы, чтобы покончить с болезнью, которая подтачивала ее изнутри.

Разумеется, история не знает сослагательного наклонения. Но историческая наука просто обязана задать себе вопрос: а что было бы, если? Она должна скрупулезно рассмотреть все несостоявшиеся варианты развития. Иначе как тогда извлекать уроки истории? Разве мы не вправе допустить: если бы России было уготовано постепенное эволюционное развитие, сегодня она была бы

чем-то вроде Испании или даже Японии, ведь по уровню жизни россияне в 1913 году превосходили граждан этих столь уважаемых нами сегодня конституционных монархий. Если бы не война, унесшая цвет Русской армии, не постыдная возня полужнаек, рядившихся в гениев, которые ради собственного тщеславия решили лучше погубить выздоравливающего больного (они ведь его уже приговорили), чем позволить ему встать на ноги...

Поэтам и философам свойственны потрясающие откровения. «О Русь моя, Жена моя» — эти блоковские строки перекликаются с тезисом Николая Бердяева о «вечно бабьем» в русской душе. Они воспринимают Россию женщиной, быть может, несколько наивной и эксцентричной, но с прекрасной, широкой душой. Она эмоциональна, и потому привыкла выражать себя языком пророков. Момент ее динамики не тяжелое падение маховика, а воздушные па Матильды Кшесинской и Анны Павловой. В России всегда и во всем работает особая мера: 80 процентов веры и вдохновения при 20 процентах расчета и технического мастерства. Ни голландцам и немцам, заванным Петром, ни демагогам-марксистам, ни неолыбшевикам-либералам не удалось переделать страну под себя, ибо понять женщину трудно, для начала ее надо просто любить.

За последним вагоном уходящего на Кавказ поезда растаял Санкт-Петербург. Малиновый бархат диванов и штор, отороченных тяжелой золотой бахромой, мягкое позвякивание столовых приборов, янтарный чай в серебряных подстаканниках дарили уют и спокойствие. В предвечернее лиловое марево уходили шпили и башни странного города, предпринявшего попытку сковать системой бессистемную и противоречивую, зависшую на рваных ритмах-синкопах, анархически прекрасную и неподражаемо многоцветную Русь. Стрелки петровских часов неумолимо приближались к двенадцати...





Глава вторая
ВОЙНА И СМУТА

И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

Максимилиан Волошин

Если бы не война... Как часто эти слова повторяли русские люди в сумасшедшем XX веке! Сколько проклятий было послано врагам и ложным друзьям, сколько споров — бытовых и научных — так и закончилось ничем!

Не будем претендовать на еще одно объяснение прошедших событий. Похоже, подводить итоги рано. И потому попытки прикоснуться к нашей истории будут носить направленный к герою повествования характер.

Иван Беляев не был политическим или военным лидером, по воспоминаниям которых мы сегодня стараемся восстановить ткань событий. Он был их простым участником, не заинтересованным (особо подчеркнем это) в самооправдании перед историей. Свои мемуары в далекой стране он писал «в стол», хотя правильнее было бы сказать «в угол», не думая, что кто-нибудь, кроме гигантских тропических кукарач, уделит им хоть какое-то внимание. Но Судьба распорядилась иначе, и сегодня мы предлагаем читателю познакомиться с некоторыми мыслями Ивана Тимофеевича, надеясь на живой с его стороны интерес и непредвзятый суд.

Чувства мести и зависти не должны руководить политическим расчетом.

Казалось бы, мы это хорошо знаем. Но знать — одно, а делать...

Первая мировая война, неизвестная для большинства из нас, — причина всех последующих бед российской истории — есть в равной степени и плод объективных противоречий, и результат неконтролируемых эмоций. Но жизнь, как известно, вся соткана из противоречий, которые совсем не обязательно перерастают в конфликт, а вот эмоции... С эмоциями серьезные историки почему-то не очень-то считаются.

Исследуя хитросплетения тревожного лета 1914 года в надежде найти ту «золотую нить», потянув за которую Санкт-Петербург, Вена, Париж или Берлин могли бы распутать сложный узел мировой политики, завязавшийся на Балканах, историки приходят в

отчаяние. «События вышли из-под контроля» — таков их вердикт. Но, думается, страсти к тому времени накалились настолько, что поводом к войне мог стать любой случайный эпизод. Ведь удалось же европейской дипломатии за несколько лет до этого ликвидировать два марроканских (1905 и 1911 годы) и боснийский (1912 года) кризисы. А тут эмоции, чувства — вещь серьезная.

О германском императоре известно достаточно. Комплекс неполноценности, развившийся у него еще в юные годы, вполне возможно, из-за того, что ему долгое время пришлось жить и работать в тени такого гиганта, как Бисмарк, усугублялся завистью по отношению к Англии, Франции и России, значительно опередивших Германию в имперском строительстве. Император Вильгельм не ставил перед собой вопроса: нужны ли обширные колонии его и без того динамично развивавшейся стране, опережавшей в экономическом и научно-техническом развитии своих конкурентов? Сейчас многие полагают, что именно колонии были тормозом для старых империй. Но завистникам всегда всего мало, да и здравый смысл у них не в почете...

Еще «дядя Вилли», как по-родственному звали его при русском дворе, любил флот и строил корабли в больших количествах, а значит, не любил Англию, «владычицу морей», которая всячески старалась ему помешать. Большому германскому флоту нужно было куда-то плыть, иметь порты и стоянки, — опять-таки нужны колонии и еще колонии.

Что касается России, ну не смогла она простить Австро-Венгрии и Германии унижения на Берлинском конгрессе 1878 года, когда усилиями Бисмарка были сведены на нет все ее успехи в войне против Турции. Не смогла она простить и обмана 1912 года, когда хитрый австриец фон Эренталь присвокупил к Австрии в одностороннем порядке, в обход интересов России, бывшую турецкую территорию Боснию и Герцеговину. А императрица Мария Федоровна — датская принцесса, мать Николая II, не простила пруссакам захвата датской провинции Шлезвиг-Гольштейн в 1864 году. Она ни разу не посетила Германию, а отправляясь на яхте к родителям в тихий Копенгаген, старательно обходила германские территориальные воды.

Супруг Марии Федоровны, император Александр III, по уверениям современников, старался во всем угодить своей миниатюрной жене. Самым большим «достижением» его во внешней политике стало заключение в 1891—1893 годах военного союза с Францией и последовавшая за этим постепенная переориентация российских политических и финансово-промышленных интересов с Германии на Францию, а позднее на Англию и США.

Во внутренней политике Александр III мстил революционерам за убийство отца и все ту же сжимал ту пружину государственного механизма империи, которую давно пора было хоть немного отпустить. Сделай он это вовремя, забудь хотя бы на время о мести, его сын — Николай II, мог бы стать идеальным конституционным монархом, его и других Романовых наверняка миновала бы их трагичная участь. История наша могла бы пойти по гораздо менее страшному пути.

Как это ни парадоксально, Александра III можно считать «отцом русской демократии» и даже либералом. Неприязнь к Германии и ненависть к Австро-Венгрии толкнули его на противоестественный союз со странами, возвышавшими над монархическими понятиями долга, чести, благородства, морали соображения меркантильного интереса.

Необходимость России и ее пятимиллионной армии для жаждавшей реванша за поражение от Германии в 1871 году Франции, а также для Англии и США, стремившихся обуздать опасного конкурента — Германию, не вызвала сомнений. Не вызвала сомнений и застарелая неприязнь, помноженная на зависть к России, со стороны западных демократий. Федор Иванович Тютчев не случайно обнаруживал в противостоянии Запада и России вечный антагонизм, не поддающийся логическому объяснению. В присутствии этого застарелого антагонизма Беляеву пришлось убеждаться всю жизнь.

Огромные людские, материальные и территориальные ресурсы, несколько замедленное, но уверенное поступательное развитие России постоянно подталкивали Запад к поиску таких решений, которые подрывали бы престиж России, ее экономическую и военную мощь, способствовали бы революционному, а не эволюционному развитию страны. Особым лицемерием отличались упреки Запада в отношении так называемых имперских амбиций России.

Иван Беляев, считая внешнюю политику России справедливой, исходил не из частных, многие из которых нашей стране действительно можно поставить в упрек, а из общего ее смысла и целей.

Если за основу существования государства брать стремление к самосохранению и выживанию — безопасности, то политика территориального расширения России будет выглядеть куда более естественно, чем поведение многих демократических стран.

Оказавшись на грани исчезновения в результате нападений как с востока, так и с запада, Россия вплоть до петровских времен была вынуждена вести борьбу за выживание. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Сибири, обеспечение выходов к Балтике и Черному морю были вызваны необходимостью самообороны от агрессии и восстановления ранее утраченных территорий, а также следствием императивов экономического развития.

Разумеется, не все войны России можно связать с интересами выживания. Русско-японскую войну и участие России в Первой мировой вряд ли можно оценивать с этой точки зрения. В пассиве у нас также войны против польских и венгерских повстанцев, «перегибы» на Кавказе, в Китае и Центральной Азии. Но все познается в сравнении. Строительство обширнейших колониальных империй Испании, Португалии, Голландии, Англии и Франции никак не было связано с обеспечением безопасности этих наций. Ни индусы, ни жители Андаманских островов, ни буры Трансвааля и Оранжевой республики никоим образом не могли влиять на традиции и обычаи жителей туманного Альбиона и решать за них, пить им традиционный чай в пять часов пополудни или же перейти на сыроядение.

Лишь Соединенные Штаты можно было бы сравнить с Россией в территориальном расширении. Их войны с индейцами в чем-то напоминали покорение Сибири Ермаком и походы Скобелева в Центральную Азию. Но Беляев справедливо указывал на то, что Россия и США по-разному относились к покоренным народам. Элиты завоеванных стран получали все права российского дворянства, дети кавказских князей и среднеазиатских ханов принимались в самые престижные военно-учебные заведения, что помогало им делать карьеру при дворе, в гвардии или армии. В «демократических» Соединенных Штатах ни один индейский вождь не заседал в Конгрессе. Беляев всегда подчеркивал особое отношение России к аборигенам Аляски, которые терпеливо и ненасилственно приобщались к культуре и цивилизации. США же предпочитали избавляться от не подготовленных к «свободе и демократии» индейцев, загоняя их в резервации, а то и попросту истребляя. О чем говорить, если вплоть до середины XIX столетия во многих американских штатах официально выдавалась премия в 100 долларов за голову индейца! В чем же тогда «имперские амбиции» России — излюбленная тема всех ненавистников нашей страны? Возмущение Беляева антирусской политикой Запада, который давно уже пользовался политикой двойных стандартов, имело под собой веские основания.

Подозрительность Запада в отношении России усугублялась тем, что она «не такая, как все». Бывший министр иностранных дел России С. Сазонов уже после октября 1917-го писал: «Приходится предположить, что одной из главных причин отчужденности России и Англии является, может быть, не соперничество на почве внешней политики, а коренное различие их государственного строя, вызывавшее среди огромного большинства английского народа антипатию и недоверие к нашему внутреннему порядку».

Но мог ли и должен ли был этот внутренний порядок измениться в одночасье? Конечно же нет, если принимать в расчет не русский национальный характер с его «особой приверженностью к авторитаризму», а огромность российской территории, протянувшейся с запада на восток на 12 часовых поясов, и суровый климат. Труднодоступность российских пространств, их масштабность и необустроенность, с одной стороны, диктовали необходимость усиления централизации государства, с другой — замедляли распространение информации и обусловили хроническое запаздывание реформ. В Иркутске, например, о смерти Екатерины II узнали лишь на тридцать пятые сутки.

По мере развития технического прогресса расстояния сокращались, информация распространялась быстрее, но гигантская Россия объективно «не поспевала» за Западом. Имея в 1913 году самую большую в Европе протяженность железных дорог, она находилась на последнем месте по их плотности на квадратную милю. Новые идеи, копившиеся в столицах и университетских городах, с трудом доходили до патриархальной глубинки. Вот откуда возникли пропасть между народом и интеллигенцией и наша страсть заимствовать чужие идеи, наше неверие в собственные силы.

Напрашивается вывод, что союз с западными демократиями в конце XIX — начале XX века имел для России самоубийственный характер. Веря в Запад как в систему, наши либералы, завидовавшие западным политическим институтам, забыли о национальной и государственной специфике России. Явление по-русски парадоксальное: и сторонники самодержавной монархии, и представители либеральной интеллигенции одинаково поддержали вступление России в войну.

Понадеявшись на чудо скорейшего превращения страны из авторитарной в демократическую при «бескорыстной» помощи со стороны Англии, Франции и США, либералы так и не поняли, что Россия — не моторная лодка, а огромный океанский корабль, для разворота которого требуется и место, и время. Своим неприятием естественных форм развития они открыли дорогу радикалам-разрушителям, которые не руководствовались жизненными реалиями, а отстаивали принцип «здесь и сейчас». Переворот в государственном устройстве и во всем образе жизни России, совершившийся в феврале 1917 года, был поддержан народом, который что-то слышал о свободе и равенстве, но не обладал достаточной информацией и политической культурой, чтобы отличить подлинное от мнимого.

Война и связанные с ней жертвы, в первую очередь исчезновение целого слоя образованных и культурных, наиболее смелых, совестливых и патриотично настроенных людей — они-то никог-

да не упускают возможности встать в первые ряды защитников отечества, — послужили катализатором распада страны.

Давайте задумаемся: если бы Николай II, подписывая с Вильгельмом в Бьорке летом 1905 года секретный договор, по которому Россия, не отказываясь от союза с Францией, параллельно вступала в союзные отношения и с Германией, не бросил бы неподготовленную страну в большую войну, а выступил посредником между противоборствующими сторонами или, держа нейтралитет, стал бы активнее заниматься внутренними делами? В этом неординарном шаге императора просматривался бы трезвый политический расчет, исключаящий чувства мести и зависти. К сожалению, договор в Бьорке был сорван усилиями консерваторов-монархистов и либералов.

Предчувствия не обманули Беляева, хотя ему, как и очень многим тогда, «казалось невероятным, чтоб в Европе нашлись сумасшедшие, которые пожелали бы разрушить все успехи мирового прогресса, достигшего, казалось, апогея». Однако Иван Тимофеевич, как профессионал, наверняка понимал, что время работало не на Германию: к 1920 году ускоренно развивавшаяся Россия должна была качественно перевооружиться. Вильгельму же в пароксизме ненависти к «славянскому империализму» нужно было начинать войну в кратчайшие сроки.

Известие об объявлении войны застало капитана Беляева в должности командира 2-й батареи 1-го Кавказского стрелково-артиллерийского дивизиона, расквартированного неподалеку от Тифлиса. «Ура! Да здравствует Россия, смерть врагам!» — время для дискуссий миновало, пора было приниматься за работу. Вопреки ожиданиям, его артиллеристов бросили не против Турции, столь любезно «подставленной» нам нашей новой союзницей — Англией, а на юго-запад, против австро-германцев.

В Тифлисе, рассаживаясь по теплушкам, прощались с родными. Смех, плач, «Прощание славянки». Просвистел паровоз — старушка мать в фаэтоне увезла молодую даму, откинувшуюся в обмороке... Кому было нужно все это?

Долгую дорогу до Гродно прошли с энтузиазмом и без задержек. Темпераментные кавказцы развлекали на остановках барышень песнями и лезгинкой. Первый же бой внес ясность и отрезвление. У нас практически нет тяжелой артиллерии. Мы не умеем маскироваться на местности. Взаимодействие пехоты и артиллерии не отработано. Отсюда большие жертвы. По мере накопления боевого опыта тактические недостатки будут устранены, но общая материальная неподготовленность дорого обойдется России.

Беляевская батарея удивляла своей скорострельностью и результативностью. Чудачества маленького капитана, на которые в мирное время сбегались поглазеть, оказались очень полезны в

реальном бою. Чего стоила одна только стрельба из полевого орудия винтовочной пулей! Вместо сложных операций по наводке с контрольным прицелом Беляев предложил вставить отрезок трехлинейной винтовки в выхолощенный снаряд: номер стрелял из орудия, как пехотинец из винтовки по призовой мишени, уменьшенной в десять раз, на дистанцию, вдесятеро меньшую положенной. У Беляева оказались лишними все контрольные приборы. Стрельбу обычными снарядами на обычные дистанции вели при этом метче и кучнее. Беляев организовывал соревнование в меткости между наводчиками, выдавая победителю фунт белого хлеба. Наводчики и фейерверкеры увлеклись своим делом, как спортом.

Получилось, что долгое накопление тактических и технических усовершенствований в военном деле, при том что природа человека осталась неизменной, сделало разразившуюся войну самой жестокой и антигуманной, если такое понятие может быть применимо к войне. Материально-технический прогресс, значительно опередивший совершенствование духовных основ человека, привел к тому, что желание «опробовать новые вещицы в настоящем деле» перевесило соображения здравого смысла и морали. Огромные жертвы этой войны, которых никто не ожидал (готовились-то с оглядкой на XIX век), ожесточали людей, стремительно обесценивали человеческую жизнь.

С зажмуренными глазами встретили мы 1914 год.

Ровно тридцать дней стояли мы под Сувалками, в грязи, среди разлагающихся трупов, временами переходя с одного участка на другой... Ненависть, пробужденная бессмысленным уничтожением наших деревень и безобразиями немцев в захваченных ими краях, вызывала ответное отношение. Тогда как раньше свято сберегалось имущество бежавших жителей, теперь уже невозможно было удерживать солдат от уничтожения всего, что попадалось им на глаза.

Это предопределило жестокости, которые потрясли мир в годы революции и Гражданской войны в России, репрессии 30-х годов в Советском Союзе и геноцид Второй мировой. Насилие — оно как наркотик: вкусившие его только распалются.

Конечно, еще оставалось благородство, наследие прежних эпох, когда война была делом аристократов. Но оно уже сходило на нет, как сойдут на нет вскоре и сами аристократы. Войны окончательно «демократизируются» и приобретут всеобщий характер, не отделяющий военных от гражданских, допустимое от недопустимого. Что же говорить о дне сегодняшнем? Массовый террор, репрессии против гражданских лиц, ковровые бомбардировки, атомная бомба... Как не вяжется это с традициями рыцарства и воинской чести, где уважение к противнику было столь же естественным, как и уважение к себе!

Много лет спустя, уже в Парагвае, на банкете у американского посла ко мне подошел граф Ведель, германский уполномоченный в Асунсьоне:

— Не знаю почему, генерал, но я почти уверен, что мы встречались на войне. Вы ведь воевали под Плоцком, под Барковым. В то время я был воздушным наблюдателем и видел блестящие действия вашей горной артиллерии.

— Это была моя батарея, граф...

— О, примите мой восторг! В тех боях вы покрыли себя бессмертной славой. Под Барковым, когда мы думали, что сопротивление пехоты уже сломлено, и начальник дивизии собрал свои полки, чтобы сделать им смотр, вы осыпали нас гранатами и заставили разбежаться...

— Значит, граф, мы в кровном родстве.

Мы крепко пожали друг другу руки.

Описывать воинские подвиги — задача трудная. В самом понятии «подвиг» кроется что-то неестественное, выходящее за пределы нормального поведения. Или мы просто отвыкли от того, что человек хорошо и с любовью исполняет свои профессиональные обязанности, не требуя за это ничего сверх положенного? Конечно, профессия защищать Родину и умирать за нее имеет свою ни с чем не сравнимую специфику. И все же... Она, как и всякая другая, требует добросовестного отношения к делу, творческого подхода.

Военное дело — вещь простая. Технические данные, касающиеся вооружения, подготовки позиций, сообщений и связи, всегда будут находиться под контролем натасканных специалистов; но бои, стратегические движения, сама душа войны требуют прежде всего здравого смысла и тех качеств, которые в течение тысячелетий являются отличительными чертами военного человека, — личной храбрости, стойкости, самоотвержения, неутомимости, быстроты ориентировки и соображения.

По прошествии первых пяти месяцев Великой войны Беляев получил подполковничий чин, под ним были убиты две лошади, а несколько представлений к ордену Святого Георгия затерялись в военной суматохе. Еще он отпустил жесткую, профессорскую, бородку, с которой не расставался уже до конца своих дней. Бородка, конечно, не главное, главное — мысли, которые высказывал наш герой в афористичной, образной форме, они свидетельствовали, что в Беляеве-солдате живет Беляев-ученый, все время задающий себе «проклятые» вопросы.

В копыте лошади есть белая линия, от которой начинает расти рог. Можете расчищать и срезать копыто, загонять в него гвозди, но если коснетесь белой линии, то оно пропало. Командиры меняются каждые два-три года. Молодежь после первого лагеря расплз-

ется по академиям. Старые офицеры, для которых свой полк, своя батарея — родная семья, а честь знамени дороже жизни, — это и есть та «белая линия», без которой боевая дружина превращается в шайку авантюристов.

В результате войны была нарушена «белая линия» — убиты, искалечены и ранены те офицеры и солдаты, в которых держался дух армии, те чувства, без которых, как тело без души, начинает разлагаться ее организм. При полном бездействии «славных и доблестных союзников», как называли их наши конституционные демократы, были отправлены в пасть Молоху последние бесценные военные кадры. Лучшие полки превратились в аморфную массу, для которой уже не существовало ни долга, ни чести, ни знамени, ни веры.

Когда герои в результате нелепых распоряжений, исходящих от неосведомленных штабов и случайных карьеристов, гибнут во имя исполнения необдуманых приказов, немыслимо восстановление боевой мощи, как невозможно исцеление копыта лошади после нарушения белой линии.

К началу 1915 года Россия потеряла 1 350 тысяч убитыми, ранеными и пленными из пятимиллионной кадровой армии. Потери офицерских кадров были ужасающи. Но союзники по-прежнему подталкивали русские войска к наступлению, не понимая или не желая понимать, что в войне недостаточно одной лишь храбрости и самопожертвования.

«Нужно отдать должное русской нации за ее благородное мужество и лояльность к союзникам, с которой она бросилась в войну, — писал в своей книге «Мировой кризис» У. Черчилль. — Если бы русские руководствовались лишь собственными интересами, то они должны были бы отводить свои армии от границы до тех пор, пока не закончится мобилизация огромной страны. Вместо этого они одновременно с мобилизацией начали быстрое продвижение не только против Австрии, но и против Германии. Цвет русской армии вскоре был положен в ходе сражений на территории Восточной Пруссии, но вторжение в Восточную Пруссию пришлось как раз на решающую фазу битвы за Францию».

Да, как настоящий аристократ, Черчилль умел ценить благородство и мужество и не стеснялся признавать эти качества за другими.

Есть в Париже, в Доме инвалидов — пантеоне славы французского оружия, необычный экспонат: автомобильчик «рено», образца 1914 года, смешной уродец, возведенный эмоциональными французами в ранг национального символа. Говорят, переброска на этих такси частей парижского гарнизона (всего одной бригады!) помогла французам отразить натиск «гуннов» на Париж в битве на Марне в сентябре 1914 года.

Патриотизм, конечно, вещь хорошая, когда он не переходит в шовинизм, а иначе жди беды или конфуза. Конфуз был в том, что французы «забыли» о двух корпусах и кавалерийской дивизии германской армии, которые 25 августа были отправлены на Восточный фронт. Именно их и не хватило немцам, чтобы победоносно завершить летнюю кампанию на Западе. Россия спасла Париж, Францию и фактически выиграла для союзников войну уже в августе 1914 года. С обрушением плана Шлиффена был похоронен и хваленый немецкий блицкриг. Германия, завязнув в позиционном противостоянии на два фронта, обрекла себя на медленное, но верное удушение.

План Шлиффена с военной точки зрения был составлен грамотно и чисто по-немецки. С учетом экономического, военного и демографического потенциала война на два фронта означала гибель для Германии. Ей во что бы то ни стало нужно было быстрым охватывающим маневром выбить из войны Францию до того, как Россия закончит свою мобилизацию (а потом воевать или договариваться с Россией — это был бы другой вопрос). Островная Англия с ее небольшой армией не рассматривалась как серьезное препятствие на континенте. Ирония истории, не до конца еще осознанная нами, как раз и заключалась в том, что события 1939—1940 годов, которые обеспечили Гитлеру господство в Европе, развивались именно по такому сценарию.

Откуда же взялась эта цифра — 40 дней, которые были отведены Шлиффеном для победы над Францией? Немцы рассчитали, что именно столько времени понадобится России, чтобы провести полную мобилизацию, собрать многомиллионную армию, задействовав все железнодорожные, гужевые, автомобильные средства, и затем бросить ее в бой. Но это планы... А вот реальность. Армии Ранненкампа и Самсонова, спешно брошенные в Восточную Пруссию, обеспечили Антанте победу в коалиционной войне, и потому все разговоры о поражении в войне России, входящей в коалицию, — чистый блеф.

В «игре на опережение» в августе—сентябре 1914 года немцы проиграли: они не успели разгромить французов до начала русского неподготовленного наступления, которого немецкий генералитет предусмотреть не мог. Немцам оставалось до Парижа каких-нибудь 30 миль, но они вынуждены были отойти: надо было срочно перебрасывать войска сначала в Восточную Пруссию, затем в гибнущую под ударами русских Австро-Венгрию.

Выиграв войну для своей коалиции, Россия ее в конечном счете проиграла. Наши доблестные союзники заботились о себе любимых куда больше, чем о коалиции. В 1915 году они бросили Россию на произвол судьбы перед валом немецко-австрийского наступления, даже не подумав о том, чтобы отвлекающими удара-

ми на Западном фронте как-то компенсировать русским те героизм и самоотверженность, с которыми они вступили в Великую войну.

Мало того. После войны в Англии было опубликовано секретное англо-французское соглашение, из которого следовало, что эти державы и не собирались выполнять свои союзнические обязательства по отношению к России. Уже в 1915 году британские и французские дипломаты рассматривали планы отторжения от России Прибалтики и Привисленского края в Польше. Согласимся с историком А. Ширококордом: «Россия шла к войне с сильнейшей в мире армией, имея недостойных союзников».

Тяжелые бои, развернувшиеся осенью 1914 года в Польше, куда 1-й Кавказский стрелково-артиллеристский дивизион перебросили с Юго-Западного фронта, Беляев вспоминал со смешанным чувством. С сожалением, потому что немцы предупредили наступательные планы главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и, пользуясь густой сетью железных дорог, сами предприняли наступление под Варшавой. С гордостью, потому что немцы просчитались, не оценив должным образом силу обороны противника. В октябрьских боях немецкая армия потеряла около 40 тысяч человек и была вынуждена отказаться от лобового штурма столицы Царства Польского. Генерал Гофман особо отмечал в своих воспоминаниях, как неожиданно упорно сражались за Россию кавказцы, перебросенные с Юго-Западного фронта — Тифлисский и Эриванский полки, на участках которых бился и беляевский 1-й Кавказский стрелково-артиллеристский дивизион.

Именно к обороне в случае большой европейской войны готовилась Россия, сознавая временную слабость своей армии в сравнении с мощью кайзеровской военной машины. Наступательные действия планировались только против союзницы Германии — Австро-Венгрии. И эта стратегия отчасти оправдалась.

На Юго-Западном фронте четыре австро-венгерские армии были обращены в бегство. К 1 сентября 1914 года русские взяли Лемберг (Львов) и захватили 200 тысяч пленных. Русская кавалерия благополучно преодолела Карпаты и вышла в долину Дуная — к Будапешту и Вене. В марте 1915 года пала первоклассная австрийская крепость Перемышль, сдав 120 тысяч пленных и 900 орудий. А командовал осадной артиллерией, действия которой заслужили блестящую оценку со стороны Генерального штаба, старший брат нашего героя, Сергей Тимофеевич Беляев.

Бои в Польше и Карпатах показали, что боевой дух россиян не сломлен поражением в Восточной Пруссии. Но долго ли можно было держаться на голом энтузиазме, когда германские «чемоданы» методично обрабатывали передовую, когда пулеметы немцев скашивали целые батальоны, когда в русских армиях остро ощу-

щалась роковая нехватка снарядов, винтовок и патронов, а главное — людей. Жертвы, наверное, были бы оправданы, если бы Россия всегда и во всем могла рассчитывать на равную поддержку со стороны союзников. Но такой поддержки Россия не получила. Вот когда вспомнил подполковник Беляев слова генерала Чернавского:

— Зарубите себе хорошенько на носу: сегодня они вам «бонжур», а завтра — штык в пузо!

Наверное, в умах государственных деятелей, кроме краткосрочной, постоянно должна присутствовать стратегия долгосрочная, которая выходит за рамки главной цели всех международных и внутривнутриполитических кризисов, войн и революций, — цели одержания победы. Эта стратегия отвечает на вопросы: какой ценой и что будет после? Эти роковые вопросы, столь дорого обошедшиеся потом нашей стране, и не давали покоя Ивану Беляеву.

С Польши началось то долгое странствие, которое завело его в такую даль, из которой уже не было возврата...

Вот она, Воля, которую штурмовал мой дед. Вот она Прага*, которую брал Суворов.*

Варшава представлялась теперь совсем иной, чем в детстве, когда юному кадету Беляеву грозила преждевременная отправка к отцу и мачехе. Осажденная германцем и тонущая по ночам в полном мраке из-за возможных налетов цеппелинов, она казалась одинокой женщиной, ищущей теплоты и защиты.

Светлый миг — неожиданный приезд любимой Али, буквально прорвавшейся в прифронтовой город из Тифлиса. Теперь уже точно можно было сказать, что Беляеву повезло с женой. Чем еще измерить любовь, как не способностью идти ради нее на лишения и жертвы? Но главные мысли в ту пору — о войне, о людях, которых, несмотря ни на что, нужно было сберечь — не дать им потерять человеческий облик в кровавой круговерти следовавших одно за другим сражений.

Артиллерия для пехоты — это мать для больного ребенка. Мы не несем столько потерь, но днем и ночью должны следить за биением пульса своей пехоты, чтобы всегда быть готовыми прийти к ней на помощь.

— Ва! Сбили авион! Я видел своими глазами!

Энтузиазму поручика Гургенидзе, казалось, не будет конца. «Авион» же оказался аистом, который упал от пролетавшего мимо снаряда. Его кое-как подлечили, и он стал талисманом 2-й батареи.

* Предместье Варшавы

Со слабой горной артиллерией, с ограниченным количеством выстрелов на орудие беляевский дивизион в течение недели сдерживал натиск немцев, вооруженных 150-мм гаубицами и имевшими колоссальный запас снарядов. Наконец был получен приказ отойти из-под Варшавы. 5 августа 1915 года город пал.

России дорого обошлась ее галантность в отношении союзников. Германский генеральный штаб нанес мощный, долго готовившийся удар. Не сумев разгромить в скоротечной кампании Францию, Германия решила вывести из войны Россию.

Отступление из Галиции, ставшее прологом великого отступления 1915 года, стоило России около 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Но ни Франция, ни Англия и не подумали о том, чтобы прийти на помощь союзнику. Позиционная война, установившаяся на Западном фронте, полностью их устраивала, позволяла перевести дух, собраться с силами.

В угоду Европе мы сделали роковую ошибку и вместо стратегического отступления в начале войны, сопровождаемого рядом тактических контрударов, безрасчетно погубили сотни тысяч людей, бросая их на верную гибель под огнем пулеметов и минометов на проволочные заграждения.

Осень 1915 года беляевский артдивизион встретил в Карпатах. После боя при Яворнике (Яворов) Иван Тимофеевич получил столь долго блуждавший по штабам Георгиевский крест — «за спасение батареи и личное руководство атакой». «Парки летали галопом, — писал Беляев, — едва успевая подавать ящики со снарядами, которые мы поднимали на руках на гребень и распределяли по ротам. Проливной дождь не мог загасить бешеного огня. К концу боя все великолепные чинары на гребне стояли голые, многие деревья были попросту срезаны огнем. На четвертые сутки боя, когда противник отступил, окровавленные тела перед нашими окопами устилали землю в пять рядов. Между ними расхаживал полковой священник, неистово ругая санитаров, которые, не заботясь о раненых, выворачивали у них карманы».

Это подлинное лицо войны, без излишней героизации и морализаторской патетики. Высокое и низкое, красота и уродство соединялись здесь в нерасторжимой связке. Мы со школьной скамьи привыкли верить классику, что война противна самой человеческой природе. Тогда почему же люди все время воюют? Хорошо бы нынешним классикам перестать скользить по поверхности «отношений» и поглубже заглянуть в душу человека.

Потери, потери... Они доводили до иступления. Перед глазами Беляева долго стоял образ совсем еще юного князя Сосико Церетели. На вокзале в Тифлисе он забился под скамейку — не мог, видите ли, смотреть, как плачет мама. А мама его вне себя от

горя спрашивала жену Беляева, Алю, можно ли надеяться, что сберегут ее сына... Не сберегли.

Но вот достало и самого Ивана Тимофеевича. Дело было под Станиславом (Ивано-Франковск), где будущий почетный гражданин Парагвайской Республики оказался на волосок от смерти. Рана в руку не опасна, а в живот...

— Считайте, что выиграла двести тысяч, — заявил доктор и пообещал отправить доблестного артиллериста на излечение в Царское Село, в собственный Ее Величества лазарет.

В полубреду Беляев не понял, говорил ли доктор о характере ранения или о том, что отныне ему предстояло служить объектом внимания женской половины императорской семьи.

— Морфию, доктор, хотя бы еще дозу!..

* * *

Оставим ненадолго нашего героя на больничной койке и посмотрим, что приключилось с его родными в военное лихолетье.

Отцу Беляева, Тимофею Михайловичу, повезло — он не дождал «самого выдающегося события XX века» — Великой Октябрьской социалистической революции. Старый вояка умер в октябре 1915 года, как будто предчувствуя, что затягивание войны грозит России неисчислимыми бедами. «Мир в Петрограде, мир в Берлине...» — это его последние слова.

Старшая сестра разлетевшихся по фронтам героев-артиллеристов, Мария Тимофеевна, в 1889 году, несмотря на предостережения и уговоры родни, вышедшая замуж за профессора Варшавского университета Александра Львовича Блока, как и первая жена distinguished правоведа — Александра Бекетова, бежала к родным. Марию Тимофеевну с дочерью Анжелиной приютил Михаил Тимофеевич, на пушечный выстрел не подпускавший Александра Львовича к его бывшей семье.

Наш замечательный поэт Александр Блок познакомился со своей сводной сестрой в Варшаве, на похоронах так и не обретшего жизненного равновесия отца. Между ними сразу же возникла взаимная симпатия и привязанность.

В конце 1916 года Александра Александровича Блока призвали в армию, и Ангелина попросила Ивана Тимофеевича пристроить его вольноопределяющимся в свой 13-й отдельный тяжелый артиллерийский дивизион.

— Знаешь, дядя, он очень изнежен... — тревожилась Ангелина. — Утром не может встать с постели, не напившись чаю. Он боится всех этих суровых испытаний...

— Пусть не боится, — отвечал Иван Тимофеевич, — мы его побережем. Я буду держать его у себя в штабе. И без чая мы его утром не выпустим.

Однако поэту не суждено было стать артиллеристом. В июле 1916 года Блока зачислили табельщиком в инженерно-строительную дружину «Союза земств и городов» — гражданско-патриотическое объединение, созданное в начале войны в помощь фронту. Блоку не довелось бывать на передовой — он наблюдал за строительством оборонительных позиций, занимался тыловым обеспечением. Жизнь, как признавался сам поэт, протекала «легко и не без удовольствия».

Братья Беляевы, все, кроме Владимира, попавшего в Восточной Пруссии, под Сольдау, в германский плен, стремительно продвигались по службе. Сергей получил в 1916 году чин генерал-лейтенанта, был инспектором артиллерии восьмой армии, входившей в состав Юго-Западного фронта. Михаил, генерал-майор, получил под свою команду артиллерию корпуса. Николай, полковник, не имел, в отличие от братьев, военных наград, но трудился в области такой нужной для военного дела науки, как металлургия. В 1915 году Николай после тяжелых боев в Польше, где он чуть было не встретился с братом Иваном, стал штатным преподавателем Михайловской артиллерийской академии. А до войны, с 1910 по 1913 год, он по поручению правительства изучал достижения металлургии в институтах и лабораториях Англии, Франции, Бельгии, Австро-Венгрии и Германии, что наверняка, учитывая его квалификацию, принесло России немалую пользу. Николай Тимофеевич был автором ряда научных работ по металлургии, переведенных на несколько европейских языков, изучал технологию изготовления дамасских сталей. Квалификация его была такова, что, по воспоминаниям писательницы и общественной деятельницы Тырковой-Вильямс, которая познакомилась с Николаем уже в эмиграции, он мог взять кусок стали и тут же определить ее свойства. Наконец, самый младший из братьев Беляевых, Тимофей, командовал в 1915 году батареей во 2-й лейб-гвардии Артиллерийской бригаде, где начиналась офицерская карьера Ивана. Михаил Алексеевич Беляев, двоюродный брат нашего героя, генерал от инфантерии, с августа 1914 года был начальником Генерального штаба, а в июне 1915 года назначен помощником военного министра.

Дальнейшая судьба этих людей отразила судьбу всей интеллектуальной элиты России. Ее наиболее культурных, образованных, преданных делу, физически красивых людей, составлявших генофонд русской нации, к сожалению, в скором времени ожидала гибель или потеря Родины.

Жизнь в лазарете показалась раем Ивану Тимофеевичу. Здесь он опять взялся за стихосложение, позабытое было в огне баталлий. Поэтом Беляев был небольшим, да он и не претендовал ни на какие лавры. Но когда душа просит, рождается поэзия. А обстановка в Александровском дворце, переоборудованном под госпиталь, навевала романтическое настроение.

... Под покровом темной ночи
 Выступает наш огряд.
 Ветер дует, дождик хлещет,
 Листья желтые летят.
 Где-то слышен свист шрапнели —
 Развернулась цепь стрелков,
 И плетется еле-еле
 Взвод конвойных казаков...

И сегодня прекрасен Александровский парк — ровно очерченны, словно отутюжены, аллеи, каналы, пруды, ажурные мостики, и огромный дворец, построенный Джакомо Кваренги в классическом стиле, поражает своим спокойным величием.

Долгое время полузаброшенный дворец оглушал всех, кто изредка навещал этот удаленный от привычных троп уголок Царского Села, какой-то одному ему известной правдой. Но лишь непуганое воронье пыталось озвучить ее своими гортанными криками. И в смущении отходил неорганизованный экскурсант от призрака минувшей эпохи, спеша вернуться к екатерининским пенатам: уж они-то не досаждали неудобными вопросами, не грозили расщепить привычный мир на опасные для жизни обломки.

А было время, когда здесь решались судьбы России. К просторной колоннаде дворца подкатывали на дымных «руссо-балтах» затянутые в кожу деловитые адъютанты, хлопали двери, стучали озабоченные телеграфы. Потом дворец, словно слоеный пирог, напитался стонами раненых и плачем вдов, резким запахом цветов и медикаментов, страстным шепотом молитв, светлым детским и девичьим смехом, горькими словами сожаления и упреков. Отсюда начинался крестный путь царской семьи...

Великие княжны, успевшие превратиться в привлекательных девушек, создавали для людей, которые выкарабкивались из объятий смерти, непередаваемую атмосферу любования жизнью. Обстановка была до странности демократичная: офицеры лежали рядом с солдатами, носители громких дворянских титулов — рядом со вчерашними крестьянами, приказчиками, агрономами, провизорами.

Подлечившись, Беляев по вечерам присаживался к роялю, музицировал. Случалось, к раненым приводили наследника, и тогда

все гурьбой шли наблюдать за игрой в крокет в парке. Офицеры Эриванского полка состязались между собой в выдумках и остроумии, чтобы привлечь внимание царских дочерей, а те и сами были не прочь проявить к кавказцам скромную заинтересованность. Но князь Геловани метил повыше.

— Был бы я молод, Ваше Величество, удержали бы вы меня вашими компрессами!

— Сколько же вам лет?

— Сорок, Ваше Величество, уже за сорок перевалило!

— Но, князь, ведь и я иногда смотрюсь в зеркало...

— Зачем, Ваше Величество? Не верьте зеркалам, верьте нам, мужчинам!

Отношения Беляева с императрицей складывались сложно. Сначала ему как старшему в чине было поручено преподнести ей цветы в день ее рождения. И вот, одетый в коллективный мундир «эриванской палаты» и нацепив волочившуюся по полу шашку юного прапорщика Шах-Багова с трогательной гравировкой «Моему милому мальчику от мамы», Иван Тимофеевич предстал пред царицыны светлые очи.

В разговоре Беляев упомянул о брате Владимире, который томился в германском плену, и императрица заметно оживилась, узнав, что после перевода того во Фрейбург обращение с пленными стало лучше.

— Видимо, там вас еще не забыли, Ваше Величество!

Беляев потом пожалел об этих своих словах. Неужели формы с чужого плеча и несуразной шашки хватило, чтобы, пусть на время, изменить природу человека, который никогда не заискивал перед сильными мира сего?

Не раз уже замечалась за Александрой Федоровной эта тщательно скрываемая симпатия к Германии, а конкретнее — к ее родному Гессену. Однажды при обходе она выразила соболезнование молодому офицеру одного из сибирских стрелковых полков, потерявшему в бою ногу.

— Не беда, Ваше Величество, — отозвался тот, — приделаю деревяшку и пойду гнать немцев до Берлина!

— Зачем же так далеко? — удивилась императрица.

Другого раненого она спросила, где он был ранен и с кем ему пришлось иметь дело в бою.

— Против нас были гессенцы, — отвечал солдат.

— Чем же кончилось сражение?

— Гессенцы бежали.

— Не может быть! — воскликнула императрица. Краска бросилась ей в лицо. — Гессенцы никогда не бегали от врагов!

«Мне кажется, нетрудно было понять императрицу, — писал Беляев. — Ведь лучшие годы она провела среди своих. Кто может

упрекнуть ее за то, что ее сердце разрывалось в тяжелом положении между близкими ее мужа и родными по крови?! Все ее братья сражались против нас. Корни ее души, конечно, остались в родной земле. Это было глубочайшей трагедией ее жизни. Будучи любящей женой своего Ники, беспредельно привязанная к своему детищу, самоотверженная мать, она отдавала себя на служение раненым, с неподражаемым искусством заботясь о каждом из них...

Но разве таких слов ждал каждый из нас от русской царицы?»

Раздвоение личности никак не может быть достоинством монархов. Ну объяснитесь же наконец с народом! Признайтесь ему откровенно, что питаете слабость к своей «малой родине», но это не мешает вам любить свою вторую родину — Россию. Скажите честно, что всегда, с самого детства, ненавидели хамоватого и примитивного Вильгельма. Заявите прямо, что нельзя отождествлять немецкий народ и авантюристических правителей Германии, ввергнувших мир в бессмысленную бойню. Вас правильно поймут, вашу прямогу оценят. Только не молчите!

Расскажите о самом главном — о болезни наследника. Долгожданный ребенок, обожаемый родителями и всем окружением, мостик трехсотлетней династии в будущее, по прихоти судьбы оказался болен неизлечимой болезнью. И если только один человек мог облегчить его и ваше страдания, дать надежду на исцеление, разве не оправдали бы его постоянного присутствия у трона русские люди?

Беляев, как и подавляющее большинство, ничего не знал о болезни наследника, но знал о Распутине. И это не мешало ему заявлять: «К черту всех, кто порочит ее честь!» Он был искренне рад, что эмиссары Временного правительства, разбиравшие в марте 1917 года царские архивы, не смогли, хоть и очень старались, обнаружить каких-либо свидетельств сотрудничества императрицы с германским генштабом. Правда, он и раньше никогда в это не верил.

Однако Беляевы уже в России погоды не делали. На политическую авансцену повалили массы, для которых понятия веры, долга, чести и совести решающего значения не имели, при том что знать эти массы хотели все больше. С ними надо было работать. И с ними работали!

Но только не те, кто продолжал верить в «народ-богоносец» и в «вековые устои русской монархии». Гигантская империя отставала от времени, оставаясь в блаженном XIX столетии. А массы, низы подвергались идеологической обработке со стороны полужнаек и политических трюкачей, ловко вплетающих «придворные безобразия», «государственную измену» в тяготы войны. И в этих условиях молчание верхов облегчало им задачу.

Царь неоднократно до своего отъезда в Ставку бывал в лазарете. Однажды он долго сидел у кровати тяжелораненого подпоручика 22-го Сибирского пехотного полка. Тот с жаром рассказывал ему всю правду... Они растались в слезах. Плакал офицерик. Плакал и царь.

Наверное, можно пожалеть о том, что в переломный момент российской истории на ее троне оказался мало подготовленный к самодержавному правлению человек. И весь вопрос для Беляева, наперекор всему остававшегося монархистом, заключался вот в чем: может ли монархия, как институт в целом, нести ответственность за слабости и просчеты своего отдельного представителя?

Попробуем представить, как выглядел бы наш совсем уже не любимый к февралю 1917 года император, не отрекись он от престола, а дойди вместе с Россией (доведи ее) до победы в Великой войне. До нее ведь, между прочим, оставалось совсем немного. Симпатии толпы, как известно, переходящи, и если от любви до ненависти один шаг, то и обратный путь, наверное, ничуть не длиннее...

Гуляя по аллеям осеннего парка, Беляев часто вспоминал кумира своей семьи — Суворова, и ненависть эксцентричного генералиссимуса к тем, кого он называл немогузнайками. Сегодняшний немогузнайка, думал Иван Тимофеевич, стал другим. Он размножился и раздобыл, нацепил пенсне, отпустил бородку клинышком, переделался в импозантную тройку. Нахватавшись вершушек (получив образование), возомнил, что знает все, может учить всех и претендовать на собственную исключительность. И чем больше истинный мудрец остерегался судить о сущем, сознавая несовершенство своего разума перед мудростью Творца, тем больше полузнайка-образованец настырно лез вперед, навязывая всем свои безумные решения. «Полузнание ведет к неверию, — вспоминал в этой связи Иван Тимофеевич слова английского философа Ф. Бэкона. — Только полное знание ведет к Богу».

Настала пора выписываться из лазарета. Оставался в Царском прекрасный парк, где так хорошо думалось и мечталось, оставались новые друзья и старые сомнения. Впереди — назначение и возвращение в строй.

С фронта стали приходиться более утешительные известия. Отступление русской армии закончилось. Заводы и фабрики стали выработывать колоссальное количество снарядов. Кружным путем, через Владивосток, через Романов на Белом море (Мурманск. — Б.М.) стали прибывать огромные запасы вооружения. Еще одна держава, Италия, присоединилась к Антанте. В начале 1916 года войска под командованием генерала Юденича осуществили прорыв на Закавказском фронте и взяли Эрзерум, захватив до 10 тысяч военнопленных...

Поглощенные пространством и самоотверженными усилиями армии, германцы остановили свой натиск. Они поняли, что с Россией не справиться, и снова бросились на Западный фронт. Поняли и союзники, что русская армия без снарядов и патронов не может облегчить их положение, что блокада Дарданелл делает их подвоз невозможным и что надо пойти навстречу России в ее отчаянных усилиях...

Да, Беляеву хотелось верить в хорошее. Перемены действительно наступали. В русской армии был осмыслен опыт двухлетних боев, улучшилось снабжение, появилась тяжелая артиллерия и даже тяжелая авиация, стали выдавать противогазы. Несмотря на страшные потери 1914—1915 годов, удалось пополнить ряды армии за счет новых призывов и экипировать их продукцией отечественных оружейных заводов. Производительность машиностроения к 1916 году возросла четырехкратно по сравнению с довоенным, 1913 годом. В войсках стали появляться телефоны, грузовики, броневые автомобили. По количеству пулеметов, а также по количеству снарядов практически новая двухмиллионная русская армия впервые сравнялась с германской.

Как особое доверие верховного командования расценил полковник Беляев свое назначение командиром 4-го отдельного полевого тяжелого артдивизиона, стоявшего в Могилеве-Подольском. Но вредная привычка к анализу рождала тревогу.

Со школьной скамьи все повторяют известный афоризм Наполеона, что на войне дух дает три четверти успеха, а остальное — всего четверть. Но почему-то считается, что дух этот со времен Полтавы и Бородина составляет неотъемлемую часть нашей армии, и заботятся лишь о материальной стороне дела. Дух армии основан на вере, что спасение заключается в победе, а вера — горами двигает...

— *Проклятые! Проклятые!* — слышалось на дебаркадере.

— *За вас еду умирать!* — кричал вдребезги пьяный пехотный унтер.

— *Оставайтесь, буржуи проклятые, еду уми-р-р-р-ать!..*

Артиллерия спасла свои кадры до конца войны, кавалерия, особенно казаки, сохранила их в значительной мере, но пехота уже лишилась тех, кто составлял когда-то ее дух и сердце, и обратилась в толпу вооруженных людей, ничем не связанных между собою.

Беляев не был бы собой, если бы спокойно наблюдал за процессом морального разложения, охватившего армию, а потом и всю страну. Он составляет докладную записку — плод глубоких размышлений на полях сражений и в госпитале. На вопрос «Что делать?», задававший тогда в разных сферах — от дворцовой до самой что ни на есть пролетарской, он отвечает просто: спасти армию и людей.

Полковник Беляев выступил с идеей организации в глубоком тылу запасных батальонов от каждого сражающегося полка, где солдаты и офицеры, излечившиеся после ранений, могли бы воскresить среди молодежи те традиции, которыми жила кадровая армия, к тому времени уже почти полностью полегшая под ударами немецкой военной машины. Эта свежая армия, явившись в последний момент, решила бы судьбу России, считал Иван Тимофеевич, и стала бы залогом будущего спокойствия страны. Запомним, читатель, эту идею. Позднее, в Парагвае, она ляжет в основу проекта «Русский очаг».

Но куда бы ни обращался Беляев со своей бумагой, везде он встречал непонимание и даже раздражение. Ну зачем огород городить? Сладкий запах скорой победы уже щекотал ноздри начальствующим, будоражил воображение. Еще немного жертв, еще потерпеть — и парадом по Унтер-ден-Линден!

— Что же вы, батенька, предлагаете? — обратился ко мне один из лидеров кадетской партии в Думе Шингарев. — На это ведь понадобятся годы. Сегодня на смену убитым и раненым мы выпускаем тысячи студентов, образованных, культурных, вполне готовых пополнить недостатки армии количественно и качественно. Вы можете быть спокойны: армия будет восстановлена. А вот кстати, не объясните ли мне: что такое миномет?

Армию могли возродить Суворов, Румянцев. Можно ли было ожидать, что она вылетит из портфеля бывшего земского врача, как Минерва из головы Юпитера, в полном вооружении блестящих доксов?

Проект Беляева все же каким-то боком был претворен в жизнь. Идея запасных батальонов, как видно, витала в воздухе и была подхвачена многими. Но вот незадача: как раз те самые запасные батальоны от наиболее именитых полков (лейб-гвардии Павловского и Преображенского) стали катализатором смуты в столице в феврале 1917-го, прямиком приведшей страну от монархии к анархии. А дело в том, что никакого кураторства со стороны кадровых офицеров и солдат над этими новоиспеченными батальонами — в этом заключалась идея Беляева! — не было. Им не был привит дух армии, вера в победу, воля побеждать, а без этого не работает никакой материальный прогресс.

Те самые «тысячи студентов», бывшие гимназисты, разночинцы, приказчики, лица свободных профессий, которые в 1916—1917 годах надели погоны прапорщиков, привнесли в жадные до знаний, но не просветленные духом солдатские массы идеи, может быть, и прогрессивные, но далекие от патриотических. Дети русской разночинной интеллигенции, которая веками испытывала пиетет к слову «революция», не представляя себе все конкретные последствия его опредмечивания, так и не научились

без запинки кричать: «За веру, царя и Отечество, ура!» Позже это сказало и на судьбах белого офицерства... «Тыловые части, — писал М. Палеолог, — ровно ничего не делают или, во всяком случае, недостаточно заняты. Кроме того, солдаты очень скверно помещены в казармах. В Преображенских, рассчитанных на тысячу двести человек, помещены четыре тысячи человек. Они проводят целые ночи в разговорах. Это прекрасный бульон для культуры революционных бактерий».

Но особенно контрастно эта ситуация выглядела на флоте. Согласно статистическим данным, опубликованным уже после революции, степень большевизации экипажей кораблей, принимавших относительно пассивное участие в боевых действиях на море (четыре балтийских дредноута, которые берегли в качестве стратегического резерва), и тех, которые большую часть времени простаивали у стенки, находясь на ремонте (крейсер «Аврора»), была на несколько порядков выше, чем на тех крейсерах, эсминцах и минных заградителях, которые вели борьбу с врагом. Выходит, «буревестникам революции», наделавшим столько бед в нашей истории, привычнее было воевать с собственными офицерами, чем рисковать жизнью в боях с врагами России. Выходит и другое — что наша «Великая» делалась в том числе и со скуки... «Скука, — писал американский политик и философ П. Бьюкенен, — одно из наиболее влиятельных состояний, определяющих и формирующих поведение человека. Способов лечения скуки существует множество, среди них особенно выделяются секс, наркотики и революции».

Вот и назрел закономерный вопрос, ответ на который не стоит откладывать в долгий ящик. Беляев не считал участие России в войне неизбежным и нужным. Тогда не лучше ли было выступить за скорейшее заключение сепаратного мира? Вопрос этот тысячу раз задавал себе Иван Тимофеевич и тысячу раз давал на него отрицательный ответ. Его позиция может сегодня показаться примитивной, черно-белой, но:

Родина воеет, а наше дело — довести войну до победы.

Не станем рассуждать о нужности или ненужности участия России в Первой мировой войне. Выступив в защиту братской униженной Сербии, соблюдая (слишком скрупулезно!) свои союзнические обязательства, Россия выполнила свой моральный долг. Дело в другом. Колоссальные жертвы, на которые пошла страна, не очень верно рассчитав свои силы, должны были свидетельствовать в пользу скорейшего окончания войны ради спасения армии и людей. А чудака полковник Беляев твердит о том, что как раз для этого и следует войну продолжать.

Что ж, критерий истины — практика. Что случилось со страной после сепаратного мира, заключенного большевиками с Гер-

манией в Брест-Литовске? В Первой мировой войне Россия потеряла убитыми и ранеными свыше двух миллионов человек. Революция, совершенная, чтобы избавить страну от империалистической бойни, и последовавшая за ней бойня гражданская унесли, по разным оценкам, от 14 до 15 миллионов человек. Около двух миллионов были вынуждены эмигрировать. К этому непременно следует добавить всех неучтенных жертв голода, эпидемий, террора и репрессий и, конечно же, больше 20 миллионов погибших в Великой Отечественной. Вместо планировавшегося в 1913 году на конец XX века населения в 300 миллионов человек сегодня Россия имеет 145 миллионов. Недовоеванная война — это как недovyрезанный аппендицит.

А в какой реестр занести насильственное обрушение общественного строя, векового жизненного уклада и традиций россиян, уничтожение колоссальных материальных и культурных ценностей, целенаправленное извращение морали и права? А последовательное, раз за разом, снятие наработывавшегося веками «культурного слоя» людей, составлявших цвет нации, — ее наиболее интеллигентных, талантливых, совестливых и трудолюбивых представителей? Людей, неуспокоившихся, умевших и любивших задавать вопросы, а потому заведомо опасных для режима, стремившегося уверить мир в своей абсолютной правоте и непогрешимости. Это в полной мере можно оценить, пожалуй, только по сегодняшнему положению дел в нашей стране.

Выходит, Беляев был прав: не следовало вступать в войну на условиях, заведомо невыгодных для России, но вступив, нужно было вести войну до победного конца. Интуитивно, по-солдатски, а может, и вполне осознанно, он понимал, что в политике никогда нельзя рассчитывать на лучшее. Нельзя, оказавшись в трудной ситуации, считать, что «хуже уже быть не может», и бросать начатое дело. Хуже может быть всегда. Потому и говорят: из двух зол нужно выбирать меньшее и уже знакомое.

Тем более что бодрые вести с фронта еще продолжали поступать. В июне—августе 1916 года на Юго-Западном фронте была проведена крупная операция российской армии, получившая название «Брусилловский прорыв». Американский историк Н. Стоун назвал ее самой блистательной победой той войны. А мы назовем ее последней победой императорской России...

За время наступления войска генерала Брусилова взяли в плен 400 тысяч австрийцев, 600 тысяч солдат и офицеров противника были убиты и ранены. Немецкие войска потеряли 350 тысяч человек. Была отбита полоса территории глубиной до ста километров. Русские вошли в Черновицы, а 7 августа был занят город Станислав (Ивано-Франковск). Немцы в очередной раз в спешке бросились укреплять австрийский фронт, оказавшийся на грани полно-

го развала. Под влиянием побед Брусилова австро-германцам объявила войну Румыния. Наконец, Брусиловский прорыв послужил срыву наступления немцев на Западном фронте, под Верденом. «Располагай Брусилов достаточными средствами, чтобы продолжать наступление, — писал известный английский военный историк Дж. Киган, — он смог бы восстановить еще больше территорий, потерянных в ходе большого отступления 1915 года, и, возможно, вновь достичь Лемберга и Перемышля. Однако таких возможностей у него не было... Тем не менее наступление Брусилова, по меркам Первой мировой войны, когда успех достигался метрами, достававшимися с боем, было величайшей победой, одержанной на любом из фронтов с тех пор, как война приобрела позиционный характер».

Велико было и моральное значение прорыва. Он на время заставил замолчать скептиков и пораженцев, усилив надежды на скорое победоносное окончание войны. Русская армия была жива, несмотря на тяжелейшие потери и фактическое предательство со стороны союзников. Она одерживала победы.

Одним из отличительных качеств Беляева была скромность. Об участии в Брусиловском прорыве в записках нашего героя сказано до обидного мало. Командуя 4-м отдельным полевым тяжелым артдивизионом, он подготавливал атаку на Черновицы. 13-й отдельный полевой тяжелый артдивизион под командованием Беляева участвовал во взятии Луцка. В записках Ивана Тимофеевича много и заинтересованно говорится о тактике артиллерии, допущенных ошибках и просчетах, даются емкие характеристики людям.

Плотный и коренастый, с энергичными, хотя и резкими манерами, Деникин, уже тогда двойной георгиевский кавалер, пользовался высокой боевой репутацией, заработанной на Карпатах, где он командовал Железной дивизией. Его суровый, сухой прием и грубоватые манеры не произвели на меня приятного впечатления.

Иван Тимофеевич Беляев обладал способностью по мелким, казалось бы, незначительным деталям составлять целостное представление о человеке. Деникин, похоже, не понравился ему с самого начала. Что ж, бывают случаи необъяснимой взаимной антипатии. С Деникиным Беляев сталкивался неоднократно, и всякий раз первое впечатление находило реальное подтверждение.

Будучи членом штаба 4-го армейского корпуса, которым командовал Антон Иванович, и занимаясь артиллерийской подготовкой наступления у села Корытницы, полковник Беляев, по-видимому, резко разошелся с генерал-лейтенантом Деникиным во взглядах на способы решения задачи. «С рассветом кано-

нада достигла высшего напряжения, — писал Иван Тимофеевич. — В условленную минуту головной полк бросился в атаку. Изю всех передовых окопов посыпались оборонявшиеся, и все промежуточное поле между первой и второй зоной покрылось бегущими. За ними, как стадо оленей, как горная лавина, с ружьями наперевес — наши. Незабываемая атака... Немцы мгновенно скрываются, как провалившись сквозь землю, за завесой бризантных гранат. Мы переносим огонь всех орудий на вторую зону и на их батареи. Но под пулеметным огнем наши залегли на открытой поляне, где держаться уже невозможно. Полк, брошенный на их поддержку из резерва, употребляет целых два часа, чтобы пройти три версты, отделяющие его от линии огня. Наши вынуждены отступить и скрываться в окопах первой зоны до темноты. А немцы уже подвели резервы и реорганизовали оборону тыловой линии...

В данном случае очевидна недостаточная обдуманность решения. Наполеоновское *Tentez partuot et puis osez* было переведено как «Толпитесь там и сям», и везде противник успевал подвести свои подвижные резервы, которые тотчас же восстанавливали положение. Суворовский принцип «Глазомер, быстрота, натиск» сводился к одному лишь натиску и бесполезному пролитию крови...

Но были и грубые ошибки в технике деталей: в момент атаки гвардии артиллерия замолчала по недостатку снарядов в самую решительную минуту. Подступы, дававшие возможность сближения с противником, не были рассчитаны на носилки для раненых. В результате они были забиты телами, и для атаки не оставалось ничего другого, как идти в открытую или тратить два часа, чтобы пройти три версты. В результате в море крови угас последний порыв...»

* * *

Наступившее временное затишье на фронте позволило Беляеву съездить в отпуск в Петроград и повидаться с женой и родственниками.

Родной город производил тяжелое впечатление. По улицам неприкаянно бродили солдаты и какие-то странные люди в форме. Трамваи были забиты народом. Все проклинали растущую дороговизну, склоняли царя, царицу и Распутина. Словечко «измена», пущенное кадетами, уже порхало над митингующими толпами мохнатым серым мотыльком. В Ставке же разрабатывали план нового прорыва, «не замечая, что вся страна готовилась к чему-то совершенно иному». Февральские события легли на подготовленную почву.

Зима 1916/17 года. В разгаре самая страшная в человеческой истории война. Кто бы мог подумать, что еще три года назад счастливая и кокетливая Европа, начинавшая забывать о нищете,

вражде, жестокости и границах, континент, устремленный в технократическое завтра, где, казалось, само количество накопленных богатств будет гарантией от рецидивов прошлого, вновь окажется отброшена к состоянию варварства. Как людям добиться снисхождения Творца, чтобы спастись наконец от печати Каина?

Поля, изрытые окопами и траншеями, небеса, проколотые остовами сгоревших церквей и поместий, десятки тысяч небуранных трупов, миллионы километров колючей проволоки — похоронный марш по западной культуре, коей девиз доселе был прост и краток: «Человек — мера всех вещей». За три года Великой войны канули в Лету самолюбование и гордость, уверенность в завтрашнем дне и здоровая беспечность. Отныне страх будет править миром, деформируя гены, приучая к недоверию и оглядке, порождая приступы неограниченной жестокости, отчаянной глупости, беспричинного отчаяния и чумового веселья.

«В результате той войны, — писал английский историк Э. Тейлор, — на свет появилось поколение политических психопатов, способствующих падению общественной морали, декадентству в искусстве и людях, возникновению иррационального духа протеста ради протеста в молодом поколении». Д. Киган продолжил мысль Тейлора: «Все, что было наихудшего в столетии, которое открыла Первая мировая война, — преднамеренное обречение на голодную смерть целых областей, искоренение по расовому признаку, идеологическое преследование того, что считалось интеллектуально и культурно неприемлемым, боини среди малых народов, подавление суверенитета небольших наций, уничтожение парламентов и возвышение комиссаров, гауляйтеров и военачальников, получивших власть над безгласными миллионами, — все это имело начало в хаосе, который она после себя оставила». Думается, что эти слова могли бы стать эпитафией ушедшему XX веку.

Логично предположить, что тяжелее всего война скажется на психике относительно молодой и устремленной в будущее нации — российской.

И вот настал семнадцатый год. Как встретили отречение императора и начало «демократии» в России различные классы, партии, выдающиеся политические фигуры, мы, в общем-то, знаем. Как встретил Февраль простой артиллерийский офицер и монархист? Спокойно.

Солдаты! Много лет назад я вступил в ряды Русской армии одновременно с восшествием на престол государя императора Николая Александровича. Под его знаменами все мы вышли на эту войну, которая — еще только одно усилие — и окончится разгромом врага. Я надеялся, что сам государь войдет с нами в Берлин. Этим мечтам не суждено было сбыться. Нет с нами больше нашего царя, но осталась Россия. За нее мы должны постоять до последнего. За нашу Отчизну, за нашу победу, ура!

В этих словах, обращенных Беляевым к своим батарейцам, нет ни хулы в адрес поверженного царя, ни заискивания перед народом, ни тем более покаянных слов о прощении (на всякий случай!) былых обид. А все это тогда часто можно было слышать от многих потерявших ориентиры и вконец запуганных офицеров.

Мы не знаем, какие чувства бурлили в душе Ивана Тимофеевича в те дни, но факт, что Россия была и сражалась, не оставляя места панике и унынию. Для него главным была сама Россия. И пока существовала Отчизна, воспринимавшаяся одушевленной, внушающей к себе любовь и требующей защиты, существовал и смысл жизни. А империя, республика — ну что же...

Солдаты качали меня на руках. Я вернулся к себе, глубоко расстроженный неожиданной оацией.

Таков был результат беляевской речи. Сложно понять психологию экзальтированных масс. Толпа иррациональна. Февраль, и особенно март, 1917 года ознаменовались массовыми убийствами офицеров в армии и на флоте, причем не давали пощады ни упорствующим, презрительно, не вынимая папиросы изо рта, бросающим перед смертью: «Быдло!», ни кающимся магдалинам.

Полковник Беляев сумел буквально в нескольких словах возродить у людей четкие жизненные ориентиры, заново вселить в них утерянные, но страстно желаемые в атмосфере всеобщего психоза чувства определенности и востребованности. Слова о «свободе», «равенстве» и «демократии», болтавшиеся в нешибко натруженных мозгах, оказались вдруг привязаны к месту. Сразу стало легко и удобно принимать решения.

Однако скоро, очень скоро, уверенность Ивана Тимофеевича вновь сменилась тревогой. Земские врачи, оказавшись у власти, спешили продемонстрировать верность «демократическим идеалам» наперекор всякому здравому смыслу. И вот на свет появляется знаменитый «Приказ номер один» Петроградского совета от 1 марта 1917 года — образец высокопринципиальной глупости и невежества. Отмена прав начальника, выборность офицеров, отмена отдания чести, создание солдатских комитетов с правом обсуждения приказов, с правом отстранять неугодных командиров — этот набор в условиях военного времени и перехода к новой форме правления многократно усилил разруху в головах. Затем появился не менее знаменитый «Приказ номер восемь» военного министра Керенского — «Декларация прав солдата» (но не офицера!). Солдатам предоставлялись все права политической деятельности, включая право на антивоенную агитацию (и это во время войны). Профессионализм, на котором еще держались армия и Россия, все больше уступал дорогу демагогии и анархии, где так по-свойски чувствовали себя ползушие к государственной кормушке разномастные «борцы за народное счастье».

С каждым днем становилось все яснее: революция выигрывала почву, правительство теряло ее. Вернее, правительство было номинальным и только делало вид, что функционирует. Появление у власти Керенского было новой ступенькой вниз, ему повиновались лишь те, кто хотел; не было ни твердой власти, ни управления. Оставалась лишь надежда на новое летнее общее наступление, готовившееся давно и методично.

Фронт оживился. Началась переброска войск к месту прорыва. Воздушная разведка, сосредоточение пехотных масс и артиллерии производились в невиданных до сих пор размерах. Казалось, все, что было заготовлено царской Россией, было поставлено на карту. Артиллерийские склады завалены снарядами, огромная масса строительного материала сложена за позициями. Подступы к неприятельским линиям обратились в гигантские плацдармы. Воздвигались командные посты, тщательно оборудованные наблюдательные пункты. Противник совсем присмирел, словно замер под угрозой неизбежного удара. Затеплелась надежда — одним ударом вернуть потерянное...

Надежда была, в нее хотелось верить. Да и Германия уже на ладан дышала, истощив ресурсы. Давайте допустим: новый русский прорыв удался и армия наступает на всех фронтах, наше наступление поддерживают западные союзники. Германия не выдерживает — идет на перемирие уже летом — осенью 1917 года и получает суровые, но справедливые условия мира, которые не дают ей чувствовать себя изгоем в Европе и позволяют добиться скорого экономического возрождения. Союзники на востоке и на западе равно гарантируют Европу от угрозы возрождения германского милитаризма.

Победа над врагом позволяет России преодолеть период замешательства и безвластия. Политические проходимцы исчезают в атмосфере духовного подъема. Правительство, очистившись от демагогов, спокойно готовит созыв Учредительного собрания, которое вырабатывает и принимает Конституцию новой республики (конституционной монархии). Россия переходит к мирному строительству, сотрудничает с Западом на равноправной основе. И уже через 15—20 лет мирного развития наша страна благодаря своему колоссальному природному, научному, культурному и человеческому потенциалу становится сверхдержавой, не зависящей от Запада ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане.

В этом сценарии нет места большевистской революции и Гражданской войне в России, Второй мировой войне, «холодной войне» и всем связанным с ней вооруженным конфликтам, «перестройке», развалу России по национальному признаку и либерал-большевистской революции начала 1990-х годов.

Однако всякие попытки нащупать причинно-следственные связи в истории, не консультируясь с волей Устанавливающего их, не заслуживают внимания...

* * *

Летнее наступление, естественно, провалилось. Моральный дух — то главное, что, по убеждению Беляева, и определяет победу, был подорван в русской армии, лишившейся своего кадрового стержня в кампаниях 1914—1915 годов, окончательно и бесповоротно. А поначалу дела шли неплохо, особенно на Юго-Западном фронте. Полковник Беляев был заместителем начальника артиллерии 4-го армейского корпуса генерала Седельникова.

18 июня в 6 часов утра началась канонада по всему фронту. Все неприятельские линии задрожали под разрывами тяжелых снарядов и заволклись облаками дыма. Легкая артиллерия сериями выстрелов срезала проволоку, пробивая в ней проходы, по четыре на роту. Было видно, как колья летели во все стороны...

Еще минута, другая — и вся линия неприятельских окопов оделась красными флагами — знак захвата неприятельской позиции... Победа, желанная так долго, так страстно, — победа наша!

При атаке Средней горы 6-й полк потерял всего одного солдата. Потери начались уже на подступах ко второй зоне. Соседний 8-й полк потерял 500 человек...

Но наши вдруг остановились. Напрасно офицеры на коленях умоляли солдат использовать минуту и одним ударом довершить победу.

— Мы еще могли бы изображать силу, — рассуждали офицеры, — но стоя на месте. Двинувшись вперед, мы развалились.

Это была правда. Полки замитинговали. Победа превратилась в катастрофу.

На Западном и Северном фронтах дела пошли еще хуже, и в незначительной степени потому, что они в отличие от Южного и Юго-Западного за всю войну не знали крупных успехов и антивоенная пропаганда была там особенно сильна. На Западном фронте десять из пятнадцати дивизий отказались наступать. Северный фронт вообще не двинулся с места. На многих участках отступление перерастало в бегство, солдаты стреляли в своих офицеров, которые пытались их остановить. Да и чем остановишь? Лозунгом «За мир без аннексий и контрибуций»? Раньше понятнее было: вот тебе «вера», вот тебе «царь», а вот «Отечество». А теперь — Бога нет, царя скинули, Отечество продано. Было от чего прийти в смятение.

Очевидно, что Россия в начале XX века потерпела поражение в информационной войне. Ее умело вел как внешний противник, так и внутренний враг. И на это совершенно неумело реаги-

ровало правительство (царское, Временное). Даже факт почти полного уничтожения кадровой армии, возможно, не имел бы таких фатальных последствий, если бы, по мнению Беляева, «верхи» более открыто общались с народом и был принят план возрождения духа кадровой армии в запасных батальонах. А теперь что ж...

Теперь уже ясно, что никакие уговоры, никакие обещания не смогут остановить хаоса. Всем руководит невидимая, скрытая сила, с которой невозможно бороться.

На позиции под городом Збаражем, которые удерживал беляевский артдивизион, прибыл начальник артиллерии 1-го гвардейского корпуса генерал Папа-Федоров. Корпус, в составе которого сражалась «петровская» бригада — когда-то славные Преображенский и Семеновский полки, принял решение: «Ни аннексий, ни контрибуций, защищаться на русской границе, куда и следует немедленно отступить».

Дивизион Беляева получил задание прикрыть огнем хаотичное отступление корпуса, возможно, пожертвовать собой ради спасения чести России, ее исторических знамен и реликвий. Маневр, задуманный Беляевым, удался. Мало того, его дивизиону удалось отступить на Збараж, не оставив противнику ни пленных, ни трофеев — ничего, кроме брошенных телефонных проводов да груды расстрелянных гильз. За этот подвиг полковник Беляев заработал от командира корпуса графа Игнатьева слоеный пирожок да рюмку водки...

Корниловский мятеж Беляев встретил в Збараже, где его дивизион был включен в состав 1-го гвардейского корпуса, который перешел под командование генерала В.З. Май-Маевского. Реакция Беляева на приказ главкома Корнилова № 3718 от 8 июля 1917 года «О немедленном аресте всех агитаторов, призывающих части к неисполнению боевых приказаний» — это реакция аналитика и солдата. С одной стороны, понимание бесперспективности принятия каких-либо мер, с другой — не исполнить приказ значило погубить последнюю, отчаянную надежду на спасение России.

Из всех командиров частей корпуса только двое осмелились исполнить приказ. За арест двух наиболее рьяных агитаторов Беляеву пришлось восемь часов оправдываться перед собранием комитетов всех частей. Дело спасла лишь его популярность среди солдат да поддержка председателя корпусного комитета, а то не сидеть бы Ивану Тимофеевичу на берегу реки Парагвай и не удить богатую протеином рыбу сурубим...

Пережитое потрясение заставило Беляева решиться похлопотать о давно заслуженном генеральском чине.

И вот, достав копию представления генерала Седельникова с санкцией от армии и штаба фронта, я решил смолить прямо в Питер, пока там еще функционировало нечто похожее на Военное министерство.

Поезд на Псков. Станционный буфет, забитый митингующими. Среди серой массы шинелей и красной ряби революционных бантов чужеродно смотрятся новенькие генеральские погоны невысокого человека в пенсне и с бородкой.

— А как это будет ваше имя, фамилия?

— Меня зовут Иван Тимофеевич Беляев.

— Вот и спасибо. Вот уже спасибо за такое слово! А то у нас, куда ни сунься, всюду фончики да барончики. Вот только сняли бы вы ваши погоны, так мы бы с вами всюду пошли!

— Я не только погоны, я и штаны с лампасами сниму, если вы повернете со мной на врага. А против своих не ходил и не пойду, увольте!

Предчувствие гражданской войны, давно витавшее в воздухе, грозило преобразоваться в реальность. Странники превращения войны империалистической в войну гражданскую могли радостно потирать руки. Армия разложилась. Теперь между ними и властью не существовало никаких преград. И вот из безграничного царства свободы, резво сбрасывая хитиновый покров псевдодемократии, рождается дракон кровавой диктатуры. Скоро, очень скоро его крылья нальются злокачественной лимфой лжи и насилия и надолго закроют собой пространство на одной шестой части света.

* * *

Октябрь 1917 года прошел в России почти незамеченным. Даже в Петрограде. В той мешанине партий, лозунгов и призывов, криков «ура» и «долой», на фоне всеобщей толчеи, бестолковщины и расстрелов под шумок захват власти большевиками был вполне органичен и прост. «Власть валялась на улице» — любят повторять историки. А генералу Беляеву Россия представлялась наивной девушкой, которую уже давно обхаживал искусный соблазнитель. Все кончилось банально — панелью. Там ее и подобрали большевики, чтобы приспособить для «мировой революции».

Получив назначение командиром 83-й артиллерийской бригады, Беляев отправился в Киев. Ехать в незнакомую бригаду не хотелось. Из Киева, после занятия его большевиками, едва удалось вырваться. Хотелось на Кавказ — «может, там еще дерутся с турками?» — но Брестский мир перечеркнул всякую надежду повоевать с внешним врагом.

Куда же деваться? Этот вопрос в восемнадцатом году задавали себе очень и очень многие. В компании таких же неприкаянных офицеров, их жен и подруг Иван Тимофеевич продолжал двигаться на юг — от станции к станции. И так без малого полтора месяца. Чего только не довелось насмотреться в дороге по вздыбленной стране! Опасностей, приключений, анекдотов с избытком бы хватило на долгие годы. Но настоящие странствия только начинались.

В Мариуполе присутствовали на заутрене. В хате толпилось много портовых, все больше матросы с торговых судов. Мне подали стаканчик с каким-то вонючим содержимым. Оказалось — чистой денатурат!

— Выпьем за нашу великую бескровную революцию! За всемирный пролетариат! За нашего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича!

Екатеринослав. Снова немцы. Два грустных солдата, проверив, что в газырях черкески болтаются лишь пустые гильзы, выражают недоумение по поводу быстрого развала России.

— Подождите, большевизм обойдет всю Европу, и первой, где он начнет выдыхаться, будет Россия!

Достигнув наконец мест, отчасти пригодных для обитания, Беляев долго пребывает в растерянности, безуспешно пытаясь обратиться из морального тупика, куда его, как и многих бывших офицеров императорской армии, загнала революция. В итоге он примкнул к «Лебединому стану». Однако в основе этого шага не было веры в победу зарождавшегося Белого движения, хотя отдавать жизнь, не рассчитывая на успех, по нашим нынешним меркам, смешно и глупо. Очевидно, генерал Беляев считал, что спасти Россию нужно было раньше, теперь же осталось только спасти свою честь. А о чести-то судить лучше не нам, а им, тем, которые отлетели с «Лебединым станом»...

Да, на вокзале во Пскове еще верилось, что Россия в какой-то новой форме, но все же будет. И ради этого имело смысл, если потребуются, снять и новенькие погоны, и лампасы. Однако для Беляева Россия представляла нечто большее, чем пространство на географической карте, а большевики решили срезать бульдозером пролетарской диктатуры все, что возвышалось над этим пространством: прошлое и настоящее, религию и культуру, армию и интеллигенцию, традиции и привычки, понятия о Боге, морали, чести и совести. Они рассматривали Россию как трамплин для реализации идеи о мировой революции, прямо заявив устами своего вождя, что на Россию им в общем-то наплевать. От живой страны они оставляли лишь оболочку, чтобы наполнить ее своим содержимым. Так что же, воевать за оболочку? Нет, это было не в натуре Беляева. Он выбрал возможность побороться за душу России, готовясь к худшему, но не оставляя надежды на чудо.

Кураж, который гнал шотландских предков Беляева в неизведанную страну под девизом Peradventure! — «Наудалую!», был в полной мере присущ и ему самому. Его воодушевил прорыв первых белогвардейцев, во главе с Корниловым пошедших на Екатеринбург зимой 1918 года. В новорожденной славе Ледяного похода Иван Тимофеевич разглядел отблеск альпийских вершин, покоренных суворовскими чудо-богатырями наперекор всем врагам и самой природе.

Крошечная армия насчитывала всего три тысячи штыков и сабель при семи орудиях. Потери ранеными и убитыми в сражениях немедленно восполнялись наплывом свежих людей, ускользнувших от красных. Пехота состояла главным образом из боевых офицеров, бывших ротными и взводными на Великой войне, и немногих старых солдат. Они шли в атаку редкими цепями, во весь рост, с трубкой в зубах, с полной верой в своих начальников. Память Корнилова и погибшего с ним полковника Неженцева свято чтилась, про генерала Маркова и других рассказывали чудеса. На походе генералы Алексеев и Деникин шли пешком, старики генералы ехали погонщиками в обозе. Тыла не существовало, так как весь отряд от авангарда до арьергарда простреливался артиллерийским огнем и противник окружал его со всех сторон.

Попав в мае 1918 года в станицу Мечетинскую — сборный пункт всех белогвардейских отрядов, отошедших после тяжелых боев на Дон, Беляев не поверил своим глазам: перед ним наконец-то была армия, а не скопище вооруженных издерганных людей.

В Мечетинской все напоминало мне наш лагерь под Красным. Приятно было глядеть на здоровые, загорелые лица, отлично пригнанное, хотя и потрепанное снаряжение, на подтянутых коней. За несколько дней в Мечетке я вошел в общую жизнь и почувствовал себя на своем месте.

Выбор был сделан. Генерал-майор Беляев выказал готовность пойти рядовым в армию, где рядовыми были офицеры, от прапорщика до полковника. «Я не могу и мечтать о командном назначении». Скромность, конечно, вещь хорошая, но не в ущерб же делу! Начштаба Добровольческой армии, старый сослуживец Беляева по 2-й лейб-гвардии Артиллерийской бригаде генерал Романовский назначил его инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса.

История моей жизни окончилась. Начинается роман. Передо мной воскресают лучшие страницы «Веверля» или даже «Айвенго», о которых я мечтал с детства... Дела идут удачно, сейчас мы идем на юг, но мне кажется, что мы приближаемся к Москве.

Дела поначалу действительно шли удачно. Второй Кубанский поход, начавшийся 23 июня 1918 года, ознаменовался серией бли-

стательных побед и закончился взятием Екатеринодара. 31 августа там было сформировано временное гражданское правительство Юга России — Особое совещание, во главе с генералом Драгомировым. В нем участвовали многие известные общественные деятели России. Была опубликована «Декларация Добровольческой армии», в которой определены цели Белого движения — восстановление России на основе создания сильной, дисциплинированной и патриотической армии и установление в стране единства и правового порядка.

За считанные месяцы разрозненные группы энтузиастов, взявшиеся за оружие на свой страх и риск, сумели одной только силой духа положить начало процессу возрождения русской армии, а с ней и самой России, которая, казалось, как птица Феникс, вот-вот восстанет из пепла.

В боях 1918—1919 годов закалялась Белая армия, рос ее престиж. В нее, под стяги былой военной славы России, стекались все, кто устал от большевистского беспредела: незаконных арестов и расстрелов, голода, издевательства и лишений. Белая армия одерживала блистательные победы. До поры...

Вступив в мировую войну капитаном, а окончив ее генерал-майором, в Белой армии Беляев карьеры не сделал, хотя многие его бывшие сослуживцы по германской быстро обзавелись новыми званиями и должностями. В чем же дело? Конечно, не в храбрости. Героизма Беляеву было не занимать.

Как-то на Кубани после боя у села Константиновка собрались поужинать офицеры: барон Врангель, генералы Беляев и Соколовский и «зеленая молодежь» — барон Меллер-Закомельский, поручик князь Голицын, корнет князь Оболенский и иже с ними. «Гвоздем ужина, — вспоминал Беляев, — была роскошная кулебяка, которая прямо-таки таяла во рту». Даже допустить невозможно, что такое угощение не сопровождалось обильным возлиянием.

О том, что произошло на следующее утро, рассказал в своих «Записках» Петр Николаевич Врангель: «Мы были разбужены шедшей в селении перестрелкой. По-видимому, предупрежденные кем-нибудь из местных большевиков красные, воспользовавшись выдвинутым положением корпуса, выслали отряд для нападения на наш тыл. Около взвода красных ворвались в деревню, произведя сильный переполох. О сопротивлении думать не приходилось. Будь красные решительнее, они могли захватить нас всех. Однако большевики действовали вяло, обстреливали село, но атаковать нас не решались. К тому же обозы, имея приказание с рассветом переходить в Петровское, были уже запряжены, люди не спали, и паники особой не было. Мы успели кое-как одеться, поседлать лошадей и выскочить из села, однако обоз двух полков и наша летуч-

ка были захвачены противником. Красные захватили было и нашу радиостанцию, но начальник артиллерии генерал Беляев, едва сам успевший выскочить в одной рубахе из дому, собрав вокруг себя несколько десятков артиллеристов и обозных казаков, радиостанцию отбил». А более всего Петр Николаевич Врангель был благодарен Беляеву за спасение своих баронских запонков.

— Какое счастье! — не уставал повторять он. — Ведь запонкам этим почти пятьсот лет!

Все чаще начинал наш храбрый генерал Беляев задумываться о разнице между двумя войнами, в которых ему довелось участвовать, и мысли эти не радовали. Цели в мировой войне были для него ясны, враг определен. Теперешняя война была другая, значит, и воевать нужно было по-другому. Но, к несчастью, понимали это очень немногие.

Еще в Мечетинской Беляев узнал, что в отряде генерала Маркова служит наводчиком орудия Ася — юнкер Александр Владимирович Беляев, сын старшего брата Владимира, оставшегося в Петрограде. «До поздней ночи мы обменивались впечатлениями, — отметил Иван Тимофеевич. — Чистые дети — им было всего по 17 лет — они гнушались грабежами, голодали, чтобы не украсть крестьянской курицы, и потом с огорчением увидели, как война развернула все святое».

«Контрибуция, реквизиция», — вертелось у меня на языке. Нет, это не та политика, в которой нуждается Россия!

Однажды Иван Тимофеевич повстречался с группой молодых офицеров, спешивших куда-то с винтовками в руках. Впереди несся сам генерал Дроздовский в неизменном своем пенсне и фуражке с белым верхом, лихо перезаряжая винтовку на ходу.

— Куда вы?

— На станцию. Там собрали пленных красноармейцев, идем их расстреливать. Надо приучать молодежь.

За ними бежала обезумевшая от горя старушка.

— Сына! — умоляла она. — Отдайте мне сына!

В станции Новотитаровской дочка хозяйки, у которой остановились Беляевы, разговорилась с генералом о пережитом: как натерпелась она, спасая от красных, офицеров и казаков!

— Фома — кладбищенский сторож, — рассказывала девушка, — вы не представляете себе, сколько народу он спас! Как только здесь становилось опасно, я отсылала людей к нему. А ведь у него такая семья большая...

На другое утро Беляев встретил девушку в слезах.

— Убили... Расстреляли... — рыдала она.

— Кого убили?

— Фому... Нашего Фому... За укрывательство! Он прятал раненых большевиков. У него восемь детей осталось!..

Карательные отряды, грабежи, расправы без суда, возвращение озлобленных помещиков в свои гнезда — все это создавало тяжелую атмосферу надвигавшейся катастрофы... Ничто так не развращает, как война, особенно гражданская. На многое приходилось смотреть сквозь пальцы. Когда брались предметы первой необходимости, невозможно было протестовать, но насилия я не мог терпеть.

Напомним, что зверства большевиков и в Гражданскую, и позже превосходили все, что понимал генерал Беляев под словом «насилие». Они задолго до прихода к власти провозгласили своей целью уничтожение целых классов. Сделав ставку на толпу как на «движущую силу истории», они, ничуть не колеблясь, первыми открыли шлюзы самым темным инстинктам, сняли все моральные и правовые ограничители как «классовые» и «устаревшие».

Вот что рассказал генералу Беляеву уже в далеком Парагвае бывший поручик вооруженных сил Юга России Николай Ермаков: «В апреле 1918 года во время отхода Добрармии из местечка под названием Немецкая Колонка под Екатеринодаром я был сбит с лошади разорвавшимся поблизости снарядом и контужен. Меня подобрала сестра милосердия, а местные жители спрятали в погребе одного из домов. Это было моим счастьем, потому что вошедшие в Немецкую Колонку большевики первым делом расстреляли всех раненых, помещенных в доме при кирхе и на пивоваренном заводе. Сестры милосердия были тоже расстреляны».

У некоторых отечественных исторических авторов сегодня можно встретить почти открытое сожаление о том, что белый террор в годы Гражданской войны не был таким целенаправленным, как у большевиков, а осуществлялся, как правило, «в ответ», мол, будь белые чуть менее шепетильны, может, и победа осталась бы за ними...

Ивана Тимофеевича при всем желании трудно заподозрить в каких-либо симпатиях к большевикам, в «жалости» к людям не только, по его мнению, погубившим и унижившим Россию, но и создавшим страну, в которой не было ни одной более или менее интеллигентной семьи, спокойной за свое существование. Семья Беляевых не стала исключением. Сначала расстреляли двоюродного брата — последнего военного министра империи, Михаила Алексеевича Беляева. Тимофей Тимофеевич, самый младший брат Ивана Тимофеевича, «самый мягкий и самый любимый», оставил армию и открыл в Петрограде что-то вроде ресторанчика или столовой. Но в июле 1918 года его, а заодно и всех посетителей его скромного заведения революционные матросики повязали и увезли в район Кронштадта. Стоит ли говорить, что никто оттуда не возвратился. По некоторым сведениям, собрав до 10 тысяч человек, в отместку за убийство в Питере Моисея Урицкого большевики утопили их в баржах.

Старшая сестра Мария Тимофеевна вместе с дочерью Ангелиной и племянницей Елизаветой, дочерью Сергея Тимофеевича, с 1915 года работала в Венденском лазарете женского монастыря, который был эвакуирован из Риги в Новгород. После большевистского переворота они не смогли уехать на юг — нельзя было оставить раненых. В феврале 1918 года религиозная Ангелина, не выдержав творившихся вокруг безобразий, заболела и в том же году скончалась. Мария Тимофеевна, по словам Ивана Тимофеевича, «обожание и кумир всей семьи», спустя четыре года скончалась там же от тифа. А юнкер Александр Владимирович Беляев — Ася, гнушавшийся грабежами и реквизициями, умер в марте 1919 года от сыпняка на руках своего дяди...

Трудно себе представить, что здоровые, умные и имеющие чувство собственного достоинства люди сами набрасывали на шею приготовленные для них петли. И в этом смысле Гражданская война в России стала самой предсказуемой войной XX века. Машине красного террора пришлось не только отстреливать и высылать неудобных власти, но и уничтожать побочный продукт своей же работы в виде заговоров, восстаний, саботажа и диверсий.

В 1998 году в Санкт-Петербурге, в скромной квартире дома на Моховой улице, мне довелось встретиться с Кириллом Владимировичем Таганцевым, пенсионером, ветераном Великой Отечественной войны, троюродным братом Ивана Тимофеевича Беляева. Правда, речь за крепким чаем под сохранившейся «со времен оных» тяжелой люстрой и в окружении старинной мебели шла на этот раз не о Беляевых.

«Заговор Таганцева» — какой серьезный историк не знает о нем? Историки литературы в связи с ним вспоминают одного из известнейших поэтов Серебряного века Николая Степановича Гумилева.

Отец Кирилла Владимировича, в ту пору пятилетнего Кирика, Владимир Николаевич Таганцев был географом, сотрудником Петроградского университета и Российской академии наук. Осенью 1919 года, потрясенный массовыми расстрелами в Петрограде, Владимир Николаевич создал антибольшевистскую организацию, в которую входили люди самых различных убеждений — от монархистов до социалистов, желавшие упразднения всевластия РКП(б), восстановления многопартийности и гражданских прав, передачи крестьянам в частную собственность земли. Членами этого кружка были и поэт Гумилев, и видные представители петербургской научной и художественной элиты, рабочие, служащие, моряки — всего 833 человека. 1 сентября 1921 года 96 из них были расстреляны — сам Таганцев и его жена, художник Акимов и его беременная жена, поэт Гумилев, скульптор Ухтомский, остальные отправлены в концлагеря.

Поражает своим драматизмом дневник отца Владимира Николаевича, Николая Сергеевича Таганцева, профессора права и действительного члена Академии наук, который хлопотал в те дни за сына и сноху, взывая к совести и разуму новых правителей, пытаясь пробудить в них хоть какие-то человеческие чувства, — безуспешно. Николая Сергеевича в свое время студенты прозвали «красным профессором» за сочувствие революционерам (правда, он никогда не считал насилие движущей силой прогресса). Один из известнейших юристов России, он в 1887 году помог Марии Александровне Ульяновой добиться свидания с сыном-народовольцем, а в начале века выступил за отмену смертной казни в стране. Брат жены профессора Таганцева, Александр Александрович Кадьян, хирург по профессии, был сослан за участие в революционном движении в Сибирь. Там ему довелось стать семейным врачом Ульяновых.

Но кто теперь помнил о добром прошлом? Ульянов-Ленин так и не ответил на письмо Николая Сергеевича...

Мы расстались с Кириллом Владимировичем, договорившись встретиться. Он любезно передал мне трогательные открытки, которые Тимофей Тимофеевич, младший Беляев, сгинувший в Кронштадте, посылал с фронта своей кузине, Надежде Николаевне Таганцевой. Встретиться больше не довелось. Через два года Кирилл Владимирович скончался.

* * *

В станции Великокняжеской генерал Беляев получил от генерала Деникина приказ временно взять на себя функции начальника снабжения армии. Иван Тимофеевич рьяно взялся за работу, несмотря на то что ему, боевому генералу и георгиевскому кавалеру, она была явно не по душе. Но он расценил это поручение не столько как происки своего недоброжелателя Деникина, сколько как возможность навести наконец порядок в столь важном для армии деле.

Беляев разработал план создания охранных рот из гимназистов и юнкеров, которые не допускали бы грабежей и разбазаривания армейского имущества, попытался наладить в армии строгий учет и контроль, а самое главное, потребовал от Деникина смягчить контрибуции и постепенно ввести обязательную оплату за реквизируемые у крестьян и казаков продовольствие и скот.

— Вам жалко этих мужиков? — с ехидцей спросил главком. — А ведь в деревнях, когда мы шли с Корниловым, они стреляли по нам из окон!

— Если не жалко населения, — отвечал Беляев, — пожалуйста хотя бы армию. Армия, которая грабит, разлагается...

Ничего ровным счетом из беляевского плана не вышло. Охранные роты очень скоро разлетелись по полкам, а Беляев с облегчением душевным оставил свою «непыльную» работу и принял командование конно-горным артиллерийским дивизионом при 1-й конной дивизии, которой командовал генерал И.Г. Эрдели. Иван Тимофеевич с радостью вернулся к своим старым горным пушкам, с которыми творил чудеса в Карпатах. Но горький привкус непонимания начал перерастать в знакомое предчувствие беды.

Отличный солдат, выдающийся начальник, Деникин обладал слишком узкими взглядами на все происходящее. Сын простого человека, ненавидя все, что пахло наследственной культурой, он не жалел крестьянина и не понимал солдата. Меры, на которых я настаивал, были приняты, но уже тогда, когда было слишком поздно.

Эти слова позволили биографу Деникина Георгию Ипполитову упрекнуть генерала Беляева в «излишнем аристократизме», мол, «аристократ всегда считает, что простой человек презирает наследственную культуру». Нет, этот выпад в отношении «великого отца всех индейцев Парагвая» стерпеть не могу. Значит, нам с Ипполитовым предстоит неизбежная «разборка».

Не будем касаться казней, грабежей и казнокрадства, о которых сам Деникин уже в эмиграции был вынужден написать, что они стали «обычными явлениями» в Белой армии. Наверное, как «простой человек», он считал это в порядке вещей. Но как быть с «возвращением озлобленных помещиков в свои гнезда»? Из-за этого белые постоянно получали «попутные» порции свинца от мужиков. Чем же так милы оказались помещики именитому царскому генералу, который в графе «Социальное происхождение» мог указать: «Из мужиков»? И сам Ипполитов пишет, что пакет законов и нормативных актов, подготовленных на основе «Декларации по аграрному вопросу» в апреле 1919 года, как якобы ни старался Деникин этому противодействовать, «был направлен на защиту интересов крупных землевладельцев».

А вот Петр Николаевич Врангель — аристократ из аристократов, прибалтийский барон в 23-м колене — почему-то любил мужиков. Странно... Приняв у Деникина командование вооруженными силами Юга России в апреле 1920 года, он уже в мае издал «Приказ о земле», где земля отдавалась в собственность всем, «кто мог вкладывать в нее свой труд». Только при Врангеле, и это, кстати, задокументировано, началась последовательная, вплоть до расстрелов своих, борьба с грабежами и показательными казнями красноармейцев, еврейскими погромами, коррупцией и повальным пьянством в стане белых.

Господин Ипполитов пишет: «Большевики, придя к власти, создали сильное централизованное государство — сверхдержаву. Правда, реки крови пролили своих сограждан». Так вот зачем нужно было обелять Деникина — одного из главных виновников поражения белых, и перекладывать всю вину на аристократов! Оказывается, в заслугу большевикам можно поставить «приобщение огромной массы людей к духовным ценностям». Уж не к тем ли, которые, не сумев возместить в их сознании вырванные с кровью вековые ценности наследственной, исторической культуры и морали, привели к позорной, без боя, капитуляции «сверхдержавы» в 1991 году?

Иван Тимофеевич и Антон Иванович сойдутся, и то заочно, лишь в одном: оба выступят за победу русского оружия в Великой Отечественной войне. Родина окажется для них выше личных и классовых различий.

Иван Тимофеевич Беляев высоко ценил генерала Врангеля. Он готов был простить своему кумиру и ту печально известную атаку под Каушеном в начале Первой мировой, в которой ротмистр Врангель лихо уложил пол-эскадрона конногвардейцев. Беляев признавал «моральное значение» той беспрецедентной в истории войн атаки тяжелых всадников на артиллерию, которая, как он писал, «выявила беспредельное превосходство духа над машиной и навеки прославила имя русской кавалерии». Петру Николаевичу — аристократу, «чрезвычайно высокому и стройному, с Георгием в петлице и с Владимиром на шее, с каким-то характерным юношеским выражением решительности на лице» Беляев даже посвятил стихи. В светлую и радостную минуту, должно быть, вышли из-под его пера эти торжественные строки:

И вновь мои мысли далеко несутся,
Как стаи пернатых к восходу с зарей,
И слышу я — струны хвалой раздаются
Тебе — русский витязь с солдатской душой.

Мне в память приходят минувшие беды,
Походы твои, бесконечный твой труд
Для нашей Отчизны, для нашей победы —
А струны мои тебе славу поют.

Пусть тысячу раз пред тобой устилают
К бессмертию путь среди немолчных похвал
И пусть, как всегда, бодрый дух твой витает
Везде впереди нас, лихой генерал!

Эмоции, как правило, построены на вере. Беляев уповал на Врангеля как на единственного человека, способного привести белых к нечаянной победе. С одной стороны, он признавал несо-

мненный политический и полководческий талант Врангеля: «В глубине души я ставлю его выше всех прочих и не только как кавалериста, но и как человека высокого духа и глубокого, разностороннего образования, выказавшего свои таланты во всевозможных случаях жизни», с другой — считал, что если кто-то у белых и был способен творить чудеса, то это генерал Врангель.

Осуждая стратегию Деникина как «построенную на песке» и не имеющую «глубокой государственной основы», Иван Тимофеевич был абсолютно прав. «Московская директива» Деникина, появившаяся 4 июня 1919 года, на пике успеха белых армий, была отвергнута Врангелем на том основании, что главком предлагал действовать в одиночку, только вооруженными силами Юга России. Врангель же предлагал сначала соединиться с армией Колчака в районе Саратова, а затем уже совместно двигаться на Москву. «Московская директива» стала, по мнению историков, одной из главнейших стратегических ошибок белых.

Беляев категорически осуждал разноречивость в действиях белых армий. В то же время он верил, что Врангель, даже действуя в одиночку, мог бы взять Москву «с налету», имея в активе лишь личность и кураж — качества, которых начисто был лишен Деникин.

Есть в советском культовом фильме «Неуловимые мстители» замечательный эпизод: драка в ресторане во время исполнения гимна «Боже, царя храни». Кто-то встал навтыжку, кто-то крикнул здравичу Учредительному собранию, кто-то «ура» — кто-то «долой» и... пошло-поехало. Получилась хорошая пародия на Особое совещание при Деникине, где собрался винегрет из монархистов, социалистов, октябристов и либералов.

Проблема была в том, что ни Корнилов, ни Алексеев, ни Деникин — никто из зачинателей Белого дела так и не рискнул обозначить его конечную цель. Обустройство России откладывалось на потом, на «после победы». Большевики же воевали хоть и за фантастическую, но за цель, которая увлекала массы. Что могли противопоставить этому белые?

Лозунг «Единая и неделимая Россия», провозглашенный Деникиным, не работал в стратегическом плане и обернулся, как известно, серьезным тактическим проигрышем: от белых отвернулись националисты-антикоммунисты. На этом творческая мысль белых генералов иссякла.

Однако провозглашение идеи, цели борьбы, считал Беляев, бывший не только генералом, но и идеалистом в лучшем понимании этого слова, нельзя было откладывать на потом. Если споры по форме правления и государственному устройству могли быть отнесены в будущее, то имущественные, психологические и, самое главное, морально-этические основы новой власти должны были утверждаться ежедневно и ежечасно, в ходе борьбы.

Белые должны были вести войну без реквизиций и контрибуций, грабежей и казней, концлагерей и тюрем — без всего того, что было присуще другой стороне. Тогда это была бы война не со своим народом, а за него, за спасение всех тех, кто не ведал, что творил... Тогда и победа стала бы реальной. А превращение гражданско-конфликтного во «всероссийскую колошматину и человекоубоину» (по образному выражению писателя Р. Гуля) было на руку большевикам.

Видя, как падает в армии моральный дух, как мельчают подчиненные, перенимая дурные примеры начальников, Беляев понимал, что избранные белыми средства только отдалают освобождение России. «Встречают нас по батюшке, а провожают по матушке», — грустно шутили люди, переставшие верить в высокие идеалы борьбы. Красному знамени не к чему было бояться крови — от нее оно становилось только ярче. А в «Лебедином стане» белое знамя, поднятое во имя возрождения России, должно было оставаться незапятнанным до конца. Розовея, оно теряло всякую привлекательность.

Большим поэтам удается в нескольких строчках высказать то, на что ученым мужам подчас не хватает и собрания сочинений. Послушаем Марину Цветаеву:

Белизна — угроза Черноте.
Белый храм грозит гробам и грому.
Бледный праведник грозит Содому
Не мечом — а лилией в щите!
.....
Только агнца убоится — волк,
Только ангелу сдастся крепость.
Торжество — в подвалах и в вертепах!
И взойдет в Столицу — Белый полк!

Врангель отзывался о Беляеве как о человеке «прекрасной души», «храбром и доблестном офицере», хотя и отмечал, что он «далеко не всегда разделял и поддерживал взгляды начальства». Петр Николаевич конечно же помнил эпизод под Константиновкой и то, что был обязан Беляеву жизнью и сохранностью бесценных баронских записок. Однако даже Врангель «недоотягивал» до той почти заоблачной высоты, на которой, не колеблясь и не вибрируя, держалась моральная планка Ивана Беляева.

Честный, порядочный и принципиальный человек не выдаст в беде, не испортит начатого дела, а негодяй, даже пусть и способный, рано или поздно откроет свое истинное лицо и, как змея, покажет свое жало.

Это прозвучало в разговоре Беляева с Врангелем в ответ на упрек, что, мол, в жизни нельзя быть вечным идеалистом и общаться только с порядочными людьми, ведь и среди негодяев есть

талантливые люди, «надо только уметь их использовать». Вскоре после этого разговора на пост инспектора артиллерии 1-й конной дивизии Петр Николаевич вместо генерала Беляева назначил генерала Макеева.

Ну что же. Жизнь есть жизнь. Вот и мы, считая себя реалистами, упорно не замечаем жизненности и сугубой практичности беляевского идеализма. Мысль его — плод долгих размышлений и тяжелого опыта. Когда в боях мировой войны были выбиты лучшие, посредственности не смогли удержать страну от скатывания в бездну, а «способные» политические проходимцы лишь ускорили этот процесс. В Гражданскую прагматики типа Май-Маевского, Дроздовского, Шкуро — люди, не лишённые полководческих и организаторских талантов и добивавшиеся иногда просто поразительных, но в целом краткосрочных побед, стали причиной гибели Белого дела. Напомним, оно начиналось не как практическое предприятие, а как поход за моральное воскрешение России. Но духовное оказалось вскоре отодвинутым на второй план ради достижения конкретных, сиюминутных успехов. Именно поэтому Беляев напишет впоследствии, что не только бросок на Москву, но и «вся наша война была возможна только с налету», поскольку «глубокой государственной основы она не имела и при затыжке была обречена на крах».

Нет ничего удивительного в том, что не умеющий ладить с начальством, самостоятельно мыслящий и беспокойный генерал так нерезво продвигался по служебной лестнице.

Начало 1919 года совпало с приездом в Екатеринодар среднего Беляева, Михаила, которому вместе с женой Натальей Николаевной, сыном Сергеем и дочерью Еленой удалось вырваться из Петрограда. Встреча была радостной, хотя Иван Тимофеевич отметил в брате повышенную раздражительность и усталость. Еще раньше по приглашению Ивана Тимофеевича в Екатеринодар приехала жена Сергея Тимофеевича, Елизавета Николаевна, с сыном Алексеем. Часть большой беляевской семьи впервые после событий 1917 года соединилась на Юге России. Генерал Беляев сумел даже в сложнейших условиях Гражданской войны, когда города были переполнены беженцами, позаботиться о родственниках.

Вот что писал о встрече братьев в Екатеринодаре Сергей Михайлович Беляев: «Вскоре папа вернулся вместе с дядей Ваней, который был в белой высокой папахе. Дядя Ваня всегда увлекался Кавказом и вообще экзотикой, у него были приятели-черкесы; его даже избрали «почетным стариком» аула Тахтамукай. Он тогда командовал 1-м конно-горным дивизионом, составлявшим артиллерию 1-й конной дивизии, которой командовал Врангель. Было очень удачно, что он в это время был по делам в Екатеринодаре: он нас сразу временно устроил недалеко от дома, где имела

комнату тетя Аля, которую мы не видели, кажется, с пятнадцатого года. Мы попали в семью оружейного мастера по фамилии Фейт, хозяйка, тоже, видимо, из немок, стала нас кормить борщом и прочими прелестями чревоугодия... К тому же это были как бы медовые месяцы Добровольческой армии, большинство населения их встречало как освободителей — довольно передрыг, всем хотелось мира и покоя... И нам тут было хорошо во всех отношениях». Вскоре Иван Тимофеевич устроил Михаила в свой дивизион, в так называемый резерв чинов, с небольшим окладом. Семья получила отдельную комнату.

Фактическая отставка с обещанием генерала Врангеля при благоприятной конъюнктуре обязательно устроить Беляева на новую должность отразилась на его здоровье. Оказавшись временно не у дел, Иван Тимофеевич заболел тифом. В больницу в Екатеринодар его за неимением свободного от мобилизации гужевого транспорта пришлось везти на катафалке. Мрачную символику усиливали бредущие по бокам катафалка безутешные родственники — жена Аля и брат Михаил со всеми своими домочадцами. Временами «покойник» приходил в себя и на чем свет стоит ругал возницу...

В больнице я часто впадал в беспамятство. Через меня проходили эвакуируемые войска — пехота, кавалерия, артиллерия, даже санитарная часть. Все оставляли грязные следы на моей кровати. Войска — ну, понимаю. Но даже сестры милосердия! Это было невыносимо. Потом меня за что-то ругали, клали на чистое белье, и...эвакуация начиналась снова.

Спасла Беляева верная Аля. Она обегала весь Екатеринодар в поисках нужного лекарства, а когда Иван Тимофеевич начал выздоравливать, потратила почти все остававшиеся у нее деньги на покупку мандаринов, которые доставляли прямо из Турции, а стоили они двадцать рублей за дюжину.

Но вот судьба переменилась. Летом 1919 года Беляев был назначен инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса генерала Кутепова. Александр Павлович Кутепов, один из наиболее одаренных деятелей Белого движения, не стеснял, по словам Беляева, его инициативы в ведении боевых действий и относился к нему «с доверием, которое возрастало с каждым днем». При Кутепове Беляев получил полную свободу действий в управлении артиллерийским хозяйством корпуса. Мало того, новый командующий обеспечил Беляева штабным вагончиком, из которого можно было поддерживать связь с войсками.

Однако комфорт, столь необходимый для выздоравливающего, не смог укротить его боевой дух. Беляев неоднократно сам ходил в

атаку, увлекая за собой колеблющихся, заражая энтузиазмом отстающих. Для энтузиазма появились некоторые основания.

В Харьков корпус вошел порядочно потрепанным после упорных боев. Общее количество штыков было ничтожно. В батареях оставались одно-два орудия, прочие пришли в негодность. Пулеметов почти не было. Заняв город и выдвинувшись на его окраину, мы едва держались. Но значение этого успеха было колоссально. Мы захватили главный индустриальный центр этого края. Харьков являлся первым коренным русским городом, здесь находился паровозостроительный завод — первый в России. Население не встретило нас взрывом восторга, оно было слишком подавлено красным террором. Но интеллигентные слои были прекрасно сориентированы и горели чувством русского патриотизма. Отсюда можно было дать начало новой России.

Кутепов поручил Беляеву наладить работу на паровозостроительном заводе. Иван Тимофеевич вспоминал эти дни как самые счастливые за всю Гражданскую войну. К октябрю 1919 года были взяты Киев, Курск и Орел, пал Воронеж, белые приближались к Туле. Казалось, вот он — прямой путь на Москву. В июле части Кавказской армии Врангеля, перешедшие на левый берег Волги, вошли в контакт с левым флангом армии адмирала Колчака.

Формально признав главенство Колчака как Верховного правителя России, Деникин, главнокомандующий вооруженных сил Юга России, не спешил установить с ним оперативное взаимодействие и вместо того, чтобы продвигаться за Волгу на соединение с войсками Колчака, как настаивал Врангель и некоторые другие генералы, решил самостоятельно ударить на Москву. Антон Иванович, вероятно, хотел присвоить себе всю славу долгожданной победы, которая со времени издания «Московской директивы» начала приобретать все более виртуальный характер.

Иван Тимофеевич жил с женой в лучшем номере первоклассного харьковского отеля. Работа на заводе спорилась. Было решено наладить ремонт и строительство бронепоездов. Изголодавшиеся по делу после многомесячной безработицы, пролетарии отнеслись к этой затее с энтузиазмом. Они исправляли бронепоезда и бронеплощадки, чинили пушки и ружья, работая на Добрармию по мере сил. Конечно, позже их назовут «неправильными» рабочими, донельзя развращенными буржуазным бытом. Вообще-то, весь Юг России, в основном стоявший за белых, был какой-то «неправильный», отсталый, что ли. Странной была эта «отсталость»: по дореволюционной статистике, заработная плата рабочих, занятых на предприятиях Юга России, в 1913 году почти сравнялась с заработной платой американских рабочих.

Беляевские бронепоезда не раз спасали положение белых на Южном фронте, успешно действуя против красной конницы. Иван Тимофеевич так преуспел в своем деле, что чуть было опять не вызвал на себя «праведный» гнев главкома. Городское самоуправление Харькова, избранное при белых, пожертвовало деньги для строительства дополнительно двух бронепоездов, присвоив им имена «Город Харьков» и «Генерал Беляев».

Несмотря на поздний час, я схватил автомобиль и полетел в управу.

— Что вы сделали? Ведь я теперь стану мишенью со стороны начальства. Ведь сам Деникин до сих пор не достаивался ничего подобного!

В управе пораскинули мозгами и решили: погорячились. Позднее Кутепов придумал для готового бронепоезда новое название — «На Москву!».

Вскоре Беляев вновь оказался не у дел, подтвердив известную в нашей стране истину: инициатива наказуема. Он выступил с идеей воссоздания в Харькове из разрозненных офицерских кадров 31-й пехотной дивизии, стоявшей в городе до войны, и выказал готовность взять на себя командование ею. Командир корпуса генерал Кутепов поддержал Беляева. На банкете в честь полномочного представителя Великобритании при вооруженных силах Юга России генерала Хольмана командующий Добрармией генерал Май-Маевский поднял бокал за успехи генерала Беляева и поздравил его с должностью комдива. Ходатайство о своем назначении Иван Тимофеевич лично повез в Таганрог, в ставку Деникина. Каково же было его удивление, когда по прибытии он узнал, что на это место уже назначен генерал Болховитинов.

Я вернулся с тяжелым сердцем. Обидно было за Россию, обидно было за идею, которая могла бы спасти наше дело. Но лично для меня это было во благо. Кто был близок к делу, понимал, что сформировать свежую боевую единицу с традициями, идущими вразрез с установленным порядком, было делом рискованным. На худой конец, ее старались бы пустить в ход там, где катастрофа была неизбежна. Начальником же артиллерии я фактически не нес никакой ответственности и рисковал собой лишь в случае гибели общего дела. А мнение об этом я составил еще в Таганроге.

Город был забит невероятно разросшимися тыловыми учреждениями. Каждый был занят только собой и нисколько не заботился об общем успехе. Но еще грознее было другое явление. Весь тыл был охвачен враждебным нам крестьянским движением.

Система, внедренная Деникиным, «каждый за себя, и будь что будет» начала давать плоды. Большевикам удалось ликвидировать Северо-Западный фронт, снять угрозу Петрограду и отбиться на

востоке от Колчака, в то время как армии Деникина все сильнее погрязали в борьбе с крестьянскими восстаниями и националистической оппозицией. В тылу восстал Махно. Разномастная свора более мелких батек, атаманов и атаманш, всяких там ангелов и марусь, упиваясь возможностью безнаказанно убивать и грабить, лихо гоняла на тачанках по немереному пространству, прикрыть которое у белых просто не хватало сил и средств. Господь Бог, наверное, с ужасом взирал на эту кровавую вакханалию — плод невежества и глупости человека, не пожелавшего стать его образом и подобием.

Но ни потеря надежд на стратегическое взаимодействие с Колчаком и Юденичем, ни окончательно испорченные отношения с антикоммунистическими лидерами Украины, Дона, Кубани и Кавказа, казалось, не беспокоили главкома. Антон Иванович как будто ждал, когда красные, извлекая опыт из поражений и кровавыми методами восстановившие дисциплину в своих войсках, обратятся на него всей своей массой.

Однажды в дверях у Кутепова я наткнулся на председателя городской комиссии по сбору пожертвований.

— Вчера в газетах прочитал, что на банкете в честь генерала Шкуро вы поднесли ему пять миллионов.

— Не пять, а пятнадцать.

— Боже мой, вы бросили их в помойную яму!

— Как так? На нужды армии...

— А вы думаете, что он думает о нуждах армии? Он пропьет их, а на остальное построит себе домов. Харьков ведь взял не Шкуро, а скромный и молчаливый Кутепов. Он честный человек и не позволит себе взять чужого...

Я попал в самую точку. Шкуро приобрел себе в Харькове несколько доходных домов.

29 ноября войска оставили Харьков. Начиналась вполне закономерная, предвиденная Беляевым агония Белого дела. Кутепов лично расплатился с главным инженером паровозостроительного завода, выдав задержанную за три месяца зарплату рабочим, — казначейство к тому времени было уже эвакуировано. Части его корпуса покрыли себя славой при отступлении, тогда как значительное число шукуринцев выказало себя отъявленными трусами. Накануне они решительно опустошили все запасы спиртного в городе. Сам Шкуро в это время был в «отпуске». Врангель срочно отбил телеграмму Деникину с просьбой отчислить Шкуро из армии и примерно наказать как «вконец развратившего войска». Телеграмма осталась без ответа. Через несколько дней генерал Шкуро был назначен Деникиным командующим Кубанской армией.

Генералы Врангель и Кутепов пытались жесткими мерами, вплоть до виселиц и расстрелов, навести порядок во вверенных

им войсках. Но что можно было сделать, когда безобразия участливо покрывались на самом верху?

Зимой 1919 года Врангель оставил должность командующего Добрармией, а в январе 20-го до него довели «пожелание» Деникина в том смысле, что он, мол, не возражает, если Врангель покинет пределы России. Но уже в марте 1920 года Петр Николаевич возвращается из Константинополя в Крым. Деникин слагает с себя командование армией. Его стратегия потерпела полный провал, поскольку таковой, по-видимому, никогда и не являлась.

Что же Беляев? Отступлением из Харькова заканчиваются его записки, посвященные Гражданской войне. Мы не знаем, что было с ним во время долгого, мучительного отхода с частями Белой армии, как и где потерял он свою верную Алю — встретятся они уже только за границей. Но имя Ивана Тимофеевича Беляева мы встречаем в «Записках» барона Врангеля, посвященных последнему, крымскому, периоду борьбы.

Врангель, получивший наконец всю полноту власти, попытался приподнять тяжелый занавес, который, казалось, окончательно закрыл сцену российской истории. И это ему почти удалось. Если бы не недоверие к Белому делу, укрепившееся в народе, может быть, с помощью «Приказа о земле» от 25 мая и «Приказа о высшей комиссии правительственного надзора» от 25 сентября 1920 года он смог, хотя бы отчасти, предвосхитить сюжет аксеновского романа «Остров Крым»? Считаю необходимым процитировать несколько абзацев «Приказа о высшей комиссии правительственного надзора».

«...Основательные жалобы на нарушение законов и прямых моих распоряжений не всегда доходят по назначению и не получают справедливого разрешения. В населении нет уверенности, что голос обиженного будет услышан, и оно нередко не знает, к кому обратиться за восстановлением своих попранных прав и надежным ограждением от чинимых обид. Для устранения этих непорядков приказываю:

Учредить высшую комиссию правительственного надзора на следующих основаниях:

1. Высшая комиссия правительственного надзора образуется из ревизующих сенаторов, председателя главного военного и военно-морского суда и особого постоянного члена комиссии.

2. К ведению комиссии относятся: а) принятие жалоб, заявлений и сообщений о злоупотреблениях, имеющих общегосударственное значение, а равно вообще о всех особо важных преступных деяниях по службе государственной или общественной и серьезных непорядах в отдельных отраслях управления и б) рассмотрение всех передаваемых мною в комиссию, принесенных на мое имя прошений...

Генерал Врангель».

В состав комиссии, которой было предоставлено право вести расследования и подавать «на самый верх» свои заключения и предложения, вошли люди с незапятнанной репутацией, способные служить примером честности и справедливости для других. Среди восьми назначенных Врангелем членов комиссии был и Иван Тимофеевич Беляев.

Но поздно. Поздно! Зачастую понимание подлинного смысла событий приходит к нам только тогда, когда бывает уже невозможно что-то исправить. Последние штандарты императорской России утопили в Сиваше — гнилом море. Символика этого события осознана еще не до конца. Грязь и гниль погубили Россию: расплотившееся безверие, тупость и материализм верхов, невежество и зависть низов, прислужничество интеллигенции, месть, ложь, насилие, коррупция и кровь... Очищение — скоро ли?

Приблизилось то последнее событие, которое будут вспоминать до конца дней своих сотни тысяч русских, покинувших родину, — последнее «прощай» родимому берегу, России. У многих, кому удалось вырваться из осажденных портов Кубани и Крыма, на тех пристанях закончилась жизнь и началась борьба за выживание.

Беляеву повезло. В огне и дыму событий он, наверное, почувствовал, как откуда-то с гор вдруг подуло свежим ветром памперо, как прошуршали над головой — нет, не снаряды полевых трехдюймовок — веретенообразные туканы, рассекающие воздух своими гигантскими клювами, как багряным отсветом красной канонады занялась на востоке его первая парагвайская заря. Заканчивалась история генерала Беляева, начиналась одиссея Великого Вождя в клане Тигров. Начиналась новая жизнь, открывалось новое счастье.

Ну вот и последняя картина. Она всплывала перед глазами генерала всякий раз, когда уже эта, новая жизнь готова была оборваться под пальмами в Чако или под пулями в Бокероне.

...Уже совсем близко слышались разрывы снарядов и стрекотание пулеметов. Судов не хватало, и все они отходили, забитые доверху. В некоторых из них были только женщины и дети. Крики разлучившихся друг с другом людей разрывали душу. Дети звали отцов, жены — мужей. Остававшиеся на пристани сквозь мутную пелену слез бросали последний взгляд на родных и близких, с которыми им вряд ли когда будет суждено увидеться вновь.

Большинство из них собирались вернуться на передовую, пролежшую уже совсем рядом, чтобы, сражаясь до последнего, оттянуть время и дать кораблям покинуть гавань.

Вдруг на пристани появились два всадника на прекрасных конях. Это были отец и сын, владельцы орловского конезавода. Они хотели

уехать за границу и спасти двух последних оставшихся производителей этой знаменитой породы. Но красные приближались, и отец уговорил сына прыгнуть первым на уже отходивший пароход, пообещав, что сам он с двумя жеребцами отправится вскоре на другом. Но другой возможности уже не представилось. Наш пароход оказался последним. Старик мог бы еще спастись, но ему не хотелось бросать коней. Тогда он вытащил револьвер и застрелил молодого жеребца. Потом, обняв голову другого, застрелил и его. Потом и сам, опустившись на колени перед трупами любимых коней, пустил себе пулю в рот.

Сын его, который все это время стоял рядом со мной, плакал... Он еще долго смотрел на удалявшийся берег, будучи не в силах сдвинуться с места...

Итак, мы перевернули последнюю страницу жизни Ивана Беляева в России. Заканчивать на грустном, однако, не хочется. Впереди его ждали большие труды и немало разных приключений.





Глава третья

ЗАГАДОЧНАЯ ПИТИАНТУТА

Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял твою.

Николай Гумилев

Не рано ли мы приготовились увидеть нашего героя в пробковом шлеме, со стеклом в руке, в вожделенном им с детства бананово-лимонном раю? До свидания с туканами было еще далеко. Ему предстояло испить горькую чашу эмигранта и до упора вытянуть цепь горестей и унижений, на самом конце которой был подвешен заветный приз.

...Медленно ползет по Черному морю старая посуда «Бюргермейстер Шредер». Долгое время она перевозила скот, а сейчас под завязку набита людьми. Медленно приходит к людям осознание потери Родины, родных и близких, старых связей, привычек и привязанностей. Неведомое, поджидающее их на турецком берегу, грозит навалиться темной массой, придавить, растоптать. Есть те, кто не выдерживает психологического напряжения, стреляется или прыгает за борт...

В чрезвычайных обстоятельствах, когда разом перечеркивается прошедшее, исчезает все накопленное человеком ранее и он в одночасье становится никем, неизмеримо трудно бывает возродиться для новой жизни. Слабые опускают руки и уходят. Сильные ищут опоры в окружении, хватаются за соломинку, веря в то, что рано или поздно им удастся нащупать под ногами твердую почву.

Для Ивана Тимофеевича такой соломинкой стала любовь. Критический возраст — ему как раз стукнуло 45 — наложился на критические обстоятельства, и ржавый пароход, ползущий в неизведанное, стал для него обителью светлой печали.

Во время очередной парагвайской революции, в 1946 году, когда опальный — вновь опальный! — генерал теперь уже парагвайской армии вынужден был сидеть дома, он сочинил под треск винтовок и пулеметов длинную поэму «Лебединая песнь» в стиле пушкинского «Онегина». Она была посвящена некоей Нелли Л. Поэма эта, дошедшая до нас из далекой Южной Америки, была крайне целомудренной, как целомудренны были и отношения генерала с восемнадцатилетней девушкой. Беляев был романтик. Да и сама мысль об измене Але, о судьбе которой он тогда толком

ничего не знал («брожу в погоне за женой, с которой разлучен судьбой»), была отвратительна Беляеву. Но генерал был преисполнен решимости защитить Нелли, дочь раненого офицера-артиллера, от грязных притязаний капитана парохода. Для этого ему пришлось провести несколько ночей под кроватью в каюте Нелли, а днем скрывать ее от глаз любвеобильного судоводителя под широкой кавказской буркой. Должно быть, в такие моменты генералу приходилось нелегко. И он не уставал повторять:

Но и в любви пределы есть —
Они зовутся долг и честь.
Поверьте старому рубака —
Любви ищите только в браке.

Роман, если отношения Беляева и Нелли можно так назвать, продолжился на острове Лемнос, где русским их бывшие союзники устроили что-то вроде трудового воспитания. Мужчинам, без различия возраста и звания, пришлось с утра до вечера ворочать камни для обустройства лагеря. Женщины и раненые еще какое-то время оставались на пароходе. Недостойный капитан немедленно воспользовался случаем и удвоил свою кипучую энергию. Узнав об этом из письма Нелли, Беляев, рискуя жизнью, бежал с острова, чтобы срочно эвакуировать девушку с парохода на баркасе.

Справляться с любовным недугом помогал Беляеву тяжелый физический труд, а может, и уверенность в том, что он не имеет никакого морального права вмешиваться в жизнь юного и прекрасного создания, нарушать его душевный покой.

Все закончилось, с нашей сегодняшней точки зрения, ничем. Для Беляева Нелли навек осталась «бессмертной мечтой», а та в письме, отправленном генералу через много-много лет, призналась, что видела в нем «своего героя, рыцаря, паладина». Вот и все.

После Лемноса был лагерь в Галлиполи, потом Константинополь. О быте россиян, пытавшихся наладить свое существование в этом городе, читатель может судить по пьесе Булгакова «Бег» и одноименному фильму. Согласно описаниям исторических свидетелей все сходится буквально до мелочей. Единственное, чего не хватает в этих произведениях, так это более рельефного отображения той черной неблагодарности, которую демонстрировали по отношению к русским оккупационные войска — французы и англичане, обращаясь с русскими как с побежденными врагами. Сколько же раз, наверное, проклинали люди, потерявшие все, тот несчастный момент, когда их Родина вступила в союз с европейскими демократиями!

Беляев обивал пороги посольств разных стран и самых различных благотворительных учреждений, пытаясь разыскать следы

Али. В водовороте судеб людей, разлетевшихся по Европе, Азии и даже Африке, сделать это было нелегко. Иногда охватывало отчаяние, и генерал, ранее не замеченный в разгульной жизни, позволял себе расслабиться. Трудно осуждать его за это. Ведь тот из русских, кто не пил тогда в эмигрантском Константинополе, наверное, и не выжил. Соблюсти должную меру Беляеву помогала врожденная самоирония и умение взглянуть на себя со стороны.

Среди бумаг Ивана Тимофеевича было обнаружено одно весьма любопытное стихотворение, которое называется «Бесчеловечная пирушка».

Гости ели, гости пили
Вплоть до положенья риз,
Напоследок рассудили,
Что пора спускаться вниз.

Всех спровадил доктор милый,
Лег в постель совсем разбит.
Вдруг хозяйка объявила,
Что в уборной кто-то спит...

Читатель, конечно же, догадался, о ком идет речь. Умением пить наш герой, по-видимому, никогда не отличался. Зато, судя по более раннему эпизоду под Константиновкой, ему была свойственна способность одновременно собраться и рвануть прямо в бой, ибо далее:

Надо все-таки решиться,
Узел гордиев порвать.

Стал бедняк на четвереньки,
Головою покрутил,
И сто двадцать две ступеньки
В три секунды прокатил.

И с тех пор, что стало с бедным,
Более никто не знал.
Только факт: пропал бесследно
Подгулявший генерал.

Долго думали-гадали,
Что могло случиться с ним,
И решили: генерала
Взяли черти в ад живым.

А в самом конце рукой Беляева приписано: «По последним сведениям, очутился в Парагвае». Приписка окончательно отменяет всякие сомнения по поводу персонификации героя этой замечательной баллады и дает ключ к восстановлению последующего хода событий.

Очевидно, мысль эмигрировать в Парагвай пришла Беляеву именно в Константинополе, под влиянием той жизни (эх, пропадай моя телега!), которую вели эмигранты и которая могла затянуть и его самого, если бы не возникло новой большой идеи. Что это была за идея — пока умолчим. Скажем только, что она была продиктована характером Беляева и его бесценным опытом двух войн.

«Бесчеловечная пирушка», скорее всего, стала рубежным моментом, который подвел окончательный итог временному периоду разброда и шатаний беляевского духа. Сразу после пирушки Иван Тимофеевич совершенно выпал из застольного круга общения и больше не предпринимал никаких попыток осесть в Турции или Болгарии. Однако в Европе он провел еще некоторое время, пока не отправился из Роттердама в 1923 году в Южную Америку. Не использовал он и возможность переезда на жительство к братьям, Николаю и Михаилу, которые к тому времени обосновались со своими семьями: один — во Франции, другой — в Югославии, в городе Зайчар.

Поиски Али заняли у Беляева два года. Он буквально по крупицам собирал сведения о ней и нашел в Египте, в Александрии. Слава Богу, Аля была жива и здорова. А дальше началась работа над планом.

* * *

Чтобы продолжить повествование, автору необходима передышка и квалифицированная помощь. Очень непростая задача — осмыслить и изложить основную беляевскую идею — потребует напряжения всех его интеллектуальных сил.

...За окном тропическая ночь. Зажигаются редкие фонари. Со всем близко, на проспекте Карлоса Антонио Лопеса, бурлит ночная жизнь, а здесь необычная тишина и лишь весомо звучит размеренная речь хозяина квартиры. Сахония — типичный спальный район парагвайской столицы, удивительно похож на другой такой же в любом уголке мира. Квартира явно не элитная. Это довольно странно, если учесть, что ее хозяин — полковник в отставке парагвайской армии, бывший шеф внешней разведки Парагвая и друг когда-то всесильного диктатора Альфредо Стресснера, который правил этой страной целых 35 лет.

Пришла пора представить важного исторического свидетеля, с которым будет тесно переплетена вся дальнейшая жизнь нашего героя. Александр Георгиевич фон Экштейн-Дмитриев — человек, имя которого и по сей день связано с одной довольно-таки мрачной тайной.

На дворе август 1994 года. Нашему уважаемому собеседнику без малого девяносто, но он бодр и, несмотря на почтенный возраст, всю любезничает с присутствующими дамами (со мной пришли моя жена и дочь) и подшучивает над парагвайским полковником Виктором Георгиевичем Бутлеровым, не знающим русского языка. Александр Георгиевич кроме родного русского и почти родного немецкого знает испанский, португальский, французский, языки гуарани и макка. На книжной полке над диваном — гордость хозяина: собрание альбомов с фотографиями любимых женщин, а над комодом баронский герб фон Экштейнов. Александр Георгиевич рассказчик прекрасный, с памятью у него все в порядке, и время, кажется, остановилось в этой небольшой, но довольно уютной квартире.

— Мои предки по отцу — немцы, тевтонские рыцари. Наша родословная начинается примерно с 1200 года. Отец мой был инженер-кораблестроитель, хорошо знал адмирала Макарова, строил вместе с ним легендарный «Ермак» и участвовал на нем в трех полярных экспедициях. Моя мать русская — Олимпиада Дмитриева. Она была столбовая дворянка. В 1905 году отца перевели из Ревеля в Керчь на строительство Керченского порта, где, собственно, я и родился.

В 1912 году мы вернулись на север. Жили в Ревеле, Кронштадте и Санкт-Петербурге, на Садовой улице. В Кронштадте я поступил в кадетское училище. В том же году я впервые увидел императора. Это было во время торжественного спуска на воду линкоров «Гангут» и «Севастополь».

В 1918 году в Гельсингфорсе отца расстреляли большевики, и я в 14 лет надел военную форму. Был кадетом в знаменитом Конно-егерском полку, у Юденича. Если бы не предательство англичан — не поддержали наше наступление с моря — и эстонцев — в оплату за обещание большевиками независимости оголили тылы и фланги нашей армии, — мы обязательно взяли бы Петроград. Стояли-то ведь уже в Царском Селе...

В памяти от тех дней — взорванный мост под Псковом, зарево пожаров, антоновские яблоки на день рождения, 31 августа, перитонит и госпиталь в Нарве. Потом зима, тридцатиградусные морозы и эвакуация в Эстонию, где все мы сразу же стали «нежелательными иностранцами». Там я подхватил тиф, но меня выходила мать, в то время как уцелевшие от обморожения солдаты и офицеры, собранные эстонцами в концлагерях и лишенные всякого ухода, сотнями умирали от этой болезни.

Вот так я выжил и в конце концов оказался здесь. Но это уже другая история. Мои братья, Георгий и Анатолий, и сестра, Ирина фон Экштейн — она была знаменитой красавицей и довольно известной балериной, объездила с гастрольями весь свет, — оста-

вались в Таллине. Но и им суждено было в итоге очутиться в наших теплых краях. После оккупации Эстонии в 1941 году всех балтийских немцев Гитлер автоматически сделал «арийцами». Мой старший брат, Георгий, воевал в танковых войсках вермахта. Другой брат, Анатолий, тоже повоевав немного, стал работать в бюро пропаганды на оккупированные восточные территории...

Не по-стариковски яркие голубые глаза Александра Георгиевича сверкнули вдруг гневом.

— А Гитлер был большая сволочь. Он обманул и их, и очень многих других, кто хотел воевать не против России, а против коммунистов. Вот и пришлось мне потом хлопотать о парагвайских визах, чтобы выручить своих родных. Георгий — я его недолюбливал, он был, по-моему, слишком немец — умер здесь, в Асунсьоне. Анатолий с мамой перебрались в Аргентину. Представляете, мама, благополучно пережившая все бомбежки Берлина, угодила в Буэнос-Айресе под машину. Вот ведь судьба!

У меня был еще один брат, Иван, но он остался в Советской России. Пошел по пути отца, стал полярником, служил радистом на ледоколе «Красин» и участвовал в спасении экспедиции Нобиле. Помните эту историю? Что с ним было дальше, не знаю.

Александр Георгиевич отвлекается на телефонный звонок, потом продолжает:

— Я хотел учиться, а в Праге для русских офицеров президент Бенеш выделил много стипендий. Я поехал туда, проучился два года в Пражском университете, но потом меня отчислили. Из-за спорта. Вообще, считаю, в мире нет ничего лучше спорта. Благодаря спорту я и дожил до таких лет. Я ведь был не только кавалерист — играл в поло, футбол и хоккей, ходил на лыжах, занимался легкой атлетикой, гонял на мотоциклах...

В разговор вмешивается Виктор Бутлеров:

— Дон Алехандро представлял Парагвай на первом южноамериканском чемпионате по мотоциклетному спорту в 1954 году...

— Да, но больше всего я занимался плаванием. В Парагвае я некоторое время работал инструктором по плаванию, потом освоил водные лыжи. Вот из-за этих самых водных лыж и завязалась наша дружба с президентом Стресснером.

Но не будем забегать вперед. Еще в Праге мой друг, князь Волконский, сказал мне, что генерал Беляев приглашает русских в Парагвай. «Парагвай, — подумал я, — где это?» И вот, живя уже в Париже, я узнал, что в Монтевидео, в Уругвае, состоится первый чемпионат мира по футболу. Помните? Тогда победили уругвайцы. Я решил обязательно поехать туда, посмотреть футбол, а заодно, поскольку близко, и навестить генерала Беляева в Парагвае.



Поручик Иван Тимофеевич Беляев

Санкт-Петербург. Начало XX века



Нагрудный знак
Михайловского
артиллерийского училища

*Прости, Полярная звезда,
В стране чужой и неизвестной
Игры лучей твоих прелестной
Я не увижу никогда.*





Тимофей Михайлович
Беляев со старшими
братьями



Семья Эллиотов-Бе-
ляевых

Генерал Тимофей Михайлович Беляев — комендант Кронштадтской крепости



Генерал Тимофей Михайлович Беляев — комендант Кронштадтской крепости

Александра Александровна Беляева





Мария Тимофеевна Беляева-Блок
с дочерью Анжелиной

Бои 1914 года



Генерал Александр Павлович Кутепов



Русская артиллерия на боевой позиции. 1914 год





Михаил Алексеевич Беляев — последний военный министр России

Юнкера в Зимнем дворце. Октябрь 1917 года





Исход. Фрагмент картины Дмитрия Белюкина



Генерал-майор парагвайской армии Хуан Т. Белайефф

*Мне хорошо лишь там,
Где пальмы гордо веют,
В краю волшебной красоты.
Где гребни гор вдали синеют,
Где круглый год цветут сады...*

Здание вокзала в столице Парагвая Асунсьоне — по архитектуре напоминает Царскосельский вокзал



Памятник основателю Асунсьона Хуану де Саласар-и-Эспиносе



Карта Парагвая



Артиллерийское вооружение парагвайской армии

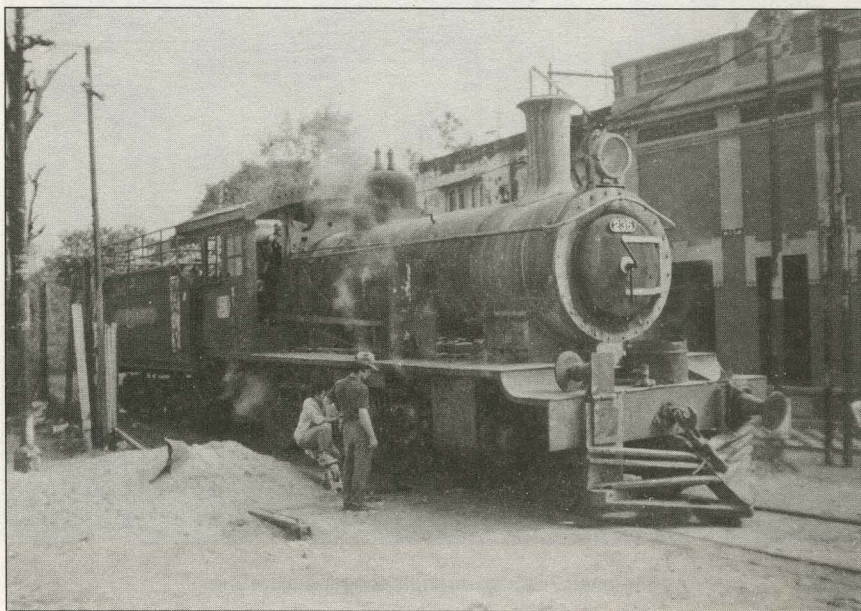
Саванна в Чако

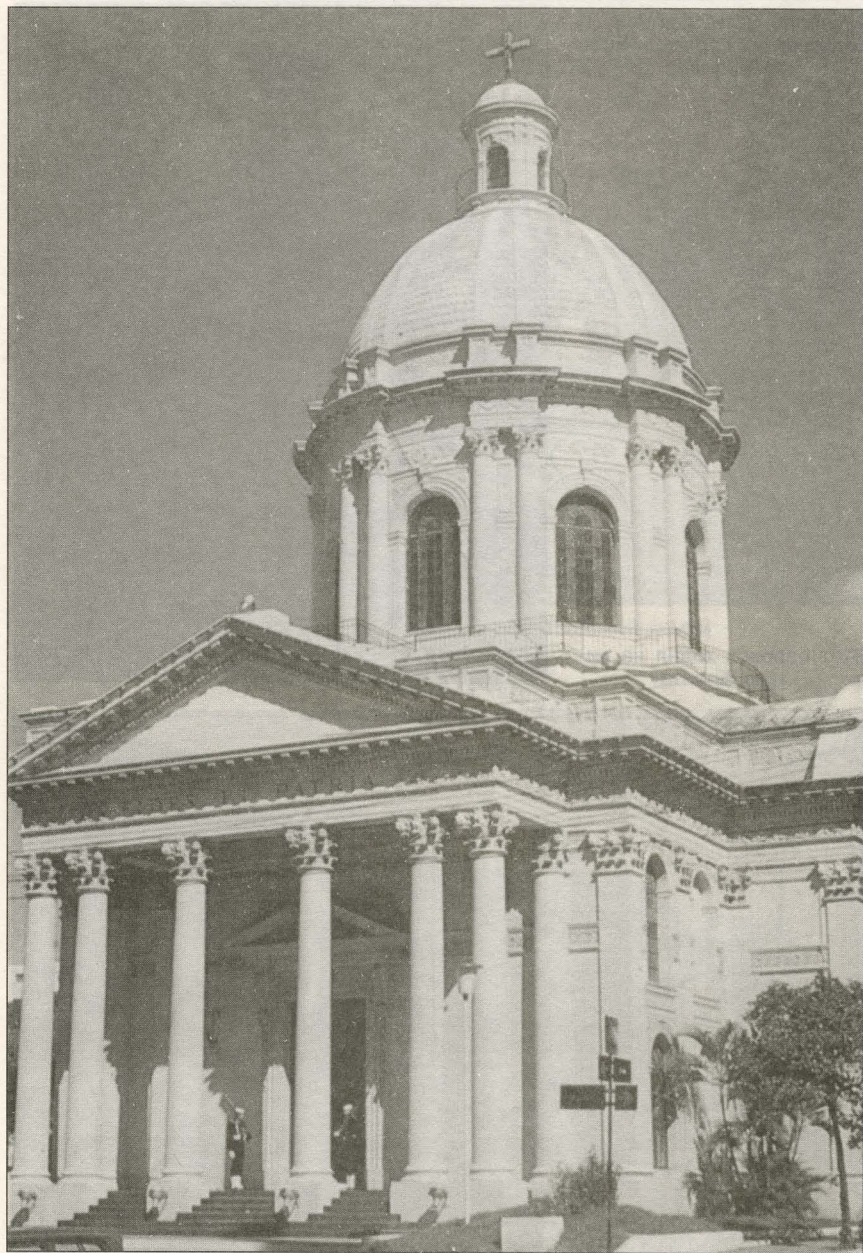


Генерал Эстигаррибия и
полковник Карлос Хосе
Фернандес



Этот паровоз ходил на ли-
нию фронта

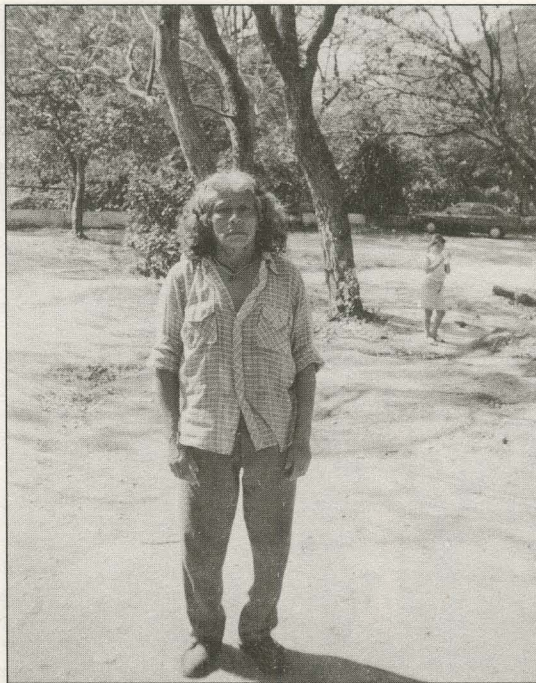




Национальный Пантеон Героев в Асунсьоне



Иван Тимофеевич Беляев — вождь Твердая Рука



Этот индеец воспитывался у
Беляевых

На этом перекрестке стоял
дом генерала Беляева



Русская православная
церковь Покрова Пре-
святой Богородицы
в Асунсьоне



Индейцы племени чи-
макоко хоронят генера-
ла Беляева



*Дорога — жизнь. И чем она прямее,
Тем ближе мы к предвечному Творцу,
Тем достигаем все вернее
И приближаемся к заветному венцу.*



Памятник на могиле генерала Беляева в Чако. Высоко поднят, чтобы не уходил в воды разливающейся реки Парагвай

И вот приехал в Парагвай на две недели, а остался на шестьдесят четыре года! А сколько приключений было — всего не перескажешь! Но всегда помогал спорт. Спорт — великое дело.

— А какой человек был Беляев?

— Он был умный, справедливый и прямой. К тому же очень скромный и честный. Он приехал сюда первым, в 1924 году. За ним потянулись другие. Генерал Эрн приехал, князь Туманов — моряк, капитан первого ранга, мой двоюродный брат, мичман Степанов — он похоронен здесь, на русском кладбище. Вы уже были там? Обязательно ходите. Там и генерал Высоколян покоится, и другие...

Беляев пригласил сюда очень много русских, особенно инженеров. Они потом организовали здесь факультет при университете. А еще он был индеанист, любил индейцев. Раньше в Парагвае индейца могли убить, как собаку, а он добился принятия закона о защите индейцев, организовал специальное общество...

Но его главной мыслью было собрать в Парагвае русских эмигрантов и основать что-то вроде колонии со своим особым бытом и законами. Но об этом лучше всего рассказать мог бы только он сам. .

* * *

Теперь пусть отдохнет Александр Георгиевич. Возраст есть возраст, тем более что рассказать ему еще есть о чем. А мы возобновим прерванное повествование о жизни и деятельности Ивана Тимофеевича Беляева.

В феврале 1923 года на улицах Буэнос-Айреса можно было встретить европейца, в кармане которого лежало удостоверение личности на имя Ивана Тимофеевича Беляева. Власти Аргентины разрешили русскому генералу пребывание в стране, но не позволили «заниматься трудовой деятельностью и получать заработную плату». Проживал он с женой, Александрой Александровной, не в одном из фешенебельных отелей аргентинской столицы, а в «эмигрантском доме» — общежитии для всех отверженных из потрепанной войной и революциями Европы. Иммигранты надеялись найти пристанище во вполне еще благополучной южноамериканской стране.

Но Иван Тимофеевич был далек от мысли о собственном благе, он и не мечтал о получении аргентинского гражданства. Он мечтал собрать в Южной Америке всех, кто хотел оставаться русским, кому дорога была честь России.

Существуют две точки зрения на эмиграцию. Большинство считалось только с условиями материального характера. Иные, особенно вначале, усматривали в ней возможность организации сил для во-

оруженной борьбы с большевизмом при неприменном условии самим играть в этой борьбе заметную роль.

Я мечтал о другом... я надеялся найти героев, способных сохранить и взрастить те качества, которыми веками созидалась и стояла Россия. Я верил, что эта закваска, когда свершится полнота времен, когда успокоится взбаламученное море революции, сохранит в себе здоровые начала для будущего. Если нельзя было спасти Россию, можно было спасти ее честь.

Казалось, Аргентина идеально подходила для реализации идеи «патриотической иммиграции», как называл ее Беляев. Прекрасный климат, плодородные земли, хорошо налаженный европейский быт и — главное! — благоприятная социальная среда, как губка впитывавшая культуру, традиции, религии других народов.

В начале XX века Аргентина была второй после США страной, куда направлялся поток иммигрантов из России. В 1876 году, после принятия закона, поощрявшего иммиграцию, в Аргентине появились первые переселенцы. Они получали в собственность землю, работу и органично вливались в интернациональное население страны.

Первый православный храм в Буэнос-Айресе был освящен 14 июня 1888 года. Деньги на строительство второго собора — пять тысяч рублей — пожертвовал император Николай Второй из своих личных средств. Настоятелем этого собора стал протоиерей отец Константин Изразцов, человек, известный своей заботой о русских эмигрантах и их семьях в Аргентине, Бразилии и Парагвае. Но к 1923 году крепкая русская колония в Аргентине уже не желала принимать тысячи бывших соотечественников.

На обедах у Изразцовых, куда стали приглашать генерала Беляева с женой, постепенно проявлялось настроение старожилов не допустить наплыва новых иммигрантов. Русским, прибывающим в Аргентину, даже пришлось маскироваться под немцев, евреев, поляков, чтобы получить вид на жительство и работу. Материалистическая, как назвал ее Беляев, Аргентина явно не подходила для реализации его плана.

Однажды Изразцов встретил Беляева с раздражением:

— В газетах промелькнуло сообщение, что две тысячи беженцев погрузились в Варне для отплытия в Буэнос-Айрес. Я тотчас надел свою лиловую рясу и поехал к президенту Альвеару. Консул, давший им визу, уже сменил, а виза аннулирована.

«Здесь все живут своей жизнью. Каждый — сам за себя», — писал Иван Тимофеевич уже после первого месяца пребывания в Буэнос-Айресе. Беляевы стали отдаляться от жизни аргентинской колонии. Сводить концы с концами помогали частные уроки немецкого и французского. Сам генерал, не теряя времени, совер-

шенствовался в испанском. На страницах газеты «Эль Либераль» появилось несколько очерков о русской революции и Гражданской войне, впервые подписанных «Хуан Белайефф».

Нооставаться в Аргентине Беляевы не собирались. Для реализации своего плана генерал должен был действовать.

Патриотизм. Это означало для меня, что я люблю свою Родину, что я не должен мириться ни с чем, пока не увижу ее возрождения. Мне стало ясно, что я должен сделать все, чтобы сохранить искру живого пламени русского патриотизма до того момента, когда за тяжелым наказанием наше Отечество засияет вновь славой возрождения.

При первой возможности Иван Тимофеевич разыскал парагвайское посольство. Там его приняли сухо. Сказали, что в стране революция, что надо ждать приезда военного агента. Но вот в газетах появились сведения об окончании смуты в Парагвае и приезде в Аргентину бывшего президента Гондра и военного агента Санчеса.

Оба приняли меня с распростертыми объятиями. Гондра горячо приветствовал мое желание открыть русским возможность устроиться в его стране, однако добавил: страна обнищала, рассчитывать на крупное вознаграждение не приходится.

Беляевы стали готовиться к отъезду. Брат Николай прислал из Лондона сто фунтов на дорогу. Иван Тимофеевич распрощался со своими аргентинскими друзьями и сел на пароход «Берна», ходивший вверх по реке.

Беляев не считал, что военное поражение Белой армии — это конец истории страны. Россия перемогла и татарское иго, и польско-литовскую интервенцию, сумев возродиться. Пока под пеплом пожарищ теплился национальный дух, пока были подвижники, готовые жертвовать собой, жила надежда. Значит, надо собрать всех, кто оставался верен российскому знамени, постараться сохранить и укрепить православную веру, русскую культуру, язык, традиции и мораль, надо создать резерв патриотичных, умных и достойных людей для возрождения России, когда большевики сами будут вынуждены уйти от власти.

В отличие от руководителей «Русского общевоинского союза» (РОВС), созданного генералом Врангелем в 1924 году, Беляев не поддерживал идею вооруженного свержения большевизма в России. Он не рассчитывал на скорое падение советского режима, скорее всего, он даже не верил, что белоэмигрантам удастся вернуться на родину. Одно он знал точно: нужно сделать все, чтобы не допустить гибель русской культуры и русского духа, сохранить и воспроизвести генофонд нации, чтобы дети или внуки тех, кто сражался против большевизма, смогли вернуться в Россию, но не

как мстители, а как мудрые советники, строители и новаторы. В этом и заключалась беляевская идея «Русского очага», обращенная в будущее.

Идея «Русского очага» как бы продолжала план создания запасных батальонов, с которым Беляев безуспешно пытался «достучаться до небес» в годы Первой мировой войны, опыт строительства военного лагеря в Галлиполи, когда генерал Кутепов пытался сохранить основу русской армии. Беляев предлагал терпеливо и настойчиво даже не воспитать, нет, а выпестовать, создать особую аристократию духа, которая единственно способна и достойна управлять великой страной.

Подходил ли далекий, безвестный Парагвай для создания колонии подобного рода? Наверное. Вдали от центров мировых политических и экономических бурь он не сулил скорого материального обогащения, но предлагал обширные неосвоенные земли и готов был оказывать посильное содействие иммигрантам. Может, так и думал Иван Тимофеевич, в то время как нос «Берны» все увереннее забирал в сторону асунсьонского причала. А может, думал он о схожести судеб Парагвая и России, опустошенных кровавыми войнами, в которых они потеряли своих лучших сынов...

В 1864—1870 годах Парагвай воевал с «Тройственным союзом», вступившись за соседний Уругвай, и был буквально раздавлен своими мощными соседями — Бразилией и Аргентиной, к которым, чуя грядущую поживу, немедленно переметнулся и «благодарный» Уругвай. «В результате той страшной войны, — писал русский дипломат и путешественник А.С. Ионин, — Парагвай канул в Лету забвения и пропал не только с горизонта европейского любопытства, но даже с лица земли, как нечто цельное, живое». Записки Ионина о Парагвае были хорошо известны Беляеву. Места знаменитых битв этой войны — Риашуэло, Умайта и Серро-Кора — представляли перед ним одно за другим именно так, как писал о них Ионин:

«Оставляя широкую, лениво расплывшуюся по болотам и лугам мутную Парану, мы входим в узкий, строго ограниченный крутыми берегами Парагвай, с его чистой, прозрачной и блестящей, как вороненая сталь, водою между сплошных стен роскошной зелени. Точно вдруг попадаешь в другой мир! Парагвай здесь не узок — он имеет около 800 метров ширины...

На левом берегу его втекает в него речонка, которая, не будучи ничем знаменитою, так и называлась «речонкою» — Riachuelo, и вот против ее устья и происходило морское сражение, которым бразильцы гордятся не менее, чем англичане Графальгаром. Бедные парагвайские лодки были сразу уничтожены, но дорого пришлось это уничтожение и бразильским броненосцам: они все очутились после победы выведенными из боя, и война прекратилась

на целый год, пока бразильцы не построили в Англии наскоро новый и более многочисленный флот, чтобы войти с ним в реку Парагвай и продолжить кампанию. Падая в воду с разбитой ядрами лодки, освирепевшие индейцы с ножами в зубах вплавь добирались до броненосцев и, как обезьяны, влезали по их бортам на палубы, где, конечно, и погибали, дорого платя за свою гибель...

А вот за новым изгибом реки открывается героическая Умайта. Это парагвайский Севастополь, с той только разницей, что англо-французы все-таки взяли Севастополь после годовой осады, а союзники осаждали Умайту два года и не взяли. Они ее впоследствии обошли. Здесь парагвайцы перегородили путь на реке чугунными цепями, и перед ними надолго остановился вновь выстроенный бразильский флот».

Иван Тимофеевич застал Умайту примерно такой же, какой ее впервые увидел Ионин: «Лес расступается, и на холме, где была Умайта, стоит теперь несколько полуразрушенных домиков и таможня с парагвайским флагом на длинном шесте. По тракату Парагвай не смел возобновлять укреплений, и Умайта, бывшая прежде главной верфью и портом в Парагвайской Республике, теперь заброшена и опустела. Она осталась только в виде очень живописного местечка, разбросанного по зеленым холмам среди густого леса, а развалины ее крепости завоеваны теперь самую роскошно растительностью лиан, покрытых яркими цветами».

* * *

Правление парагвайского диктатора Солано Лопеса, противопоставившего свою страну всем соседям, не могло не казаться Беляеву по меньшей мере странным. Да и мы сегодня не можем сказать, кем был этот человек — гением или безумцем? Парагвай в 60-е годы XIX века — одна из наиболее развитых стран Южной Америки. Там построена первая на континенте железная дорога, спущен на воду первый пароход с корпусом из стали. Находясь в самом центре Южно-Американского материка, вдали от океанского побережья, Парагвай почти не участвовал в торговле с европейскими странами, зато развивал собственное фабричное производство. Там строились металлообрабатывающие и ружейные мастерские, вводились в эксплуатацию телеграфные линии. Лопес поощрял науки, искусства и ремесла. В тот период в стране было открыто несколько университетов.

Вот тогда-то и началось у диктатора «головокружение от успехов». Говорили про Солано Лопеса, что он задумал создать в Южной Америке что-то вроде «великой американо-индейской империи», и начал он со строительства в Асунсьоне огромного

президентского дворца. Амбиции Лопеса поддерживала его супруга — мадам Линч, по происхождению ирландка, с ней Лопес познакомился, когда возглавлял парагвайское посольство в Европе. Лопес уже смотрел Наполеоном и даже, по слухам, заказал для себя в Париже императорскую корону. Тем не менее, как писал Ионин, в годы правления Лопеса «среди общего хаоса, происходившего в Южной Америке, один только Парагвай долгое время казался организованною страной, представлявшей единство в администрации и сформировавшей нечто вроде особой национальности».

Государства «Тройственного союза» вступили в войну под флагом освобождения Парагвая во имя цивилизации и прогресса. Они призывали парагвайский народ свергнуть тирана, обещая, что тем война и кончится, но парагвайцы не вняли этим речам и объединились вокруг тирана с энтузиазмом, преданностью и отчаянием.

Семь дней продолжалось генеральное сражение на реке Пирискири и кончилось полным разгромом войск Лопеса. Сам он бежал из столицы с верными ему людьми. Бразильцы взяли Асунсьон, но парагвайцы и не думали сдаваться. Практически все население покинуло села и города и ушло со своим тираном в глубь страны, продолжая вести партизанскую войну среди гор, лесов и болот. Стало очевидно, что война эта была для Парагвая национальной войной, что вел ее не один Лопес, а весь народ гуарани. В бою под Серро-Кора в марте 1870 года Лопес, застигнутый врасплох, погиб с саблей в руке. В этом сражении был поголовно вырезан прикрывавший его отряд мальчиков, всего около тысячи человек...

Цивилизаторские намерения захватчиков, их обещания свободы и прогресса привели к почти поголовному истреблению народа, виноватого только в том, что он не понимал прелести либеральных учреждений, не хотел чужой эксплуатации, а был предан своему деспотичному правителю.

* * *

8 марта 1924 года никто не встречал русского генерала в парагвайской столице, но где-то там, на небесах, путь его отныне был определен: Ивану Тимофеевичу предстояли великие труды на его второй родине.

Асунсьон с первого взгляда понравился Беляеву, вызвал четкие пророссийские ассоциации. Железнодорожный вокзал показался удивительно похожим на Царскосельский, а сама парагвайская столица уж очень напомнила российский уездный город, что-то вроде Владикавказа. Уклад жизни тоже, как показалось Беляеву,

напоминал российский: «Та же патриархальность, радушие к иностранцам, жизнь без претензий на европейские достижения, но полная своеобразных прелестей и вполне сочная».

В Асунсьоне было всего пять автомобилей — машина президента, авто военного министра и три таксомотора. Самые крупные здания — дворец, кабльдо — городская управа, и трибунал... Солдаты и полиция форменные ботинки носили в руках и надевали по случаю. Барышни наряжались в туфли в центре города, где были мощные улицы. Трамваи и электрическое освещение уже существовали, а в самом центре города еще имелся огромный базар, заваленный фруктами, картофелем, маниокой. На улице Пальмас поблескивали витрины нескольких хороших магазинов, а рядом безногие нищие играли в орла и решку. Весь город утопал в садах. Жизнь была удивительно дешева и спокойна, жители улыбки и добродушны. Парагвайское песо соответствовало пяти копейкам царской чеканки. Хорошая квартира стоила 400—600 песо. Прислугу можно было нанять за 500 песо в месяц.

При таком раскладе преподавателю Военной школы Асунсьона, получавшему до пяти тысяч песо в месяц, жаловаться на жизнь не приходилось. В Военной школе, расположенной в самом центре Асунсьона, Беляев начал преподавать фортификацию и французский язык. Отношения с начальством складывались как нельзя лучше. Что ж, добралась — тихая гавань. Но настрою у Ивана Тимофеевича был другим.

В то время как неудержимый порыв влек меня к тем самым индейцам, которых я знал еще с детства, прочитав все о них, вплоть до библиотеки Императорского географического общества и Академии наук, моя жизнь двоилась под влиянием другой великой задачи: найти уголок, где бы все святое, что создавала вечная и святая Русь, могло сохраниться, как в ковчеге во время потопа, до лучших времен.

Через белградскую газету «Новое время» Беляев направляет призыв «ко всем, кто мечтает жить в стране, где он может считаться русским», приехать в Парагвай и создать там «национальный очаг», чтобы «сохранить детей от гибели и рабства».

Случилось так, что Беляеву почти не пришлось разрываться между стремлением изучать жизнь индейцев и осуществлением замысла создания «Русского очага». Парагвайское правительство оказалось кровно заинтересованным в планах генерала.

Июньской ночью 1924 года Беляева вызвал к себе военный министр и от имени президента страны доктора Эйсебио Аяала предложил генералу пригласить в Парагвай русских специалистов — путейцев, конструкторов, геодезистов. Правительство обещало организовать их массовую переброску. Русским гарантиро-

вались хорошие оклады и все права парагвайских граждан. От Беляева требовалось «совсем немного»: организовать и осуществить ряд экспедиций в Чако Бореаль — труднодоступную область Южно-Американского континента, размером примерно в пол-Франции. На картах того времени Чако обозначалось по-немецки — «Бенглих унерфоршт» («Пустое пространство»). Министр не скрывал: Парагваю необходимо как можно скорее освоить эту территорию — назревало военное столкновение с Боливией.

Беляева переполняли эмоции. Как военный, он не мог не выполнить приказ, как ученый, радовался предстоящей встрече с индейцами, еще не «испорченными» цивилизацией, как патриот России, был благодарен парагвайцам за готовность содействовать плану «патриотической иммиграции». Но масштаб задуманной операции, ее трудность и максимально сжатые сроки повергали в трепет. Как освоить территорию, если за последние четверста лет этого не удавалось ни испанским конкистадорам, ни европейским авантюристам, ни парагвайским президентам? Было о чем подумать...

История открытия Чако Бореаль* — местности в триста тысяч квадратных километров, расположенной между реками Парагвай и Пилькомайо, довольно запутанна. Если верить испанским хроникам, некий Хуан де Айолас, успев основать в 1536 году у слияния этих рек город Асунсьон, отправился затем вверх по реке Парагвай, ища себе славы, а испанской короне богатства. Спутником его в путешествии был другой испанец — Мартинес де Ирала.

Проплыв по реке до неизведанных мест, Айолас рискнул пойти далее сухим путем прямо на запад и первым из европейцев оказался на земле Чако. Он как будто преодолел огромные трудности и лишения, пересек эту территорию, дойдя до отрогов Центральных Анд. Возвращаясь в Асунсьон, конкистадор был убит в схватке с воинственными индейцами.

По другой версии, Мартинес де Ирала не участвовал в экспедиции Айоласа, а в 1537 году на свой страх и риск предпринял самостоятельное путешествие в Чако, и его путь пролегал вверх по реке Пилькомайо. Это версия самого Ирала, который считал себя первооткрывателем Чако Бореаль и основателем Асунсьона.

По официальной версии, основателем Асунсьона был Хуан де Саласар-и-Эспиноса. Это он, бронзовый, с постамента в центре парагвайской столицы приветствует обоих спорщиков — Айоласа и Иралу.

* «Чако» в переводе с языка кечуа означает «охотничье поле», «Бореаль» (исп.) — «северное» (в отличие от Южного Чако — провинции Аргентинской Республики).

Вплоть до 30-х годов XX века Чако Бореаль оставалась одной из наименее исследованных областей Южно-Американского континента. Слухи о свирепости индейских племен, обитавших в Чако, отпугивали исследователей, которые не рисковали углубляться в неведомые земли, а ограничивались изучением районов, примыкавших к берегам рек. В 1881 году француз Жюль Крево предпринял первую экспедицию в этот неизведанный край.

Доктор Крево начал свое путешествие из боливийской провинции Тариха. С помощью миссионеров его группа добралась до верхних порогов реки Сан-Франциско, построила там небольшую флотилию из плотов и лодок и спустилась вниз по реке в направлении Чако Бореаль. И что же? Вся экспедиция, 20 белых исследователей и 35 индейцев, пропала... «Эту экспедицию вырезало страшное племя тобас, которого так боятся в этих странах и которое охраняет этот заколдованный мир лесов и болот Чако с его двумя большими реками — Пилькомайо и Бермехо, — писал Ионин. — Может быть, они даже и съели эту экспедицию, хотя насчет каннибальства Тобас мнения различны. На окраинах Чако его уже не замечают, но внутри оно может существовать — кто знает?» Позднее в Чако пропали две другие экспедиции — американиста Джона Пойджа и аргентинца Рамона Листа.

«Вследствие таких обстоятельств, — писал далее Ионин, — река Пилькомайо есть теперь самая неведомая река на свете. О ней решительно ничего не известно, кроме как по догадкам и по рассказам тех же дикарей, которых случалось брать в плен, но которых понимать очень трудно, ибо, как говорят люди компетентные, на пространстве Чако существует более 20 языков».

Чако Бореаль начинается сразу же на противоположном от Асунсьона западном берегу реки Парагвай. Ровная как стол местность лежит на уровне моря. Но, простираясь дальше на запад, к отрогам Анд, она поднимается до высоты две тысячи метров. Поэтому, когда в занятой саванной части Чако стоит изнуряющая жара, от которой не спасают почти не дающие тени деревья — альгаррабо, мескито, кебрачо, в лесах бывает холодно. Температура летом (лето длится с января по март) выше 36 °С, зимой она снижается до минус 3 °С. Перепад дневных и ночных температур также очень высок, а ветра лишь усиливают холод.

Низменные районы Чако, расположенные вдоль рек, заняты заболоченными тропическими лесами — сельвой — и высоко травной саванной. К западу сельва переходит в редколесье, полупустыни и пустыни с сухим и жарким климатом. Если на востоке Чако наблюдается обилие воды, то на западе вода почти полностью отсутствует. Но главный бич Чако, особенно в сезон дождей, — москиты, не дающие покоя ни днем ни ночью. Спать без

москитеро совершенно невозможно. Не забудем еще змей ярарак, «гремучка»-каскабель, яд которых способен убить буйвола уже через пять минут, ягуаров, именуемых для пушей важности «тигре», прожорливых крокодилов, хищных и злых гигантских муравьев...

«Веселое местечко» это до поры до времени не входило в сферу интересов парагвайского правительства. Единственной приметой цивилизации в Чако был пароходик, раз в полгода доставлявший из Асунсьона в армейские укрепления — фортины, расположенные вдоль берега реки Парагвай, провиант, да узкоколейка, обрывающаяся на самой опушке сельвы. Человек, сошедший с подножки вагона, сразу чувствовал себя робинзоном на необитаемом острове.

Что же могло произойти, чтобы парагвайцы вдруг заинтересовались своим медвежьим углом?

Территориальный спор между Парагваем и соседней Боливией из-за области Чако начался еще во времена конкистадоров — не было каких-либо более или менее заметных географических объектов для делимитации границы.

В 1879 году в преддверии войны с Чили боливийцы попытались мирным путем разрешить свои недоразумения с парагвайцами. Переговоры длились 28 (!) лет, но закончились ничем. Трудно поделить то, о чем не имеешь представления.

Дальше вступили в дело нефть и, как всегда, эмоции. Пока единственным достоянием спорной территории — там, где она была разведана, — оставался танин — продукт, добываемый из коры дерева кебрачо, Чако Бореаль не входила в зону хозяйственных интересов Ла-Паса: она была крайне удалена от основных центров Боливии, расположенных в предгорьях Анд. Жители ближайшего к спорной территории боливийского департамента Санта-Крус практически не идентифицировали себя с кольяс — основным этносом, проживающим в Боливии. В культурном и этнолингвистическом плане они причисляли себя к потомкам другого мощного этноса — гуарани, от которого произошли парагвайцы. Поэтому вопрос о международном посредничестве в споре с Парагваем Боливия предпочитала не ставить: ее права на Чако Бореаль выглядели весьма сомнительными. Но в начале 1920-х годов на востоке Боливии, в районе Камири, обнаружили крупные запасы нефти. Именно с этого момента началось «мирное проникновение» боливийцев на запад.

Боливийские разведотряды, основывая свои фортины по берегам реки Пилькомайо, стали активно проникать в глубь спорной территории и нарушать демаркационную линию, установленную по договору Пинилья-Солер еще в 1907 году. Вскоре начались их стычки с гарнизонами парагвайских укреплений, разбросанных

вдоль реки Парагвай и ее притоков. Активность боливийцев многократно возросла после того, как американская нефтяная компания «Стандарт ойл» в 1922 году начала вести разведку нефти на востоке Боливии. Для Парагвая складывалась критическая ситуация: претензии соседа могли получить поддержку одного из «сильных мира сего».

На переговорах, возобновившихся в 1928 году, боливийские представители, очевидно, рассчитывая на поддержку со стороны «Стандарт ойл» и соответственно правительства США, потеряли всякое чувство меры. Они заявили претензии уже на весь район Чако. В этом случае столицу Парагвая отделяли бы от боливийских войск только воды реки Парагвай, ставшей пограничной, а территория Парагвая сократилась бы до 160 тысяч квадратных километров.

Боливийцы явно стремились, во-первых, приобрести территорию, потенциально богатую нефтью, во-вторых — компенсировать потерянный в результате войны с Чили выход к Тихому океану, добравшись до Атлантики по рекам Парагвай и Парана. А на что мог рассчитывать Парагвай, столица которого свободно простреливалась бы с другого берега реки?

Но к тому времени район Чако уже три года активно осваивался парагвайцами при помощи русских добровольцев.

Приказом, подписанным министром обороны Парагвая Луисом Риартом 15 октября 1924 года, дону Хуану Белайеффу предписывалось:

разведать окрестности Байя-Негра и найти наиболее удобные места для расположения гарнизонов;

провести глубокую разведку всего района в целях поиска наиболее благоприятных мест для организации в будущем долговременных оборонительных сооружений, наблюдательных пунктов, узлов связи и коммуникаций;

подготовить генеральную карту района и отметить места оборонительных сооружений;

представить по возвращении из экспедиции детальный отчет в министерство обороны с указанием объема предстоящих работ по реализации проекта.

Беляеву предстояло подняться на северо-восток к истокам реки Парагвай в район Байя-Негра, туда, где на стыке границ с Боливией и Бразилией оставался последний парагвайский фортин Гальпон, а потом по следам Айоласа двинуться на запад. На этом пути могли встретиться всякие неожиданности: появиться «заблудившийся» боливийский разведотряд или дикое индейское племя, не понимающее благородных намерений бледнолицых.

Осознав всю сложность поставленной задачи, Беляев предложил соединить военные аспекты экспедиции с гуманитарными.

По его мнению, никакое серьезное освоение Чако, тем более в предвидении возможного конфликта с Боливией, невозможно без установления контактов с проживавшими там индейцами. В дополнение к полученным ранее директивам Риарта Беляев приписывает:

регистрировать все племена и поселения в восточной части Чако, описывая их точное расположение, количество, материальное и моральное состояние и отношения с касиками;

передавать под ответственность касиков необходимые орудия труда и материалы для жизнедеятельности;

по необходимости пригласить с собой в столицу страны представителей от каждого племени, с которым удастся установить цивилизованный контакт;

принять меры по вакцинации индейцев в целях предотвращения эпидемий и инфекционных заболеваний;

выполнение означенных функций обязует все военные и гражданские органы Республики на местах оказывать подателю сего посильную помощь;

маршруты и внутренний порядок в экспедиции выбирать автономно с учетом необходимости достижения поставленной цели и экономии времени и ресурсов;

при несчастном случае пострадавшие члены экспедиции приравниваются к раненым (или убитым) на войне, а члены их семей — к членам семей раненых (или убитых) на войне.

Иван Тимофеевич, конечно же, не рассчитывал на немедленный результат. Он не мог не понимать, что и передача орудий труда, и вакцинация — дело отдаленного будущего. Парагвай — страна по всем показателям бедная — не мог позволить себе роскошь одновременной подготовки к войне, освоения крупных территориальных массивов и окультуривания индейских племен. Но Беляеву нужно было получить «добро» Риарта, чтобы действовать с расчетом только на собственные силы.

Уже в первой экспедиции, которая началась 25 октября, Беляев столкнулся с трудностями и проблемами, которые так или иначе будут присутствовать и во всех его последующих походах в Чако: отсутствие необходимых приборов и инструментов (старенький компас, рулетка и теодолит — это все, чем он располагал для картографической съемки местности), хроническая недоэкипировка продуктами, патронами, спичками, сывороткой от змеиного яда и многим другим, плохие лошади. Большинство его путешествий носили характер авантюры, но девиз предков Беляева «Наудалую!» придавал им все же осмысленное, пусть и иррациональное, начало.

Первое путешествие в Чако длилось всего месяц. Спутниками генерала были исключительно парагвайцы. Беляеву удалось углу-

биться довольно далеко на запад и установить контакт с индейцами племен макка и чимакоко. Он зафиксировал на карте обширный участок местности на северо-восток от границы де-факто с Боливией, наметил пути и средства его возможной обороны от агрессора.

В отчете, представленном по окончании экспедиции, генерал Беляев выдвинул ряд важных идей, которые потом были положены в основу стратегии Парагвая в Чакской войне. Главное — необходимость жесткой привязки будущего театра военных действий к источникам воды. Без воды не будет победы, настаивал Беляев.

Каждому солдату, рискнувшему отойти на несколько километров от реки, грозит страшная жажда. Запаса в обычной солдатской фляжке, карманьоле, не хватит, ему предстоит прорубаться сквозь чащобу в условиях изнуряющей жары. А ведь надо будет еще напоить животных — лошадей и быков.

Беляев рассчитал, что для продвижения в глубь Чако людям и животным придется вчетверо увеличить обычный запас воды. Отряду пришлось бы тащить за собой на быках объемистые резервуары с водой, большая часть которой потреблялась бы самими быками. В этих условиях резко возросло значение разведки и прокладывания троп, ведущих к немногим естественным водоемам, лагунам и индейским колодцам. Вне этих жизненных артерий любая армия была бы обречена на неминуемую гибель.

В основу своего стратегического плана Беляев положил принцип активной обороны при условии хорошего знания местности и разведанных источников воды. Тогда вторгшиеся на парагвайскую территорию боливийские войска, подвергаясь постоянным контратакам, должны были оттесняться на безводные пространства между фортами Гальпон и Сан-Хуан, где иссяк бы их наступательный дух. После этого в дело вступала парагвайская кавалерия, которая сильным фланговым ударом по вторгнувшейся группировке или постоянными беспокоящими действиями подготовила бы условия для решающего наступления пехоты.

План был хорош. Он помогал парагвайцам компенсировать за счет природного фактора существенную слабость их армии по сравнению с боливийской. Идея обращения главного бича Чако — отсутствия воды, на службу правого дела так увлекла Беляева, что несколько позже он выступил с совершенно фантастической идеей — пересадить парагвайских солдат на... верблюдов!

Может, в мечтах Иван Тимофеевич уже видел себя въезжающим в Ла-Пас на белом дромадере, а может, рассчитывал, что боливийцы убоятся самого вида двугорбых, как раньше ацтеки и инки спасовали перед лошадьми конкистадоров, кто знает? Но

идея с самого начала оказалась «недопросчитанной». Как выяснилось, транспортировка одного «корабля пустыни» из центра Азиатского материка в центр Южно-Американского приближалась по стоимости к цене старенького, но еще в рабочем состоянии «Потеза» из ангаров французских ВВС.

Более конструктивной была идея подключить к делу обороны страны индейцев.

Вопреки расхожему мнению, эта территория в принципе проходима везде. Но путешествовать там без знания о воде и подходах к ней, значит, путешествовать без ключа. А ключ от Чако — в руках у индейца, — писал Беляев в своем отчете. — Рожденный в пустыне, обладающий поистине железным здоровьем, с кожей, недоступной ни для укусов насекомых, ни для действия изнуряющего полуденного солнца, способный безошибочно находить дорогу в густой сельве и бескрайней пустыне, а самое главное — умеющий находить воду и довольствоваться даже наименее пригодной для питья, прекрасный охотник, не нуждающийся ни в одежде, ни в боеприпасах, индеец Чако мог бы быть идеальным солдатом.

Получив приказ правительства, индеец бросится исполнять его. Природная доверчивость и чувство долга внушают ему желание безоговорочно следовать приказу вождя, твердость и отвага индейца позволяют идти на любой риск, когда ощущаешь за своей спиной его энтузиазм и поддержку.

Таким образом, уже в первом отчете Беляев смог назвать три главные составляющие, которые спустя десять лет привели Парагвай к победе: принцип активной обороны, использование особенностей местности и линий коммуникаций в Чако, подключение к обеспечению боевых действий индейских племен. Неважно, что направление главного удара боливийцев в 1932 году пришлось южнее, стратегия Парагвая была определена.

* * *

Ну что ж. Перевернем сразу несколько страниц жизни генерала Беляева в Парагвае, чтобы рассказать о событиях, которые стали для страны судьбоносными.

К концу 1930 года генерал онорис кауза (почетный генерал) парагвайской армии, ответственный сотрудник генерального штаба, дон Хуан Белайефф совершил двенадцать экспедиций в малоизученную область Чако Бореаль. Каждая экспедиция длилась от одного до нескольких месяцев. В результате были документально и фактически закреплены за Парагваем спорные территории, найдены потайные индейские тропы, затерянные в пустыне лагуны, колодцы и становища. Но самое главное — были установлены доверительные отношения с индейцами, многие из

которых впервые увидели белых людей. В племени чимакоков Беляева уже считали своим и прозвали гордым именем Алебук — Сильная Рука.

Бок о бок с парагвайцами, многие из которых почитали за честь идти в Чако вместе с русским генералом, шли теперь и бывшие русские офицеры, приехавшие в Парагвай по его приглашению. В отчетах об экспедициях, регулярно представлявшихся Беляевым в министерство обороны и генеральный штаб, чаще других упоминались братья Оранжеевы — Игорь и Леон, Василий Орефьев-Серебряков.

Но главная экспедиция была впереди. Все произошло, как это, впрочем, часто бывает, неожиданно. В декабре 1930 года военный министр вручил Беляеву письмо следующего содержания: «Алебук! Десять боливийцев на мулах прошли знак вблизи Питиантуты, которую ты поручил охранять. Если ты не придешь немедленно, Питиантута попадет в их руки. Сержант Тувига — вождь чимакоков. Со слов Тувиги записал капитан Гарсиа. Фортин Пуэрто-Састре».

Что такое Питиантута? По рассказам индейцев, это огромный резервуар пресной воды в самом сердце Чако. Легендарное место, куда еще не удавалось добраться ни боливийцам, ни парагвайцам. Открыть его и нанести на карту значило бы достойно завершить работу по картографической съемке всего района. И тогда можно было бы спокойно садиться за стол переговоров с Боливией. А вот захват Питиантуты боливийцами грозил бы Парагваю серьезными неприятностями.

Питиантута — центр всех невидимых индейских коммуникаций в направлении тыла противника, а также и наших, — записал в своем дневнике Беляев. — Оттуда можно было выйти на железную дорогу Касадо, на 153-й километр, отрезав, таким образом, все наши гарнизоны, прикрывающие селения, и выйти прямо на берег реки Парагвай. Генерал Скенони понял опасность, и я был немедленно отправлен туда.

Так началась самая продолжительная и самая трудная экспедиция Беляева в Чако Бореаль. Главной целью путешествия было нахождение места для строительства укрепления, которое могло бы прикрыть подходы к Питиантуте и стать связующим звеном между лагуной и берегом реки. За группой Беляева из фортина Хенераль Диас должен был идти отряд солдат.

Кроме револьверов, — рассказывал Иван Тимофеевич, — у нас были карабины и четыре винтовки для сопровождавших нас индейцев-проводников. Боеприпасов было в обрез. Багаж состоял из четырех чемоданов, двух бурдюков для воды, ящиков с провизией и боеприпасами. В мою группу кроме троих парагвайцев и троих проводников входили Василий Орефьев-Серебряков и Александр фон Экштейн.

В августе 1994 года в своей небольшой квартире в Асунсьоне господин фон Экштейн с поразительной для девяностолетнего старика энергией рассказывал историю своей непростой жизни.

— Почему мы пошли в Чако? Боливийцы, как только находили там воду, сразу основывали свой фортин. Ничего себе «мирное проникновение»! Так они скоро добрались бы и сюда. Все знали об этом, но карт, необходимых, чтобы освоить этот район, не было. В Чако индейцы воевали между собой. Беляев примирил их, ходил с ними во всякие неизведанные места. Он-то и подготовил все карты Чако.

Однажды чимакоки сказали ему, что где-то на севере есть большое озеро. По приказу властей мы сразу же снарядили экспедицию. Зачем она была нужна? На севере уже находились боливийцы, но о Питиантуте они толком еще ничего не знали. После того как на озере побывали мы с Беляевым, боливийцы только через год смогли обнаружить его с самолета. Но там уже были наши солдаты. Открытие Питиантуты было чрезвычайно важным...

Сначала мы плыли на пароходе. Как хорошо, что я захватил фотоаппарат! Теперь эти снимки — история. Вот, смотрите, это Беляев снимал нас с Серебряковым. Серебряков — такой молодец! Донской казак. В Парагвае какое-то время работал инженером. Прекрасно пел. И погиб, как герой...

Добравшись в Пуэрто-Касадо, мы проехали по узкоколейке до сто сорок пятого километра. Там с лошадьми и мулами нас уже ждал лейтенант Эрмес Сагиер. Потом по насыпи прошли еще восемь километров, а оттуда взяли напрямик на северо-запад. Впереди — плотная стена тропического леса. Начиналось неизведанное...

Мы медленно шли вперед. Сельва становилась все гуще. Она отбирала у нас энергию. В конце каждого дня мы понимали, что прошли меньше, чем накануне. Жара и влажность отупляли. Мучила жажда, утоляли которую мясистыми корневищами растения, зовущегося иби-á. Еще искали длинные, колючие листья карагуаты, в ложбинках которых после дождей скапливалась влага...

Первая ночь в сельве запомнилась навсегда. Звезды над головой казались такими близкими — протяни руку, и дотронешься. Жизнь в лесу не замирала ни на мгновение: крики дневных птиц — попугаев, туканов и всякой прочей мелочи, ночью сменялись уханьем филинов и сов, стрекотанием невидимых насеко-

мых. Иногда черный бархат ночи разрывали зеленые огоньки чьих-то глаз. И все время в напоенной запахами растений темноте леса что-то двигалось, ползало, шуршало. Поначалу заснуть было невозможно. В непроглядной тьме трудно было разглядеть даже кончик собственного носа. Индейцы-проводники ориентировались по запахам и звукам, а европейцы были совершенно беспомощными перед лицом дикой природы. Наутро все повторялось — лес, рубка, жажда.

Вечерами под тропическими звездами звучали русские песни, арии из опер — на них Серебряков был большой мастер. Однажды он повесил свой гамак с москитеро немного в стороне. Его предупредили: «Осторожно, капитан, здесь могут быть тигры». Но тот не послушал, такой был сорви-голова! Отмахнулся: «Какие там еще тигры!» Наутро всех разбудил его крик: «Смотрите!» Земля вокруг гамака была покрыта путаной вязью следов крупного ягуара. То ли Серебряков так крепко спал, что не почувствовал зверя, то ли не посмел шевельнуться, когда увидел его. Но ягуар не напал...

Приключений было много. Однажды ночью мы проснулись от криков индейцев, которые спешно поджигали кусты вокруг лагеря. В отвесах пламени из глубины сельвы на нас надвигался огромный черный ковер. Противный несмолкающий звук, который издавал этот живой ковер, напоминал чавканье исполинской свиньи. Это были гигантские тропические муравьи, мигрировавшие в поисках пропитания. Они сметали все на своем пути. Индейцы слышали их приближение за сотни метров, и только это избавило людей от страшной смерти. Несколько часов провела группа за огненной завесой. Когда муравьи наконец ушли, от костра оставались только тлеющие головешки...

Через месяц борьбы с дикой сельвой скудные запасы экспедиции стали подходить к концу. Закончились спички — теперь огонь приходилось добывать с помощью увеличительного стекла. Дебри сменились редколесной саванной, но идти не стало легче. Брели по пояс в густой траве, кишевшей змеями. Однажды на одну из них чуть было не наступил лейтенант Сагиер. Это было бы непоправимо. Серебряков как-то подстрелил метрового темно-коричневого каскабеля с погремушками на хвосте. Сагиер сразу же отрубил змеиную голову и закопал глубоко в землю — яд даже мертвого каскабеля смертельно опасен, а нам приходилось думать о солдатах, которые должны были идти следом за нами.

Никому еще не доводилось так далеко проникать в глубь тех неизведанных мест. Все больше опасений возникало по поводу

морос — воинственного племени, кочующего в районе Питиантуты.

Беляев рассказал, что в 1920-х годах в сельве происходили жестокие стычки между местными индейцами и пришлыми невесть откуда морос, которые, по слухам, были каннибалами. Мирные макка и чимакоки были перебиты, оставшиеся в живых бежали и с тех пор панически боялись этих морос...

Меня все это время не покидали нехорошие предчувствия. К середине маршрута я уже твердо знал, что самый неудачливый в группе, и если кому-то суждено быть съеденным первым... Ну посудите сами, однажды, когда я нагнулся, чтобы поднять чехол от беляевского маузера, лошадь подо мной рванула, нога застряла в стремени, и меня проволокло по земле метров сто. Хорошо что обувь перед походом я выбирал посвободнее — сапог остался в стремени, мой Росинант помчался дальше, а я возблагодарил Бога за нечаянное спасение.

К концу февраля у нас оставалось два килограмма сухого мяса, парагвайский чай йерба-мате, восемь килограммов сахара, два — муки, пакет какао, десять банок сгущенки и сто двадцать галет, а от Питиантуты нас отделяла горная цепь шириной в двадцать километров. Надеялись на охоту и счастливый случай. Но охотиться можно было лишь вблизи небольших и редких источников воды. Все чаще в пищу шли молодые побеги пальм, напоминавшие по вкусу капустные кочерыжки — пища здоровая, но удручающе однообразная.

Как-то мы набрали на одиноко стоявшее кебрачо, в дупле которого нашли дикий мед. Радости не было конца. Но счастливая находка обернулась для меня большими неприятностями. Вот уже полтора месяца я не брился и отпустил бороду. Мед ел руками, торопясь. Очень скоро моя борода, затвердев словно камень, превратилась в «аэродром» для мух и пчел со всей округи. К счастью, через пару дней экспедиция вышла к небольшому озерцу, куда я, не раздумывая, погрузился с головой. Но на этом мои испытания не закончились.

Однажды на рассвете послышались крики и грохот барабанов. Мы схватились за ружья и приготовились к обороне. Но Беляев нас успокоил: то были его старые друзья чимакоки во главе с касиком Шиди. Их было человек двадцать. Казалось, ожили страницы романов Фенимора Купера: обнаженные до пояса, обильно раскрашенные и оперенные, с луками и стрелами, индейцы, как дети, радвались встрече, а Шиди тотчас бросился обнимать Алебука. Чимакоки решили сопровождать экспедицию. Среди этой веселой публики я заметил несколько молодых девушек, а одна...

Ее звали Кианé. Ей было лет шестнадцать. Ее необыкновенные черные глаза пронзили мое сердце. Вечером я присел рядом с Киане у костра и понял, что я ей небезразличен. Следующие две недели были самыми незабываемыми в моей жизни. Это была чистая любовь, — счастливо улыбнулся Александр Георгиевич. — Она была прекрасна! Мы вместе смотрели в ночное небо, любовались луной, медленно ползущей по верхушкам пальм, слушали уханье филинов и хохот птицы чаха́ — хранительницы вод. А когда в глубине сельвы раздавался вдруг рык голодного ягуара, Киане прижималась ко мне своим смуглым телом, и я чувствовал, как трепещет ее сердце.

Александр Георгиевич вздохнул и замолчал. Потом продолжил:

— А через две недели нам пришлось расстаться. Произошло это неожиданно. С помощью верных чимакоков экспедиция стала двигаться быстрее и вскоре достигла лагуны Орнамета — до Питиантуты оставалось несколько дней пути. Ивана Тимофеевича все больше беспокоило здоровье Серебрякова — у него обнаружили первые признаки цинги. Да и чимакоки уже не выказывали былого рвения. Чем ближе к Питиантуте, тем вероятнее была встреча с кровожадными морос. И Беляев принял решение в духе полярных путешественников: отпустить основную отряд обратно, а малыми силами совершить бросок к Питиантуте.

Решили, что останутся шестеро: Беляев, я и четверо самых смелых индейцев. Остальные во главе с лейтенантом Сагиером отправлялись назад. Уходили верные чимакоки. Уходила и моя Киане...

Мне трудно описать наше расставание. Касик Шиди, немного знавший испанский, перевел мне ее слова: «Ичико (Молодой Воин), я хочу, чтобы ты пришел к нам в племя. Я всегда буду ждать тебя». Я долго смотрел вслед уходившим и поклялся обязательно найти мою Киане.

Начался самый трудный отрезок пути. У Питиантуты мы снова вошли в опутанный лианами и ошетилившийся колючками лес. Теперь от индейцев, больше чем от оружия и даже продовольствия, зависел успех всего дела. Шиди, как и положено вождю, серьезный и немного замкнутый, иногда влезал на дерево — самое крепкое и толстое, — чтобы наметить дальнейший путь и дать указания остальным. Гарига, храбрый и сильный воин, был интендантом нашего воинства. Кимаха, еще совсем ребенок, прекрасно лазал по деревьям, добывал мед, фрукты, яйца птиц и был, наверно, самым активным членом нашей компании. Турго, великолепный бегун и ходок, отлично знал мельчайшие детали жизни в горах и сельве.

В середине марта мы ощутили близость большой воды. Я шел впереди с мачете в руке, за мной Турго и Кимаха вели под уздцы груженных мулов. Продравшись сквозь чащобу, мы оказались на берегу большого озера. Вот она — долгожданная и таинственная Питиантута! Она показалась нам раем после дикой сельвы. Несколько минут мы стояли в оцепенении. Какая красота! Сколько свободной воды!

Сфотографировались на берегу лагуны и сразу же отправились на охоту. Выстрел — первый в этих местах — и тысячи разом взлетевших птиц на несколько секунд закрыли солнце. Грандиозно... Искупавшись, утолив жажду и напоив мулов, мы устроили на берегу лагерь, неподалеку от древнего индейского колодца. «Питиантута» переводится с языка чимакоко как «Озеро покинутого муравейника»...

Словно оазис посреди пустыни Сахара, — писал Иван Тимофеевич, — своим обилием воды, птиц и рыбы оно с древних времен влекло к себе, было объектом многочисленных войн, память о которых сохранилась в богатом индейском фольклоре. Озеро это, или, как предпочитают говорить парагвайцы, лагуна, находится в самом центре индейских троп, ведущих к бассейнам рек Паранети, Парагвай и Пилькомайо, и является как бы транзитным для пришлых племен, таких, как, например, воинственные морос.

— В первую ночь на берегу Питиантуты, — продолжал свой рассказ Александр Георгиевич, — меня обуревали смешанные чувства — я долго не мог заснуть. Конечно, радовало чувство выполненного долга. Но я тосковал о Киане и почему-то боялся, что больше никогда ее не увижу. А еще мне все время казалось, что из глубины сельвы за мной следит чей-то зоркий, немигающий взгляд...

На следующий день мы с Беляевым занимались картографической съемкой. Нас сопровождал Шиди. Лагуна имела протяженность пять километров в длину с востока на запад и два километра в ширину. Подземные ключи, питавшие Питиантуту, были обнаружены на восточном берегу — потом там был основан фортин Карлос Антонио Лопес.

Когда мы продвигались по берегу, Беляев и Шиди развешивали на деревьях заранее припасенные бусы, кусочки зеркал. А когда возвращались, оказалось, что на ветках уже ничего нет. Значит, морос идут по пятам! Признаться, в тот момент у меня все похолодело внутри. Уцелеть в Гражданскую войну, насмотреться всякого, наскитаться — и закончить свои дни в желудке какого-то варвара? Нет, и еще раз нет! Но нужно было идти вперед и завершить дело, ради которого мы с таким трудом сюда добрались.

Индейцы забеспокоились, стали ожесточенно спорить. Даже касик Шиди не мог их утихомирить. Беляев сказал мне, что индей-

цы не хотят идти дальше, они боятся морос, и никакие уговоры Шида на них не действуют. И тут генерал продемонстрировал свое недолжное знание психологии. Он молча поднял мачете и стал прорубать дорогу в сельве. Недолго думая, я взял под уздцы двух мулов и последовал за ним. Потоптавшись в нерешительности, индейцы все же потихоньку потянулись следом. Остаться наедине с морос без белых людей и их винтовок им явно не хотелось...

Составив карту местности и наметив место для строительства укрепления, экспедиция покинула Питиантуту. Что могла противопоставить своим свирепым противникам, умевшим буквально растворяться в «зеленом аду», горстка людей — только отчаянную храбрость. Ведь никто не был застрахован от меткой, пущенной из зарослей отравленной стрелы.

Обратный путь оказался длиннее и труднее. Чтобы сбить морос со следа, мы решили не возвращаться по старому пути, а проложить новый, чуть севернее прежнего маршрута, и выйти к фортину Байя-Негра. Двигались быстро, не огибая попадавшиеся на пути мелкие лагуны и ручьи, а переходя их вброд. Однако бусы, которые продолжал развешивать на деревьях Беляев, исчезали. Морос «конвоировали» нашу экспедицию. Казалось, они лишь выбирают момент для нападения. Поэтому всякий раз перед ночевкой мы сооружали сложную «систему оповещения»: обвязывали на уровне колена все окружавшие наш лагерь деревья и кусты веревками, одеждой и конской упряжью и подвязывали к этой незамысловатой паутине все, что могло греметь, — миски, ложки, банки из-под консервов. Надежды на эту «систему» было маловато, но все же...

К постоянному психологическому напряжению добавилась еще одна трудность — с наступлением темноты стала резко опускаться температура. Упав в изнеможении у костра, когда удавалось его разжечь, можно было согреть только грудь и руки, спина же продолжала мерзнуть из-за ужасной влажности в сельве.

Съестные запасы давно кончились. Оставался лишь йерба-мате — чай. Ранним утром Шида кричал: «Алебук, Ичико, мате!» Мы ползли к костру полусонные, давно немые, правда, еще живые, а вокруг разгорался еще один полный неизвестности день.

Скоро пришлось забыть о всякой брезгливости. Ели изредка попадавшихся броненосцев, ящериц и лягушек. Жесткое мясо однажды подстреленных цапель распределили на несколько дней. Как-то индейцы сообща поймали огромного удава. Есть его мясо сырым мы отказались. Но и в поджаренном виде змея вызывала у нас отвращение. Но вот Гариге удалось одной стрелой уложить тапира. Мясо его показалось нам настоящим деликатесом.

В нашем маленьком отряде между белыми и индейцами установилось полное доверие. Подчеркнуто уважительное отношение к индейцам Беляева, хорошее знание им их традиций и привычек, выказанная им незаурядная сила духа заставляли индейцев немедленно и с радостью выполнять все его приказания.

Через две недели пути от голода и усталости пали обе лошади. Пришлось идти пешком. Однажды Беляев, споткнувшись о корень дерева, неудачно упал и повредил ногу. Я предложил ему идти, опираясь на мое плечо, но генерал отказался — показать свою немощь значило уронить авторитет в глазах индейцев. А когда я предложил пристрелить одного из наших мулов, чтобы хоть что-то поест, Иван Тимофеевич сказал по-русски: «Индейцы будут против. Они считают мулов своими друзьями, а друзей у них есть не принято. Если мы сделаем это, то навсегда потеряем их уважение».

К концу четвертого месяца путешествия все чаще стали наступать моменты, когда разум, казалось, уже не служит человеку. Сельва давила на психику, заставляла думать, что нет никакого другого мира, кроме этого, и никакого другого цвета, кроме зеленого. Даже небо стало мне казаться зеленым! И тогда спасали воспоминания о России, о ее снегах, о блестящем Санкт-Петербурге... Неужели нам больше никогда не суждено этого увидеть?..

Стараясь сбить со следа морос, мы взяли слишком далеко на север, чем сильно удлиннили обратный путь. Одежда наша давно превратилась в лохмотья, а сами мы — в ходячих скелетов. Даже чувство опасности притупилось. Набрели на малое озерцо, кишевшее рыбой, устроили привал и пир, забыв про все предосторожности. На этот раз все обошлось. Зато копченой рыбы хватило потом надолго. Каждый день, взбираясь на пальму, я видел один и тот же однообразный зеленый ковер, лишь изредка вздыбленный холмами, и ни малейшего признака реки!

У меня начались галлюцинации: мне четырнадцать, и я на своем великолепном белом Арыме въезжаю с первым эскадронам Конно-егерского полка в только что отобранный у красных Псков. Впереди на вороном жеребце командир эскадрона барон фон Грюнвальд, за ним поручик граф Бенкендорф и ротмистр барон фон Таубе. Парад на главной площади города. Наш полк был сборным из лучших кавалерийских полков старой русской армии. Офицерами были в основном прибалтийские немцы из кавалергардов и конногвардейцев, рядовыми — казанские и крымские татары из Татарского уланского и русские из гусарских и драгунских полков.

...Вот наша атака под Гловом. Английские танки прокладывают путь. Мы несемся по глубоким танковым колеям, оставленным в жирной грязи, ориентируясь по брошенным пустым канистрам из-под солярки. Догоняем танки в деревне. Нас и англичан-водителей деревенские угощают парным молоком и черным хлебом. По обочинам дороги — трупы людей и лошадей. Я взываю к Богу о пощаде — сегодня же тридцать первое августа, мой день рождения...

Марево рассеивается. Передо мной потные спины наших индейцев, жара и сплошное зеленое безумие...

Отчаявшись в своих попытках достичь Байя-Негра, мы повернули восточнее в надежде скорее добраться до людей. Однажды наткнулись на индейскую тропу и покинутую хижину. Чимакоки сказали: это хижина морос, которые ушли примерно месяц назад.

В начале мая мы добрались-таки до низких, заболоченных мест, но брести по колено в жидкой грязи измученным людям было уже невозможно. Генерал Беляев держался из последних сил, однако ему было уже пятьдесят шесть — слишком солидный возраст для таких приключений. Однажды он упал и не смог подняться. Тогда я взвалил его на спину и потащил. Никто при этом не произнес ни слова.

Последние дни и ночи пути стали настоящим адом. Давно кончился мате, мы пили растворенные в кипятке измельченные пальмовые листья. Потом, когда вода была уже повсюду и было невозможно развести костер, наш рацион ограничился сырыми зелеными побегами пальм. Две ночи подряд мы провели сидя верхом на громадных термитниках — тукуру, сухого места больше нигде не осталось. Было жутко холодно, накрапывал дождь. Сидеть на остроконечных термитниках было неудобно, приходилось все время балансировать, чтобы не свалиться в воду, поэтому о том, чтобы уснуть, не было и речи. И только близость реки, а значит, и жилья заставляла держаться...

Мы шли вперед уже тупо и неосознанно, понимая, что в нашем положении все же лучше идти, чем лежать. Впереди брел Гарига, и глубокие следы, которые он оставлял в жидкой грязи, немедленно затягивались зеленой жижей... И вдруг в мерном чавканье наших ног краем уха я уловил какой-то давно знакомый, но ставший уже непривычным звук. Прислушался. Это был лай собаки. Там люди! Там тепло!

Генерал выхватил свой маузер и выстрелил в воздух. Через несколько секунд, показавшихся нам вечностью, прозвучал ответный выстрел. Все. Дошли.

Парагвайский патруль, встретивший в лесу подозрительных, заросших бородами оборванцев, долго не выпускал из рук оружия — мало ли что? Потом солдаты все не могли взять в толк, что мы участники «потерянной» экспедиции: в аргентинских газетах прошла информация, что боливийцы нашли в Чако труп генерала Беляева.

Альфредо Рамос, в ту пору капитан, вышедший из Байя-Негра на пароходе, чтобы встретить путешественников, вспоминал: «Они были похожи на ходячие скелеты, но чувствовалось, что от них исходит восхитительная эмоциональная и моральная сила. Верилось, что все те трудности и лишения, которые довелось испытать великим первооткрывателям Америки, в полной мере выпали на долю участников этой экспедиции, сопряженной с огромной опасностью. Худые, изможденные, с глубоко запавшими глазами, страдающие от приступов малярии, люди светились радостью победы и осознанием выполненного долга. В них чувствовались огромная сила воли, цельность характеров, даже недюжинная физическая сила. Мое восхищение генералом Беляевым не знало границ: ведь этому сеньору было не двадцать, и даже не сорок лет. Ему шел шестой десяток!»

— В фортине Хенераль Диас, куда нас доставили, — рассказывал Александр Георгиевич, — мы наслаждались горячим молоком и жесткими галетами. Надо было пройти через те лишения, через которые довелось пройти нам, чтобы получать удовольствие от самых обычных вещей. Чем больше рискуешь жизнью — тем больше ценишь ее. Я тут же побрился, переоделся, и когда вышел к индейцам, они не узнали меня. Наши верные спутники, с которыми мы успели сродниться за долгие месяцы скитаний, теперь возвращались в племя. Индейцы звали меня с собой. «Киане ждет тебя», — уверяли они. Я и сам горел желанием увидеться со своей прекрасной дамой. Но должен был сначала ехать с генералом Беляевым в Асунсьон для доклада в министерстве.

На следующий день покорители Чако — это мы с Беляевым — отправились в сопровождении парагвайского сержанта в фортин Олимпо по реке Парагвай — еще сто километров, но это уже была прогулка. Встречать нас вышла целая флотилия лодок и каноэ. С них раздавались крики: «Вива эль хенераль Белайефф!», «Вива Русиа!». Прямо на каноэ нас, как героев, провезли по улицам-каналам этой маленькой парагвайской Венеции, и везде крики «вива!» и улыбающиеся лица парагвайцев. А перед лучшим — двухэтажным! — отелем духовой оркестр исполнил в нашу честь парагвайскую польку и гимн «Боже, царя храни».

Речи, рукопожатия, представления, поклоны... От дружеских хлопываний по спине в конце дня горели лопатки. В отеле на

роскошном обеде Беляев впервые появился в форме парагвайского генерала, а мне выдали английский пробковый шлем и тропический костюм цвета хаки. После обеда были танцы, и я буквально потерял голову, вальсируя с весьма привлекательными офицерскими дочками...

Через неделю в Пуэрто-Касадо, откуда начиналась наша экспедиция, мы встретились с живыми и здоровыми Орефьевым-Серебряковым и лейтенантом Сагиером. Я спросил Серебрякова о Киане. Василий сказал, что по пути у них проблем не было, Киане, должно быть, уже давно в своем становище. И я со спокойной душой продолжал развлекаться в Асунсьоне.

В столице Беляев сделал доклад министру обороны и получил благодарность. Военный министр сообщил, что боливийцы объявили награду за голову генерала Беляева — десять тысяч английских фунтов. О нашей экспедиции в Чако Бореаль много писали газеты...

В самый разгар войны, в августе тридцать третьего года, когда после тяжелого ранения под Пуэсто-Навидад я возвращался в полк, на сто сорок пятом километре железной дороги Пуэрто-Касадо я встретил касика Богора с его многочисленной семьей — нашего давнего с генералом Беляевым друга. Он-то и рассказал мне, что наши спутники в путешествии к Питиантуте — Гарига и Кимаха, расставшись с нами в фортине Хенераль Диас, так и не добрались до своего племени. Они погибли от стрел морос, которые все время шли за нами по пятам и только дожидались момента, чтобы ушли белые люди. Погибла и Киане. Морос устроили засаду ее племени, когда оно было рядом со своими хижинами. Вот так.

Когда я умру — а ждать уже недолго, — пусть меня похоронят у Питиантуты, там, где я первым ступил на неизвестную землю, где на всю жизнь поразили меня глаза моей бедной Киане...

* * *

Ну что тут добавишь? Пусть подведет итог официальное лицо. «Чако перестало быть загадкой, — заявил на Первом конгрессе Панамериканского института географии и истории, состоявшемся в декабре 1932 года в Рио-де-Жанейро, делегат Парагвая Л. Рамос Хименес. — И это благодаря отважному русскому ученому, которому Парагвай обязан очень многим». В своем выступлении Хименес отметил выдающиеся заслуги Беляева как картографа, биолога и климатолога, впервые составившего комплексное описание целого географического района. Высоко были оценены этнографические исследования Ивана Тимофеевича как «постоян-

ный источник информации для всех, кто будет в дальнейшем заниматься историей этого края».

Путешествовавший по Чако в конце 1950-х годов испанский этнограф Э. Хименес Кабальеро нашел в одной из хижин карту племен Чако, составленную Беляевым от руки. Она поразила его своей точностью и информативностью. Но было в ней что-то необычное. «Присмотревшись, — пишет этот автор, — я заметил, что латинские буквы очень напоминали кириллицу». Испанец сравнил Беляева с выдающимся бразильским путешественником, исследователем Амазонки и защитником индейцев полковником К. Рондоном. Заслуги Рондона были признаны правительством Бразилии. Его имя носит штат на севере страны.

Не будем дожидаться, когда заслуги генерала Беляева получат хотя бы часть такого признания от парагвайского правительства, и перевернем страницу.





Глава четвертая

ОПЯТЬ ВОЙНА

На испытанном луке дрожит тетива,
И все шепчет и шепчет сверкающий меч.
Он, безумный, еще не забыл острова,
Голубые моря нескончаемых сеч.

Николай Гумилев

Нет, водить машину в парагвайской столице — гиблое дело. Сколько раз уже я пожалел о тех благословенных временах, когда в Асунсьоне насчитывалось всего пять авто. Правила здесь заменяет «чутье», и если в хаотичном потоке машин ты не смог вовремя перехватить упреждающий взгляд несущегося наперерез в каком-нибудь крутом «паджеро» местного жителя — горе тебе! Зато как радостно живым и невредимым добраться наконец до желанной цели.

Перед нами православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный на деньги русских эмигрантов по проекту инженера Угодского в 1932 году. Белоснежное здание с ярко-голубыми луковичными куполами среди парагвайской экзотики производит сильное впечатление.

Зайдем. По большей части пустующий — служба бывает лишь раз в месяц, когда священник приезжает из Буэнос-Айреса, — небольшой храм отзывается каждому, кто входит в него. Гулкие шаги по мраморному полу и чуть слышное потрескивание свечей, кажется, только усиливают всепоглощающую тишину. Какой контраст с суетой и гамом соседних улиц!

В полумраке просматриваются лики старинных русских полковых икон. Сколько же довелось повидать им, прежде чем осесть здесь, на краю земли! А вот пламя свечи отразилось на мраморе мемориальных досок, развешанных по стенам. Надписи на русском, по старой орфографии, дублируются внизу на испанском. Читаем: «Василий Федорович Орефьев-Серебряков. Есаул Донского казачьего войска. Убит 2 сентября 1932 года под Бокероном»; «Борис Павлович Касьянов. Ротмистр Лейб-драгунского Е.И.В. государыни императрицы Марии Федоровны полка. Родился 5 сентября 1892 года в Санкт-Петербурге. Убит 16 февраля 1933 года под Сааведрой»; «Сергей Сергеевич Салазкин. Ротмистр Текинского конного полка. Родился 1 декабря 1892 года в Киеве. Убит 30 октября 1933 года под Нанавой»; «Николай Гольдшмидт. Штабс-капитан 1-го пехотного генерала Маркова полка. Родился

5 мая 1895 года в Москве. Убит 22 мая 1934 года в Каньяда Стронгест»; «Василий Павлович Малютин. Хорунжий 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска. Родился 1 февраля 1900 года в Майкопе. Убит 22 сентября 1933 года под Посо-Фаворито»; «Виктор Корнилович. Подполковник 2-го лейб-гусарского Павлоградского императора Александра III полка. Смертельно ранен 29 мая 1934 года под Капиренда».

А вот, сразу же справа от входа, еще одна доска. Надпись по-испански: «Хуан Тимофеевич Белайефф. Дивизионный генерал. Скончался 19 января 1957 года». Сбоку в круглой рамочке под стеклом Георгиевский крест, заработанный Беляевым в боях в Карпатах.

Православная церковь — понятное дело, а что бы вы почувствовали, оказавшись в Асунсьоне, например, на улице Бутлерова? А ведь в парагвайской столице еще 14 улиц носят русские имена.

В этой главе я хочу рассказать об участии Ивана Тимофеевича Беляева и его товарищей в Чакской войне 1932—1935 годов, в которой им удалось отстоять честь, свободу и независимость Парагвая.

* * *

О роли нефти в развязывании Чакской войны — самой кровавой в истории Южной Америки, мы знаем. Теперь пора сказать и об эмоциях. Ведь, как свидетельствует обширная историческая практика, одного территориального спора, пусть даже с присутствием на спорной местности залежей ценного углеводородного сырья, бывает недостаточно. Для того чтобы спор перерос в драку, должен быть человеческий фактор. Нужен подогрев.

5 марта 1931 года к власти в Боливии пришел Даниэль Саламанка, по сегодняшним понятиям, классический популист, который рьяно добивался у боливийцев репутации «своего в доску парня». Саламанка, или «человек-символ», как прозвали его окружающие, сразу стал активно спекулировать на бедах Боливии, потерявшей в 1884 году в результате войны с Чили выход к Тихому океану. Как и бывший ефрейтор, шумевший примерно в то же время в баварских пивных, Саламанка призывал к восстановлению «исторической справедливости» за счет соседа, дабы укрепить национальный дух. «В нашей истории были и позор и катастрофы, — кричал он с высоких трибун, — но мы не допустим, чтобы даже Парагвай пытался нас унижить. Нужно восстановить престиж Боливии в глазах всего мира!»

Мировой экономический кризис, разразившийся в те годы, больно ударил по Латинской Америке. Доходы Боливии от экспорта традиционного сырья — олова — резко упали. Саламанке

нужно было срочно выправлять положение. Перспективы обещанного экономического чуда он, недолго думая, связал с добычей нефти в Чако и ее транспортировкой через территорию Парагвая. «Сооружение нефтепровода к реке Парагвай, — пытался внушить он малоискушенным в политике боливийцам, — было бы для нас естественным логическим выходом. Но этому препятствует Парагвай, который оспаривает наши территориальные владения. Боливия не может примириться с жалкой участью страны, изолированной от мира». При этом он пространно рассуждал о неких магических силах, которые, мол, просто обязывают Боливию следовать по предначертанному ей пути, прозрачно намекая на то, что и сам он — посланец Провидения.

Соблазн был велик. Войны желали. Известный боливийский историк и публицист Хуан Овандо вспоминал, что однажды в Ла-Пасе была даже организована демонстрация с требованием объявления войны. В ней участвовали дамы из высшего общества. Вырядившись в самые дорогие наряды, они шли, безостановочно скандируя: «Парагвай — в пепел!» Заборы, ворота, стены домов были сплошь покрыты надписями «Долой Парагвай!» и «Вива Боливия!».

Саламанка мог стать пожизненным президентом, стоило только ему отыгаться на ком-нибудь за национальное унижение, захватить территории, богатые нефтью, и получить канал для ее транспортировки к Атлантике. Да и дело-то, казалось, несложное — победить Парагвай. С учетом военного потенциала, накопленного Боливией к 1932 году, поход в Чако рассматривался в Ла-Пасе как увеселительная прогулка. Но были ли для этого достаточные основания?

Латиноамериканские дипломаты той поры вспоминали, как на одном из приемов в Вашингтоне знаменитый генерал Дж. Першинг, командовавший американским экспедиционным корпусом в Европе в годы Первой мировой войны, сказал, обращаясь к послу Боливии Диасу де Медине:

— Когда я слышу о военных приготовлениях вашей страны, то опасаясь за судьбу Северной Америки.

Шутка, скорее всего. На фоне армий великих держав армии латиноамериканских стран, даже крупнейших из них, всегда выглядели (не в обиду им будь сказано) как опереточные.

Но в начале 1930-х годов в Южной Америке складывалась принципиально новая ситуация, которая в некоторых чертах напоминала положение в Европе. Армия Германии до 1936 года тоже была, по сути дела, опереточной. Гитлер, ликвидируя демилитаризованную Рейнскую зону, так разнервничался по поводу возможных репрессий со стороны Франции и Англии, что в случае неудачи собирался покончить с собой...

Дело, очевидно, не только в уровне вооружений, но в большей степени в динамике развития армии, а главное — в наличии или отсутствии агрессивного духа, который не дает отцам нации расслабиться, толкает их на все новые и новые «подвиги».

Наверное, в шутке Першинга все же была изрядная доля истины, поскольку многоопытный генерал думал с расчетом на перспективу.

«На займы, полученные от американских банкиров в 1927 году, — писал американский историк Брюс Вуд, — Боливия смогла закупить в США большое количество оружия и военных материалов. Несмотря на то что за два года до начала войны Боливия прекратила выплату процентов по этим займам, выполнение ее заказов на оружие в США не прекращалось ни на один день». Выступая в мае 1934 года на заседании Конгресса США, сенатор Хью Лонг прямо заявил: «В развязывании войны...была виновата «Стандарт ойл компани», имеющая штаб-квартиру в Соединенных Штатах, и интересы ее филиалов». Специальное разбирательство в Конгрессе, проведенное в марте 1936 года, подтвердило эти слова. Убийство сенатора на ступенях Капитолия, оставшееся нераскрытым, связывалось многими с его разоблачениями.

За пять лет, предшествовавших началу широкомасштабных боевых действий в Чако, военный бюджет Боливии в три раза превосходил парагвайский. В 1932 году против 60 военных самолетов Боливии Парагвай мог выставить лишь 17 устаревших моделей. Под ружьем в боливийской армии было 120 тысяч человек, в то время как у Парагвая в четыре раза меньше. У парагвайцев полностью отсутствовали танки и огнеметы, имевшиеся у боливийцев. Соотношение между Боливией и Парагваем по количеству крупнокалиберных пулеметов было 5,7 : 1, автоматического стрелкового оружия — 2,3 : 1, винтовок — 4 : 1. В целом же, по данным генштаба парагвайской армии, насыщенность армии вооружением и техникой составляла к началу военных действий примерно одну пятую от боливийской.

Парагвай долгое время практически не имел постоянной армии. «Парагвай имеет у себя несколько генералов, которые уцелели после погрома Лопеса, и несколько офицеров, одетых щеголевато. Существует даже военная школа, — отмечал в 1890 году русский путешественник А.С. Ионин, — но солдат я не видал; по закону существует их полбатальона и эскадрон кавалерии, но на деле их нет или же они обращены в полицейских служителей».

В начале 20-х годов XX столетия то, что могло бы называться парагвайской армией, насчитывало всего около 5 тысяч человек. Трудно было ожидать чего-то иного от страны, население которой еще не достигло миллиона. Отдельных полков не существовало. Вся пехота была сведена в четыре трехротных батальона, ка-

валерия — в четыре самостоятельных эскадрона. Кроме того, имелись две полевые батареи, жандармский эскадрон, саперная рота и специальные части: радиостанция и виртуальный авиационный парк, а вернее, надежда, что в недалеком будущем появятся самолеты и летчики. Флот состоял из двух канонерских лодок и нескольких вооруженных катеров. На всю эту, с позволения сказать, армию приходились один генерал и четыре полковника, постигшие премудрость военных наук в иностранных военных школах. Воинские части размещались в четырех городах республики — Энкарнасьоне, Консепсьоне, Вилья-Рике и Парагуари. В столице — Асунсьоне — находились военная школа, гардемаринские классы для флота и гвардейский эскадрон охраны президента.

Первые крупные столкновения с боливийцами в конце 1920-х годов выявили полумилицейский характер парагвайской армии. Солдатам, как в худшие дни войны против «Тройственного союза», приходилось воевать мачете и дреколъем. Одна устаревшая винтовка «Маузер» аргентинского производства приходилась на семь человек.

Влиятельная чилийская газета «Эль Меркурио» писала в декабре 1928 года: «Парагвай абсолютно не заинтересован в войне. Что же касается Боливии, то, судя по упорству продвижения на парагвайскую территорию, темпам вооружения, количеству приглашенных немецких инструкторов, прогрессу в деле развития военной авиации и созданию в Чако густой сети опорных пунктов, выдающей наличие захватнических планов, заинтересованность в войне ее правителей не вызывает сомнений».

В 1929 году в Парагвае наконец приступили к коренной реорганизации вооруженных сил. Были созданы пехотные и кавалерийские полки на регулярной основе, которые затем составили 1-ю пехотную дивизию. В 1931 году началась подготовка к формированию 2-й и 3-й дивизий. К 1932 году в рядах вооруженных сил Парагвая служили уже два генерала, 49 старших офицеров и 275 офицеров среднего и низшего звена. И всю эту армейскую «силищу» числом до семи тысяч человек (с учетом развертывания в случае мобилизации до 20—25 тысяч) предстояло накормить, одеть, обуть и вооружить.

Боливийская армия перед войной — на июнь 1932 года — состояла из семи дивизий и насчитывала свыше 10 тысяч человек. Однако мобилизационные возможности Боливии были почти вдвое выше парагвайских: по численности и демографическому составу население Парагвая относилось к населению Боливии как 1:3 — продолжали сказываться последствия войны с «Тройственным союзом».

Колоссальная разница между двумя странами заключалась еще и в том, что Боливия — любимое дитя «Стандарт ойл», начиная с 1927 года пользовалась открытыми для нее кредитными линиями

для закупки вооружений — самолетов, танков, гаубиц и крупнокалиберных пулеметов. Даже обмундирование Боливия получала американское, оставшееся на складах после Первой мировой войны. Нищий же Парагвай, предоставленный самому себе, был вынужден экономить на всем.

Парагвайские закупки ограничивались стрелковым оружием, легкими пулеметами «Мадсен» датского производства и легкими минометами «Стокс-Брандт» (три единицы по цене одного полевого орудия). Снаряды и мины во время войны доставлялись контрабандой из соседней Аргентины. Ручные гранаты и патроны Парагвай делал сам.

Попытка в целях экономии унифицировать двигатели десяти самолетов-разведчиков «Потез» и семи истребителей «Вибо», которые вполне могли бы стать гордостью любого археологического музея, окончилась плачевно: к началу войны Парагвай остался практически без истребителей.

Правда, непосредственно перед войной были закуплены две речные канонерские лодки — «Парагвай» и «Умайта», построенные в Италии, но это сразу же вызвало энергичные протесты Боливии. Речные суда сыграли потом большую роль в обеспечении коммуникаций армии в Чако. Во Франции незадолго перед войной Парагвай приобрел 20 гаубиц «Шнейдер» калибром 105 мм, сумев выравнять соотношение сил с Боливией по количеству артиллерийских систем. Но парагвайские гаубицы опять же в целях экономии были приобретены без механической тяги, средств связи и наблюдения. Иван Тимофеевич Беляев — генерал-инспектор парагвайской артиллерии в 1932—1933 годах, вспоминал, что в ходе военных действий связь между батареями приходилось поддерживать через посыльных на лошадях, а за результатами стрельбы следить визуально, в редком случае — с помощью самолета-разведчика.

Своим главным козырем в предстоящей схватке Саламанка считал генерала Кундта, который с 1911 года вместе с другими немецкими советниками занимался усиленной муштровкой боливийских солдат.

Ганс Кундт родился в Мекленбурге в 1869 году. С 1896 по 1899 год он учился в Военной академии генерального штаба германской армии, осваивая стратегию и русский язык. После этого служил в генштабе и в министерстве обороны.

В Боливии, куда он попал военным советником, Кундт запомнился своей доходящей до абсурда пунктуальностью, пристрастием к жесткой дисциплине и муштре. Знаменитой стала его фраза: «Тот, кто является раньше времени — плохой солдат, тот, кто является позже — совсем не солдат, солдат лишь тот, кто приходит вовремя».

В 1914—1918 годах майор Кундт воевал на польском и галицийском фронтах против русских, находясь при штабе генерала Макензена. В боях за Лодзь и Ригу он был командиром 24-го пехотного пол-

ка, затем 1-го гренадерского полка императорской гвардии и 40-й пехотной бригады. В 1920 году, после капповского путча*, генерал Кундт вернулся в Боливию. Он получил боливийское гражданство и должность начальника генштаба боливийской армии. Генерал настойчиво добивался перевооружения армии, открытия новых военно-учебных заведений, привития войскам прусского милитаристского духа и прусских военных традиций. И немало в том преуспел.

Боливия скоро стала весьма популярна среди немецких офицеров, зачистивших в Ла-Пас. В 1928 году военным советником там вместе с Кундтом работал не кто иной, как будущий глава немецких штурмовиков Эрнст Рем. Рем служил в боливийской армии до 1930 года, участвовал в конфликте с парагвайцами у фортина Вангардиа. Однако пребывание Кундта и Рема в Боливии было далеко не всегда приятным.

В январе 1929 года в аргентинском порту Росарио было задержано немецкое судно «Шенваль» с контрабандным грузом оружия для Боливии, что вызвало серьезный дипломатический скандал. После этого имя немецкого генерала Кундта стало тесно увязываться в прессе с подготовкой нападения Боливии на Парагвай. Кундт прославился и как жестокий усмиритель восстания жителей департамента Санта-Крус против центрального правительства. А его попытка жестоко подавить восстание против президента Силеса в 1930 году закончилась плачевно — Кундт вынужден был попросить убежища в германском консульстве в Ла-Пасе.

Эрнста Рема тоже выдворили из Боливии. После 1930 года он по просьбе Гитлера вернулся в Германию, однако сохранил связи с сотрудниками боливийского посольства и многими высокопоставленными боливийскими военными.

В Боливию Ганса Кундта в декабре 1932 года, уже после начала военных действий против Парагвая, вернул Саламанка, заплатив ему за услуги советника 600 миллионов золотых марок. Кундт не сомневался в победе над Парагваем, как не сомневались в ней еще 120 наемников, которых он — на всякий случай — прихватил с собой из Германии. В основу его плана была положена наступательная тактика, ибо обороны мекленбуржцев не признавал. «Для меня проблема Чако имеет только одно решение, военное, — заявил генерал по прибытии в Ла-Пас. — Парагвайский солдат — это совсем не солдат, а с тремя тысячами боливийцев я запросто возьму Асунсьон!» Вот с таким противником парагвайцам предстояло скрестить шпаги уже в ближайшее время.

И еще. Попав в достаточно сложную международную ситуацию, Парагвай оказался практически без международной поддер-

* Попытка переворота в Германии, предпринятая монархистами и милитаристами во главе с крупным землевладельцем В. Каппом, генералами Э. Людендорфом и В. Лютвицем.

жки. Американская «Стандарт ойл» явно благоволила Ла-Пасу в расчете на новые нефтяные концессии, поэтому даже после того, как Лига Наций уже в ходе войны объявила эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам, Вашингтон продолжал поставлять оружие в Боливию.

На стороне своего бывшего противника — Боливии, выступила Чили. Непонятно, чем руководствовался президент Чили Артуро Алессанри Пальма, считая, что, обкорнав Парагвай, Саламанка, Кундт и компания на этом успокоятся и не попытаются вернуть себе вожделенный выход к Тихому океану. У «своих в доску парней» аппетит ведь, как известно, приходит во время еды.

Боливия в ходе войны свободно получала купленное ею оружие через чилийский порт Арика, а начиная с 1934 года в ряды боливийской армии с разрешения своего правительства стали вступать чилийские офицеры-наемники. К концу войны их там насчитывалось свыше ста человек. Основным мотивом наемничества был, конечно, материальный, поскольку условия контракта, которые предлагала Боливия, не оставляли желать ничего лучшего в кризисные для экономики Чили годы.

Итак, ждать помощи Парагваю, казалось, было неоткуда. И вот грянула война. Обнаружив с воздуха парагвайское укрепление в Питиантуте (казарма и пара сараев), боливийцы решили, что легко захватят его. 15 июня 1932 года ранним утром их отряд из двадцати восьми человек с криком «Вива Боливиа!» обрушился на пятерых парагвайцев во главе с капралом Талаверой. Парагвайцы в это время мирно завтракали под сенью пальм. Победа была полная. Капрал Талавера был убит, а «гарнизон» разбежался.

Однако лагуна, открытая Беляевым и его товарищами, недолго оставалась в руках неприятеля. Уже через месяц, 16 июля, парагвайский отряд под командой капитана Паласиоса и верные Парагваю индейцы отвоевали Питиантуту. Беляев был проводником отряда — ему вновь пришлось преодолеть пройденный когда-то с такими лишениями путь. Без его участия смелому, но еще не нюхавшему пороху капитану вряд ли удалось бы с ходу отвоевать фортин.

В конце июля боливийцы захватили один за другим фортины Корралес, Толедо и Бокерон, основанные парагвайцами в центральной части Чако. Что представлял собой классический парагвайский фортин тех времен? Учитывая, что Бокерон, например, защищала рота солдат с тремя легкими пулеметами, назвать его крепостью было нельзя. А на парагвайцев в Бокероне обрушился полк боливийской пехоты (550 человек), поддержанный авиацией и артиллерией.

Перенос Боливией военных действий в центр Чако, туда, где давно уже де-факто утвердился Парагвай, оказался неожиданностью. Это означало, что Боливия от тактики «мирного проникно-

вения» перешла к тактике «достижения победы в полномасштабной войне». Определилось и направление главного удара боливийцев — к реке Парагвай, и его цель — осада городов Консепсьона и Асунсьона.

28 июля 1932 года президент Парагвая Патрисио Гуджиари объявил всеобщую мобилизацию. Под ружье планировалось поставить до 25 тысяч человек. А пока все наличные силы собирались под Бокерон. Туда же поспешил и Беляев.

При взятии назад Питиантуты я остался там для организации обороны на случай возможного ответа боливийцев. Вскоре весь наш отряд, в том числе и я, стал жертвой малярии, занесенной противником. Никаких медикаментов у нас не было, патрулирование вели те, у кого в данный момент не было приступа. В сущности, это оказалось совершенно напрасно, так как боливийцы обрушились на главный фронт. Кое-как оправившись от очередного приступа, я сел на коня и в пять переходов, по 30 километров каждый, достиг железной дороги Касадо. Следом за мной шли четверо индейцев. После дневного перехода я расседлывал коня и падал без чувств до следующего утра, когда был в силах вновь на него взгромоздиться. Температура доходила до сорока. К счастью, индейцы окружали меня своими неустанными заботами. На железной дороге я был погружен в вагон, снабжен целым ящиком хины (другой был отправлен мной в Питиантуту) и в таком виде прибыл в Пуэрто-Касадо. Там заботами врачей я в восемь дней был поставлен на ноги и тотчас вновь уехал в расположение командующего под Бокероном.

А до этого в Асунсьоне произошло одно важное событие, которое серьезно повлияло на ход войны. В один из августовских дней в доме поручика Всеволода Канонникова собрались два десятка офицеров — осколок «Лебединого стана», заброшенный волею судеб и генерала Беляева на берега реки Парагвай. Сам Канонников, председательствовавший на правах хозяина дома, прибыл с семьей из Монтевидео относительно недавно, но уже вынашивал планы организовать в Парагвае речную судоходную кампанию. Большинство остальных успели обзавестись собственным небольшим бизнесом, работали инженерами, как Василий Орефьев-Серебряков или Борис Касьянов, агрономами, как Георгий Бутлеров, простыми рабочими, как Владимир Срывалин, преподавателями в Военной школе, как Николай Эрн и братья Игорь и Леон Оранжеевы. Слово взял Николай Корсаков: «Вот уже двенадцать лет прошло с тех пор, как потеряли мы Россию, и двенадцать лет, как не нюхали мы пороха. Парагвай принял нас с теплотой и любовью, но сегодня для него наступили трудные дни. Чего же мы ждем? Ведь Парагвай — наша вторая родина, она нуждается в защите, а все мы — офицеры».

На следующий день все русские офицеры во главе с генералом Эрном отправились к командующему, генералу Мануэлю Рохасу. Он тепло принял их и сказал, что Парагваю позарез нужны образованные и культурные люди, имеющие военный опыт. Русские были зачислены добровольцами в действующую парагвайскую армию с сохранением прежних званий.

В середине сентября под Бокерон отправились Орефьев-Себряков, Касьянов, Корсаков, Салазкин, Ходолей, фон Экштейн-Дмитриев, Бутлеров, Дедов, Малютин, Шекин и Таранченко. Всего же в годы войны 1932—1935 годов в рядах парагвайской армии в Чако воевали 46 бывших русских офицеров.

К этому времени боливийцы сумели хорошо укрепить фортин и довели численность его гарнизона до двух тысяч человек. Бокерон открывал им путь к железной дороге Касадо и реке Парагвай, позволял изолировать парагвайский укрепрайон в Исла-Пои и угрожать городу Конселсьон. Комендант Бокерона, подполковник Марсана, был преисполнен решимости удерживать фортин до подхода главных боливийских сил. Осада Бокерона продолжалась 21 день.

Поначалу дела у парагвайцев явно не клеились. Несмотря на достигнутое численное превосходство (под Бокероном собрались 1-я и 2-я дивизии в составе 1-го армейского корпуса — всего до пяти тысяч человек), первый штурм 9 сентября, а потом и два других, в октябре, боливийцы отбили. Командир корпуса, подполковник Хосе Феликс Эстигаррибия, объяснил неудачу плохой обученностью недавно призванных солдат. В самом деле, задуманный им охват по флангу сорвался только потому, что солдаты одной из наступавших колонн поспешили заорать «Вива Парагвай!» и тем самым демаскировали себя в виду неприятеля.

Утром 9 сентября 1932 года произошел *первый воздушный бой в истории Американского континента*. Парагвайский сокол лейтенант Эмилио Рочолль, поднявшись в воздух на своем «Вибо», встретился над Бокероном с двумя боливийскими самолетами-разведчиками «Виккерс».

И тут — так не вовремя! — заглох его антикварный мотор «Лорен-Дитрих» с нелепым для чакских условий водяным охлаждением. Пришлось изрешеченную боливийцами половину всей действующей парагвайской истребительной авиации сажать на брюхо и списывать как не подлежащую восстановлению.

Но чем дальше, тем больше война утрачивала опереточный характер. Осада Бокерона стала дорого обходиться обеим сторонам, главным образом из-за отсутствия воды. Жажда мучила и боливийцев, которые поднимали над головой полотнища с надписью «Воды!» в расчете на острое зрение своих пилотов, и парагвайцев, для которых воду приходилось возить в цистернах из Исла-Пои. Но если учесть, что грузовиков было всего два...

Вода — вот фактор, который, несмотря на все старания Беляева, недоучли парагвайцы и совсем не учли боливийцы. Их крупнокалиберные пулеметы с водяным охлаждением оказались бесполезными в чакской парилке, в то время как более легкие парагвайские пулеметы с воздушным охлаждением строчили себе и строчили.

С людьми дела обстояли хуже. Командир парагвайской 1-й пехотной дивизии майор Карлос Хосе Фернандес вспоминал, как всю дорогу от Исла-Пои бежали за цистернами с водой дикие звери в надежде, что плеснет живительная влага на повороте, как сходили с ума от жажды люди, как пили мочу, как офицеры самыми жесткими мерами наводили порядок всякий раз, когда прибывала заветная цистерна. Командование тревожили не столько постоянные вылазки боливийцев, сколько то, что солдаты оставляли позиции, спеша навстречу грузовикам с водой. Однажды передовую покинуло больше половины личного состава.

Еще больше страдали осажденные, которым приходилось рассчитывать на один полузасыпанный песком колодец и весьма нерегулярное снабжение водой с воздуха. По свидетельству боливийского журналиста Р. Сетаро, среди защитников Бокерона можно было встретить падавших от истощения, не узнававших друг друга людей. Солдаты варили кожу, кости и копыта животных в кишашей червями воде и надеялись — надеялись на прорыв блокады или ослабление боевого порыва парагвайцев.

14 сентября прибывший под Бокерон Беляев был назначен генерал-инспектором артиллерии 1-го армейского корпуса.

Я попытался убедить командующего дать мне несколько орудий с 500 снарядами и телефоном, ручаясь разбить укрепление за два часа, как делал это в Великую войну. О том же неизменно старались и прочие русские офицеры. Но я встретил совершенно непонятное, тупое сопротивление и единственно, чем мог быть полезен — это случайно вырывать инициативу на короткий момент.

Беляеву удалось частично наладить контроль за результатами стрельб с помощью визуальных средств и редких вылетов самолета-разведчика. Но самоубийственной осаде, казалось, не будет конца. Новый штурм стал неизбежен, когда выяснилось, что источник в Исла-Пои близок к истощению. Штурм был назначен на конец октября. Третий батальон второго полка 1-й пехотной дивизии, командовать которым было поручено капитану Орефьеву, должен был атаковать боливийцев утром 28 октября.

Орефьева-Серебрякова я видел дважды под Бокероном, где его бесстрашие вызывало всеобщий восторг. Он учил солдат не кланяться пулям. Однажды на моих глазах пуля пробила ему фуражку.

Василий Орефьев-Серебряков происходил из казаков Арчалинской области Войска Донского. В Первую мировую войну до-

служился до есаула. Воевал в рядах вооруженных сил Юга России, после эвакуации попал в Югославию, потом в Парагвай.

Утром 28 октября, не найдя противника в указанном месте, капитан Орефьев явился на командный пункт дивизии и попросил командира полка майора Роса Вера уточнить отданный приказ. «Майор Вера был взбешен и высказал Орефьеву несколько нелюбимых вещей, — рассказывал комдив Фернандес, — самой обидной из которых было обвинение в трусости. Тогда русский капитан обратился ко мне, сказав, что он — участник мировой войны, привык получать четкие и конкретные приказы, и попросил меня отдать ему такой приказ, чтобы он смог его выполнить или передать командование батальоном другому офицеру. Вскоре выяснилось, что Орефьев, еще неважно говоривший по-испански, просто неправильно понял отданное ему вначале приказание. Я подробно объяснил задачу его батальона, но брошенный сгоряча упрек в трусости, очевидно, сильно подействовал на него. Капитан тут же бросился к своему батальону.

Дальше произошло то, чего никто из бывших в то утро на поле боя — ни парагвайцы, ни боливийцы — не сможет забыть до конца своих дней. Орефьев приказал своим солдатам покинуть окопы, построиться в цепи и примкнуть штыки. Выйдя вперед с обнаженной саблей, он, как на параде, повел людей на укрепления, не замечая свиста пуль. Завороженные этой картиной, остальные солдаты высовывались из-за заграждений, чтобы лучше видеть эту горстку отважных и их удивительное презрение к смерти. Восшедшее солнце играло бликами на остриях штыков и рисовало золотые нимбы над головами храбрых парагвайцев, в торжественном молчании чеканивших шаг за своим капитаном. Враг, потрясенный их мужеством, на некоторое время даже прекратил огонь, и призывы Орефьева: «Вперед, на Бокерон! Вива Парагвай!» — прозвучали в полной тишине...

Когда до передового укрепления оставалось лишь несколько метров, Орефьев командовал: «В атаку!» Но в этот момент боливийцы, очевидно, пришли в себя и открыли шквальный огонь. Одним из первых пал доблестный русский капитан.

Когда героя принесли на командный пункт, его последними словами были: «Я выполнил приказ. Прекрасный день, чтобы умереть!»

«О, командир! — писал в дневнике лейтенант 3-го батальона Каталди. — Мы всегда будем помнить твое величие, самоотверженность и преданность нашей бедной, но героической стране. Ты хотел видеть ее торжествующей, строящей великое мирное будущее. Спи с миром. Имя твое вписано в нашу историю».

Так погиб первый из русских добровольцев, пошедших на Чакскую войну. Капитан Орефьев-Серебряков был похоронен со все-

ми почестями в Исла-Пои. Потом гроб его был перенесен в Асунсьон, на кладбище Реколета. В ноябре 1932 года именем Орефьева-Серебрякова был назван бывший боливийский фортин Хайкубас, расположенный к северо-западу от Бокерона, и улица в парагвайской столице.

«Психическая атака» парагвайцев имела успех. На следующий день, 29 октября, подполковник Марсана выбросил белый флаг. Бокерон сдался. В плен попало свыше 800 боливийцев. И немалую роль в этом сыграла атака батальона Орефьева, словившая волю к сопротивлению боливийского гарнизона. Но еще большее влияние она оказала на моральный дух парагвайских солдат. Они увидели, что русские, пришедшие на помощь в трудную минуту, готовы отдать жизнь за свободу и независимость Парагвая.

Вслед за Бокероном в ноябре 1932 года парагвайцы сумели освободить и другие укрепления, захваченные Боливией в центре Чако, — Толедо, Корралес, Фалькон и Рамирес, занять фортины Арсе, Алиуата и Платанильос, до войны принадлежавшие Боливии. Первая, элитная, дивизия парагвайской армии, получившая после Бокерона название Железной, сконцентрировалась южнее, в лесистой местности района Кампо-Хордан, напротив сильно укрепленного боливийского форта Сааведра. Занятие Сааведры открывало выход к реке Пилькомайо и давало надежду на быстрое завершение войны.

Если взятие Питиантуты означало двадцать пять процентов общего успеха, то Бокерон — уже пятьдесят. И лишь ряд последующих ошибок затянул войну на два года.

Основной ошибкой генерал Беляев, постоянно находившийся в расположении главных сил, считал медлительность парагвайцев. Полковник Эстигаррибия не спешил развить успех. Он позволил боливийским частям свободно отойти к Сааведре. «Эстигаррибия не принимал доводов подчиненных, а меня хоть и выслушивал, но в большинстве случаев безрезультатно», — с горечью вынужден был констатировать Иван Тимофеевич. В результате была утрачена стратегическая инициатива и допущена неверная оценка состояния противника.

Выработке внятной стратегии парагвайцев не способствовал и раздрай в верховном командовании. Эстигаррибия, сосредоточивший в своих руках оперативное управление войсками в Чако, не мог рассчитывать на поддержку главнокомандующего генерала Рохаса, остававшегося в Асунсьоне. Уже серьезно больной, генерал Рохас с самого начала не разделял убежденности молодых офицеров в необходимости развертывания военных действий в Чако, вдали от реки Парагвай, хотя на этом еще в 1925 году настаивал генерал Беляев. Рохас считал, что парагвайцам лучше всего оставить Чако и организовать оборону на восточном берегу реки

Парагвай, готовя охват вторгшейся боливийской группировки с флангов. В результате такой несогласованности мнений штаб главнокомандующего некоторое время практически не подключался к разработке важнейших оперативных решений.

Боливийское же командование после Бокерона, наоборот, стало единым. 6 декабря 1932 года главнокомандующим был назначен Ганс Кундт. Должность начальника штаба получил другой немец — генерал фон Клюг. Командиром 1-го армейского корпуса боливийцев стал полковник с подозрительной фамилией Кайзер. Редкие возражения против этих назначений со стороны боливийских генералов Саламанка в расчет не принимал. В руках Кундта и его соотечественников сосредоточилась практически вся власть в боливийской армии.

27 декабря Кундт издал уникальную директиву, которая отменяла всякие пути к мирному урегулированию. «Правительство Боливии, — говорилось в директиве, — преисполнено решимости не принимать до 20 января никакого дипломатического вмешательства в конфликт с чьей-либо стороны, сосредоточиваясь исключительно на военных решениях. Месяц этот не следует считать фиксированным сроком, а лишь тем минимальным временем, которое имеется в распоряжении командования». Ставка была сделана на разгром 1-й дивизии, сосредоточившейся под Сааведрой, как наиболее боеспособной единицы парагвайской армии.

Атаки парагвайцев на Сааведру в ноябре 1932 года не имели успеха, так как Эстигаррибия не смог создать достаточно мощную ударную группировку для прорыва обороны и не решился воспользоваться критической ситуацией, складывавшейся на флангах противника. «Атакуя Сааведру, прикрытую неодолимыми лесными позициями, с фронта, мы взяли на себя непосильную задачу», — не устал повторять генерал Беляев. Более того, даже прервать сообщение Сааведры с основными силами боливийской армии никак не удавалось, вследствие чего гарнизон крепости постоянно усиливался.

Эстигаррибия так и не решился выполнить до конца план, предложенный Беляевым. Этот план, как отмечал Иван Тимофеевич, в свое время был разработан бароном Врангелем и заключался в том, чтобы выманить противника из укрепления и нанести ему поражение на открытой местности. Комдив по совету Беляева отвел 2-ю дивизию от Сааведры, но слишком далеко — в Исла-Пои. К тому же он серьезно ослабил силы 1-й дивизии, предназначавшейся для разгрома противника, «на всякий случай» разбросав ее подразделения вдоль дороги Кампо-Хордан — Алиуата — Арсе.

Боливийцы, увидев ослабление сил противника, покинули, как и предвидел Беляев, Сааведру, чтобы обрушиться на 1-ю ди-

визию, но наткнулись на ее сильно укрепленные артиллерийские позиции в Кампо-Хордане. «Противник, — писал Иван Тимофеевич, — выйдя из своего укрепрайона в открытое поле, попал в сферу губительного огня и под проливным дождем был вынужден к спешному и беспорядочному отступлению». Если бы в это время неподалеку была 2-я дивизия, а силы 1-й дивизии не были бы так ослаблены! Комдив Фернандес бросил на боливийцев с флангов всех, кто только мог держать оружие, — вестовых, санитаров, кашеваров, писарей, но этой наспех собранной рати ему не хватило, чтобы добиться полного разгрома группировки, столь удобно подставившейся под удар парагвайцев.

13 декабря в руках боливийцев вновь оказался фортин Платанильос. Это грозило обрывом стратегической коммуникации 1-й дивизии Кампо-Хордан — Арсе — Алиуата. Могло нарушиться и сообщение с Бокероном и Исла-Пои. К тому же первая победа боливийцев, одержанная под водительством главнокомандующего Кундта, подняла их ослабший боевой дух.

25 декабря весь 1-й корпус парагвайцев был вынужден перейти к обороне, отрядив 2-ю и 3-ю дивизии для прикрытия соответственно Арсе и дороги Кампо-Хордан — Алиуата. А перед все усиливавшейся Сааведрой осталась одна ослабленная Железная дивизия.

Читатель вправе попенять: зачем нам все эти детали, даты и совсем не трогающие за живое названия мест далеких сражений? Может, весь этот разговор о Чакской войне затеян только ради экзотики? Но, во-первых, гибель людей на войне, где бы она ни происходила, — дело серьезное. Во-вторых, Чакская война и все предшествовавшие ей события находились, как уже было отмечено, в некой системной связи с событиями в Европе и потому помогут глубже понять сложные процессы кануна Второй мировой войны. И наконец, история Чакской войны оказалась сильно запутана историками и мемуаристами, а нам важно объективно показать роль в ней генерала Беляева и русских иммигрантов.

* * *

Продолжим разговор с Александром Георгиевичем фон Экштейном. Ведь он живой свидетель событий Чакской войны. Делясь своими военными воспоминаниями, он еще и еще раз переживает события своей далекой молодости.

— Александр Георгиевич, чем стала Сааведра в общем деле парагвайцев?

— Сааведра — это и поражение, и начало победы. Победы не было бы, если бы Железная дивизия подполковника Фернандеса не вышла из боливийского мешка через Гондру. Этому немало

поспособствовал Беляев. Свой вклад внес и эскадрон капитана Бориса Касьянова — его знаменитая разведка боем при Пуэсто-Навидад шестнадцатого февраля тридцать третьего года.

Кто такой Касьянов? О, это выдающийся персонаж! О его прошлом известно немного. Родился в Санкт-Петербурге. Кадровым офицером не был. Так же как Бутлеров, Орефьев-Серебряков и Канонников, ушел на Первую мировую с университетской скамьи. Вначале в Московском университете изучал право, потом перешел на инженерный факультет. В Парагвае его звали «инженер Борис». Мой приятель, лейтенант Дарио Пастор Кантеро, познакомился с Касьяновым незадолго до войны в городке Ягуарон, где Борис руководил строительством моста. Потом этот мост назвали его именем! Лейтенант Кантеро изумился отменной вежливости русского инженера, а когда увидел Касьянова в форме капитана, тот объяснил: «Мосты закончились. Долг велит выступить на защиту моей второй родины».

В дни сражений под Сааведрой 1-й дивизии был придан отдельный дивизионный разведывательный эскадрон, командовать которым было поручено Касьянову. В этом эскадроне началась и моя долгая служба в армии Парагвая.

Все знавшие Касьянова отмечали его необычайную мягкость и обходительность, глубокую интеллигентность и колоссальный объем знаний. Он никогда не повышал голоса на подчиненных, но при этом все его команды исполнялись быстро и неукоснительно.

За короткое время, отведенное на формирование эскадрона, солдаты и офицеры получили все полагавшееся им довольствие и снаряжение. Касьянов использовал каждую свободную минуту, чтобы обучить нас основам фортификации, топографии и другим военным наукам. Солдаты прозвали его Нене, что на языке гуарани значит что-то вроде нашего Дедуля. Это ли не выражение солдатской любви к своему командиру?!

Вспоминается мне один интересный случай. Однажды вечером после боя парагвайские и русские офицеры — помнится, Ширков, Бутлеров и Салазкин — обсуждали итоги дня, попивая кто мате, а кто канью — тростниковую водку, недостатка в ней никогда не ощущалось. Был у нас лейтенант Таранченко, бывший гусар и большой любитель этого напитка. Так у него во фляжке вместо воды всегда была канья. Вот парагвайцы и прозвали его — лейтенант Таранканья.

Атмосфера в тот вечер, как и всегда, была непринужденная, играл граммофон. Появление легко узнаваемой даже издали, исполненной внутреннею благородства фигуры Касьянова произвело неожиданный эффект. Все русские вскочили со своих мест, будто пружиной подброшенные, и застыли по стойке «смирно».

Они не сели до тех пор, пока Касьянов не поздоровался со всеми присутствовавшими в своей обычной сердечной манере. Этот эпизод дал потом повод полковнику Рамосу считать, что Борис Касьянов занимал какое-то особое положение среди русских офицеров в Чако.

Мы готовы были пойти за нашим командиром в «пасть дьявола и вернуться обратно». Вскоре нам представилась такая возможность, но возвращаться, к сожалению, пришлось уже одним...

Командование хотело знать о состоянии дел на западном участке фронта под Сааведрой, в районе Пуэсто-Навилад, подозревая сосредоточение там превосходящих сил боливийцев. Для проведения разведки боем пятнадцатого февраля туда был отправлен наш эскадрон. На следующий день, в три часа утра, мы наткнулись на противника. Завязался неравный бой. Он был коротким. Мы попали в расположение сил свежей боливийской дивизии, изготовившейся для атаки, — нам противостоял целый полк.

Касьянов, шедший впереди с револьвером в руке, погиб одним из первых. Парагвайцы видели, как он упал на скосивший его крупнокалиберный пулемет.

В том бою я был ранен в правую руку. Пуля задела кость, и я мысленно уже попрощался с рукой. Никогда не забуду наш отход из той «пасти дьявола». Многие лошади скакали без всадников, оставшихся на поле боя. Когда мы добрались наконец до своих, в глазах стояли слезы. Начинался новый день, всходило солнце, а еще какой-нибудь час назад я думал, что больше никогда его не увижу...

Но война есть война, и бок о бок с трагедией часто разыгрывается фарс. В тот день я познакомился с будущим президентом Альфредо Стресснером, который сыграл потом в моей судьбе такую зловещую роль.

У своих меня переодели в то, что имелось под рукой — боливийскую форму, так как моя гимнастерка насквозь была пропитана кровью. Когда я лежал без сознания, какой-то парагвайский офицер принял меня за пленного, а кто-то из наших пошутил: «Да это адъютант самого Кундта!» Решив, что я немец, которых немало было у боливийцев, офицер пригласил переводчика — лейтенанта Стресснера, и приготовился устроить мне допрос по всей форме. Придя в себя, я не сразу оценил ситуацию, а оценив, стал ругаться по-русски, по-немецки и по-испански, чем только раззадорил своего «дознателя», к особому удовольствию наших чертовых шутников. Вскоре, однако, все выяснилось.

Руку я не потерял. Ее спас доктор Фелисе. «Ты молодой, — сказал он, — есть шанс, что заживет». Но с тех пор — видите? — правая рука у меня короче левой...

Наше отступление из Пуэсто-Навилад было таким поспешным, что тело командира пришлось оставить на поле боя. Когда

после сражения под Кампо-Виа парагвайцы вновь вернулись на это место, специальная команда целый месяц занималась его поисками, но безуспешно. В официальной сводке от семнадцатого февраля было отмечено: «Капитан Касьянов, командовавший эскадром, погиб как герой. Он лично, невзирая на опасность, возглавил атаку и ценой собственной гибели заставил замолчать вражеский пулемет».

Все время боев под Сааведрой я провалялся в госпитале. Несколько раз был на волосок от смерти, когда нас бомбардировали боливийские летчики, не обращая внимания на то, что на парусиновых навесах над нами были нарисованы красные кресты. А в чистом поле укрыться от бомб было негде.

Скоро я узнал, что в мой эскадрон — эскадрон Касьянова, прибыл новый командир, тоже русский офицер — капитан Николай Ширков.

А об авторитете, каким пользовался Касьянов, можно судить по такому случаю. У него в России был закадычный друг — Николай Емельянов. Оба учились на юридическом факультете Московского университета. Емельянов получил золотую медаль и докторский диплом. В годы Первой мировой оба записались добровольцами в армию, прошли ускоренный курс в Николаевском кавалерийском училище — и напрямиком на фронт. Служили в лейб-гвардии Драгунском полку. Потом революция, гражданка — не раз сходились и расходились их пути. Окончательно расстались уже в эмиграции. Касьянов уехал в Парагвай по вызову генерала Беляева. Емельянов — квалифицированный юрист — нашел хорошую работу в Париже, в филиале банка «Барклайз», потом открыл собственную юридическую фирму. Мало кому из эмигрантов так везло. Мог бы просто радоваться жизни...

Однажды в эмигрантской газете Емельянов прочитал, что где-то в далеком Парагвае геройски погиб бывший ротмистр русской армии Борис Касьянов. Николай тут же закрыл свое дело и уехал воевать в неведомую страну, чтобы заменить собой погибшего друга.

Вот, это асунсьонская газета «Орден» от тринадцатого октября тридцать третьего года. Сообщение о торжественном заседании, которое Патриотическая ассоциация Парагвая организовала в честь приезда Емельянова — «храброго русского добровольца, присоединившегося к другим благородным офицерам, чтобы разделить с нами все превратности этой войны» — так написано. А вот выступление министра иностранных дел Парагвая: «Вряд ли кто усомнится, что Вселенной правит мораль. Иначе как объяснить присутствие в наших рядах этого человека? Романтическим рыцарем из далекой России двигали великая сила духа, любовь к справедливости и чувство долга по отношению к погибшему другу».

Капитан Емельянов воевал просто здорово. Во главе эскадрона всего лишь из пятидесяти бойцов он шестого августа в бою под Нанавой отразил лобовую атаку боливийского полка. Но в сентябре к ранениям, полученным еще в гражданку, добавилось серьезное ранение в руку. Емельянову с тех пор часто приходилось бывать в госпиталях. Несколько раз он замещал командира, пожалуй, самого легендарного полка парагвайской армии «Ака Карай» — майора Бутлерова. Но после очередного ранения, кажет-ся, в январе тридцать четвертого Николай Емельянов, уже имевший Чакский крест, был эвакуирован в тыл и больше в войне не участвовал. Николай был прекрасным товарищем. А как заботился о простом солдате!..

Александр Георгиевич попросил небольшой тайм-аут: пора принимать лекарство. Мы под этим предлогом попытались уговорить его закончить разговор завтра, но наш хозяин вновь потянулся к «Чакскому альбому», а мы едва успели поменять кассету в диктофоне.

— А вот Порфиненко. Единственный наш летчик. Самолет тогда считался большой роскошью. Он многих раненых спас — садился в самых трудных местах. Это Малютин — кубанский казак. Хор-р-роший был тип! Таракус. Наш балалаечник-виртуоз. Доктор Артур Вейс. В свое время он был начальником всей санитарной службы вооруженных сил Юга России. В Парагвае тоже налаживал санитарное обеспечение. Медикаментов и перевязочных материалов заготовил столько, что хватило бы на десять корпусов. В тридцать шестом Вейс получил звание генерал-майора медслужбы Парагвая. Его именем названа улица в нашей столице. А вот, рядом с Вейсом, наши сестры милосердия — Вера Ретивова, Наталья Щетинина, Софья Дедова и Надежда Конради. Как они выхаживали раненых в годы войны!..

Майор Леонид Леш. Георгиевский кавалер. Окончил Михайловское артиллерийское училище. В мировую войну — полковник третьей гренадерской артиллерийской бригады. В Белой армии сражался в полку Маркова. Галлиполиец. Осел сначала в Болгарии, а потом уехал в Парагвай. И вот — командир полка.

Генерал Зимовский. Инженер! Талант! Придумал ручную гранату. Простую, но чрезвычайно эффективную. Парагвайские солдаты прозвали ее корумба-и, что в переводе с гуарани значит «чепашка».

А это твой отец, Виктор, — обращается Александр Георгиевич к полковнику Бутлерову. — Каков, а? Легендарная личность! После госпиталя я уже не вернулся в свой эскадрон, а был направлен в четвертый кавалерийский полк, которым командовал майор Георгий Бутлеров. До мировой войны он учился в Москве, в Петровской сельскохозяйственной академии. Готовился стать агро-

номом. Кто знает, может, прославился бы в науке так же, как и его знаменитый дед. Он и здесь, уже после войны, выращивал вот такие арбузы! За ними издалека приезжали...

На мировую войну Георгий пошел вольноопределяющимся. Сражался в первой лейб-гвардии Артиллерийской бригаде, дослужился до поручика, получил Георгиевский крест. Потом началась Гражданская... Сначала Бутлеров партизанил в тылу у красных, был членом подпольной офицерской организации в Кисловодске, обеспечивал связь конницы Шкуро с Кисловодском и Ессентуками. Несколько раз спасал жизнь самому атаману, дослужился до штабс-капитана, был ранен. В Крыму Бутлеров попал в дивизию знаменитого генерала Слашова...

После эвакуации из Ялты Георгий жил в Константинополе, потом во Франции, а по зову Беляева отправился в Парагвай. Он обладал великолепной ориентировкой, ясным взглядом, абсолютным хладнокровием в бою. Говорил по-испански плохо. Ординарец передавал его лаконичные, но ясные приказания на гуарани. Солдаты ему всецело доверяли, называли Львом. Он действительно был немножко похож на льва, но прозвище это получил за храбрость. Смельчак из смельчаков! Никогда не пытался укрыться от осколков и пуль, лез в самое пекло...

Партизанил в гражданку в тылу у красных и Николай Ермаков. Вот его фото. Он любил вспоминать, как в Анапе устроился работать в винный погребок, куда часто заходили комиссары. Каких только ценных сведений они там не выбалтывали! Когда существование подпольной организации было замечено и началась слежка, Ермаков на моторной лодке бежал в Тамань, а оттуда в Ростов. В Парагвае стал предпринимателем. Внук его, Николас, первым возглавил Ассоциацию русских и их потомков в Парагвае, созданную в восемьдесят девятом году...

Теперь доскажу, что же происходило под Саavedрой. Бойцы эскадрона Касьянова, проведя разведку боем, обнаружили свежую боливийскую дивизию на правом фланге. Но командование корпуса вовремя не отреагировало на это. Восьмого марта Ширков — вот он, знаменитый Ширков! — ставший командиром эскадрона, доложил о крупных силах боливийцев в районе Алиуата, Посо-Чарата. Стало проясняться намерение Кундта: отрезать Железную, находившуюся в Кампо-Хордан, от тыла и резервов, окружить и уничтожить ее. Потеря Железной была бы смертельной для Парагвая. Но Эстигаррибия сохранял олимпийское спокойствие!

Двенадцатого марта свежая боливийская дивизия перешла в наступление на правом фланге и перерезала дорогу Кампо-Хордан — Арсе, нарушив телефонную связь Железной с командованием корпуса. Эскадрон Ширкова в Алиуата ввиду concentra-

ции против него превосходящих сил получил приказ отступить к Арсе, что и было сделано вовремя и без потерь.

Инициатива в войне перешла к боливийцам. Клеши вокруг Железной опасно смыкались на северо-западе. Свободной оставалась лишь малопригодная для войск индейская тропа на восток, к старому парагвайскому фортифу Гондра. Саперы Фернандеса бросились расчищать и укатывать ее для предстоящего отхода — надо было успеть вывезти раненых и артиллерию. Но Эстигаррибия, похоже, был не способен трезво оценить сложившуюся ситуацию. Он потребовал от Фернандеса, против которого уже сосредоточились три боливийские дивизии, продержаться у Сааведры до двадцатого марта, пока его части не освободят Алиуата и не деблокируют Железную. Фернандес бомбардировал Эстигаррибию депешами с просьбой позволить начать наконец отход: у него кончалась вода, его атаквали со всех сторон, засыпали бомбами с воздуха. Он мог продержаться только четыре дня. Потом катастрофа была бы неизбежна. Эстигаррибия отвечал: «У меня семь тысяч человек, чтобы освободить Алиуата. Приказываю сделать все возможное и продержаться до двадцатого. Три дивизии не смогут вас окружить. Оставайтесь на позициях». Фернандес приготовился к неизбежному: «Сделаю все, что смогу, но благоприятного исхода не гарантирую».

Фортин Алиуата, несмотря на заверения Эстигаррибии, отобрать не удалось. Засевшие там боливийцы дрались, как черти. Для них это был, пожалуй, самый лучший момент за всю войну, для нас — самый тяжелый. Я не очень большой специалист в военной истории, но, похоже, тогда складывалась ситуация, в чем-то похожая на ситуацию под Сталинградом десять лет спустя. Если бы боливийцы успели закрыть дорогу на Гондру и замкнуть кольцо, то наша дивизия оказалась бы прижатой к Сааведре, как армия Паулюса к Волге, и тогда никакой Эстигаррибия не смог бы прорвать блокаду, как не смог сделать этого и фельдмаршал Манштейн.

Ну а пока командиры перебрасывались депешами, в дело включился — и очень вовремя! — штаб главнокомандующего, который до сих пор не подавал никаких признаков жизни. С января по ноябрь в штабе Рохаса в Асунсьоне работал генерал Беляев. Он был шефом оперативно-тактического, организационного и информационного отделов. Больной Рохас уже практически не принимал участия в руководстве военными действиями, и все оперативное планирование перешло в руки Беляева...

У меня, — писал Иван Тимофеевич, — находились все данные о противнике и расположении наших частей. Данные эти были весьма точными, да и я сам собирал сведения на местах о всех позднейших переменах. Кроме официальных донесений мы многое узнавали так-

же из радиоперехватов. Когда Рохас в первый раз поехал на доклад к президенту с подготовленной нами сводкой, тот был поражен ясностью картины и пожелал командующему в Чако иметь что-либо подобное, чтобы не отбрыкиваться от противника везде, где его не спасала даже инициатива подчиненных.

Фернандес оказался в бутылке и сообщался лишь полосой в пятьсот метров вдоль индейской тропы на Гондру. Ситуация стала непереносимой, необходимо было срочно что-то предпринимать. От имени главкома пятнадцатого марта мы послали телеграмму командиру Железной, санкционировавшую немедленный отход. Ему с трудом удалось пробиться сквозь огонь по наспех оборудованной дороге, увозя орудия, раненых и обозы. Противнику достались лишь четыре пустые цистерны для воды.

— Но на правом фланге дела продолжали ухудшаться, — рассказывал Александр Георгиевич. — Боливийцы окружили фортин Эррера, не сумев, правда, с ходу его захватить. Эстигаррибия отдал приказ оставить фортин. Этот приказ был немедленно отменен штабом главкома. Эррера был связующим звеном между правым и левым флангами парагвайской армии в Чако, и его сдача привела бы к расчленению нашего фронта. Штабом был спланирован удар по тылам боливийцев, в результате Эрреру удалось отстоять...

Таковы были драматические события осени 1933 года. Получается, если бы не приказы из штаба главкома, неизвестно, как бы закончилась эта война. Удивительное дело, поговаривали в окружении Эстигаррибии, главком вдруг проснулся. Но действовал именем главкома генерал Беляев. Его заслуга в спасении Парагвая несомненна.

Гибель элитной Железной дивизии стала бы непоправимым ударом, изменила бы весь ход войны. «Под Сааведрой, — писал в мемуарах полковник Фернандес, — у меня были серьезные основания беспокоиться за сохранение того замечательного сочетания закаленных в боях командиров, офицеров и солдат, которое представляла собой славная первая дивизия. В ней находилось до 80 процентов нашей довоенной кадровой армии. На вооружении дивизии было 8 пушек калибра 105 мм и 8 пушек калибра 75 мм, 6 минометов и 250 тяжелых и легких пулеметов. Ее офицеры и солдаты прошли крещение огнем в Питиантуте, Бокероне и Платанильосе и имели высокий моральный дух. Мне кажется, что страна не смогла бы пережить ее потерю...»

Потеря фортина Эррера не позволила бы потом соединить армейские фланги и развернуть операцию, которая закончилась победой при Кампо-Виа. Катастрофа под Сааведрой, предотвращенная Беляевым, стала бы прологом к неминуемому поражению Парагвая. Недаром в своих мемуарах, вышедших после войны в

Буэнос-Айресе, полковник Фернандес от имени своих соотечественников выразил благодарность Беляеву — «первому русскому на службе национального дела», а вместе с ним и «всем храбрым офицерам той же национальности».

— А сейчас я хочу рассказать вам о Ширкове, — продолжал Александр Георгиевич. — Он командовал моим эскадроном после геройской гибели Касьянова. Николай Ширков во время Первой мировой войны служил в Архангелогородском уланском полку, а в гражданку воевал в вооруженных силах Юга России. В Парагвае он сумел без потерь вывести из-под удара гарнизон Алиуата, вскоре получил звание майора и стал командовать полком. Майор Николай Ширков — великий воин, говорили о нем подчиненные. «Это был один из лучших командиров, которых мы имели за всю войну, — свидетельствовал полковник Альфредо Рамос, под командой которого полк Ширкова находился в сражении при Кампо-Виа в декабре тридцать третьего. — Четкость тактических установок при безусловном преобладании наступательного духа — такова была его манера руководства боем». Моменты затишья Ширков использовал для обучения солдат, знакомил младших офицеров и сержантов с историей войн и военного искусства, поднимал их моральный дух. Солдаты рассказывали: майор — заядлый курильщик, отказывался взять для себя лишнюю порцию табака, пока его не распределят среди солдат, и очень неодобрительно относился к тем парагвайским офицерам, которые позволяли себе «поживиться» за счет своих подчиненных.

Вот что пишет об одном эпизоде той войны лейтенант Кантеро, который командовал ротой в батальоне Ширкова. — Александр Георгиевич достал с полки книгу «Батальон-40 в Чакской войне» и зачитал: — «В начале марта тридцать третьего года поступила информация о сосредоточении крупных сил боливийцев в районе Алиуата. Комендант фортиана капитан Ширков получил приказание командира Железной дивизии полковника Фернандеса выйти из Алиуата с эскадроном кавалеристов на разведку. Поняв в результате проведенной рекогносцировки, что он находится в виду превосходящих сил боливийцев, капитан решил во что бы то ни стало задержать наступление их на фортиан и выиграть время для принятия командованием решения. Но сделать это с одним эскадроном было невозможно. Тогда Ширков прибег к военной хитрости. Был сочинен «штабной документ», свидетельствовавший, что в резерве у парагвайцев в Алиуата находится целый полк. Этому полку даже придумали название... «Документ» этот для вящей убедительности был испачкан кровью раненого парагвайского солдата и подброшен боливийцам как потерянный при поспешном отступлении эскадрона. Военная хитрость помогла Ширкову без помех вернуться в Алиуата и выдержать несколь-

ко атак превосходящих сил боливийцев, действовавших так нерешительно, как если бы они ожидали контратаки свежего полка. Она же помогла ему потом быстро и без потерь отступить в направлении на Арсе. Прорвав окружение противника, батальон Ширкова не оставил в Алиуата ни одного раненого или больного и сумел создать новую оборонительную линию всего в километре от линии прорыва».

Ширкову мы обязаны и взаимопониманием с будущим диктатором Парагвая — потом-то он стал моим личным врагом! — Стресснером. Артиллерийская батарея Стресснера не раз оказывала огневую поддержку пехотинцам, находившимся под началом русского офицера.

К сожалению, кончил свою жизнь Ширков печально. Полковник Рамос уже после войны, летом сорокового года, встретил как-то на улице в Асунсьоне жалкого, одетого в рубище человека и с большим трудом узнал в нем майора — легендарного героя Чако. Что тут скажешь? Видно, та великая боль о России, которую Николай Ширков постоянно носил в себе, после войны сделалась для него непереносимой и он пытался заглушить ее алкоголем. В Асунсьоне его знали многие, и Николай решил уехать, собрал денег на билет до городка Сан-Хуан-Кабальеро на границе с Бразилией и остался там навсегда. Ширков умер в крайней бедности, могила его затерялась. Горько мне это. Уж лучше бы Николай погиб, как погиб до него Касьянов — упав на несущий наступающим смерть пулемет...

Я-то считаю, что вина за это и за многое другое на Эстигаррибии. Перед самым концом войны он распорядился уволить в отставку всех русских командиров полков, чтобы, наверное, они не мешали ему единолично купаться в славе. А Беляева вообще хотел оставить без пенсии! Пенсию — очень небольшую — ему с трудом выхлопотал я, за что получил в подарок вот эту его фотографию в генеральской форме и с дарственной надписью. Да что говорить, даже своего — Фернандеса, Эстигаррибия — сам-то стал маршалом и президентом — так и не произвел в генералы. В разгар войны Эстигаррибия снял его с командования Железной дивизией и назначил начальником Военной школы в Асунсьоне. Может, в отместку за несанкционированный им отход из-под Сааведры, может, видел в нем конкурента? Только в октябре тридцать третьего года он получил под свое командование дивизию, но уже не элитную, а недавно сформированную. И если бы не заслуги Фернандеса в битве при Кампо-Виа — проигнорировать их просто нельзя, — вряд ли бы в конце войны он стал командовать первым армейским корпусом.

Генерала Рохаса, своего непосредственного начальника, который после окончания войны уже не вставал с постели, Эстигарри-

бия так ни разу и не навестил. А после гибели Эстигаррибии в авиакатастрофе в сороковом году лошади, которые везли его катафалк, были в роскошной золотой упряжи, подаренной в свое время Рохасу. Это ли не позор?! Такой был у нас президент — Эстигаррибия...

Александр Георгиевич неспешно отхлебнул чай, сказал что-то на гуарани жене — она уже с час сидела вместе с нами, молча слушающая знакомую, но совсем непонятную русскую речь, — и вознамерился продолжить. Мы шумно запротестовали, но наш хозяин упорствовал:

— Я уже не напишу мемуаров. Может, вам удастся рассказать в России, как воевали русские люди в далеком Парагвае. Не будем терять времени!

Донья Алисия принесла в узких стаканчиках канью, которую на фронте пили все — от солдата до генерала, и в этой обстановке, максимально приближенной к боевой, неутомимый дон Александр продолжил свое повествование:

— Осенью фронт на время стабилизировался. Но инициатива оставалась у боливийцев. В наших войсках чувствовалась усталость. Не на высоте было и снабжение: не хватало грузовиков для подвоза боеприпасов и провианта. Эстигаррибия издал приказ о переходе к обороне.

Мертвая тишина воцарилась и на дипломатическом фронте. Соединенные Штаты по-прежнему отвергали все попытки Лиги Наций вмешаться в ход событий, предпочитая так называемое пан-американское решение, но парагвайцы имели все основания не доверять США и «Стандарт ойл». Тогда американцы пошли на хитрость: создали в Вашингтоне «комиссию нейтралов» из представителей тех латиноамериканских стран, на которые они могли оказывать влияние. До нейтральности ей было так же далеко, как от Парагвая до Сибири! В качестве предварительного условия для начала мирных переговоров комиссия предложила оставить боливийские войска в самом центре Чако, а Парагвай должен был очистить этот район целиком. Наше правительство немедленно отозвало своего представителя из «комиссии нейтралов» и заявило, что предварительное условие абсолютно неприемлемо. А пока политики и дипломаты сражались на словах и на бумаге, парагвайцы и боливийцы в Чако продолжали калечить и убивать друг друга.

Генерал Кундт, не сумев окружить и уничтожить Железную дивизию, решил продолжить начатое еще в январе наступление в южном секторе, в направлении фортина Нанава. Тогда, в январе, парагвайцам, защищавшим фортин, тщательно подготовленный к обороне генералами Беляевым и Эрном, удалось отбить несколько атак превосходящих сил противника. За десять дней напряженных боев парагвайцы потеряли убитыми и ранеными двести

сорок восемь человек, в то время как боливийцы — свыше двух тысяч. Не смогли ничего поделаться и три эскадрильи боливийских бомбардировщиков, сбрасывавших бомбы на «беззащитные», как им казалось, позиции парагвайцев. Для оборонявшихся не было большего удовольствия, чем наблюдать, как вражеские самолеты сбрасывают бомбы на замаскированные под артиллерийские орудия стволы палм, каждый раз предусмотрительно передвигавшиеся на новые «позиции». Январское наступление боливийцев на Нанаву закончилось как бы вничью. Противник отступил и оборудовал позиции поблизости от фортина.

Вопреки мнению многих боливийских офицеров, рекомендовавших развивать наступление на Арсе, Кундт готовил новый, более мощный удар на Нанаву. Цель его была ясна — выход к реке Парагвай напротив города Концепсьон — там река достаточно узкая, чтобы перерезать тыловые коммуникации парагвайской армии, овладеть вторым по величине городом страны и победоносно завершить войну.

Беляев еще в Первую мировую хорошо изучил немецкую стратегию и сумел предвидеть новое наступление на Нанаву. За пять месяцев относительной передышки, когда противник был связан под Сааведрой, ему удалось укрепить Нанаву. Были оборудованы минные и артиллерийские позиции, протянуты проволочные заграждения, вырыты противотанковые рвы, углублены окопы. Из-за близости противника все инженерные работы приходилось выполнять ночью. Всего было оборудовано до двадцати километров защитных рубежей. Под покровом темноты к Нанаве подтянулись свежие силы парагвайской армии.

Наступление боливийцев началось утром 6 июля. В их наступающих колоннах насчитывалось до шестнадцати тысяч человек. Им противостояли войска третьего армейского корпуса под командованием полковника Луиса Иррасабалья — не более одиннадцати тысяч человек. Впереди шли танки Брандта и фон Криеса, за ними двигались огнеметчики и пехота. Наступавшие колонны прикрывала авиация. Согласитесь, похожую картину можно было наблюдать потом на полях Европы! Однако тактика Кундта разбилась о блестящую оборону, построенную русскими для парагвайцев. В результате немецкий генерал положил под Нанавой лучшую часть своей армии.

Парагвайские окопы и доты, изготовленные из крепчайшей древесины кебрачо*, встретили наступавших плотным артиллерийским и пулеметным огнем. В танки полетели гранаты. Один танк, загоревшись, задержал общее наступление. Другой удалось остановить всего в шестидесяти метрах от первой линии окопов.

* В переводе с испанского буквально «сломай топор»

Потом башню этого танка отправили в Военный музей. Отбив восемь атак, парагвайцы пошли вперед и отбросили противника от Нанавы. На поле боя осталось свыше полутора тысяч убитых боливийских солдат. Наши потери составили триста пятьдесят человек убитыми и ранеными. Под Нанавой геройски сражались Бутлеров, Салазкин, Емельянов и братья Оранжеревы. Леон Оранжерев был тогда тяжело ранен в ногу осколком авиабомбы, но, едва излечившись от ранения, снова попросился на фронт и успел довоевать до конца войны.

Участник тех событий, командир первого армейского корпуса боливийцев полковник Морейра расценил результат этого сражения как следствие уязвленного самолюбия Кундта, единоличного руководства операцией, неверного выбора направления главного удара, непростительных ошибок и просчетов в его подготовке.

Один из главных тактических просчетов коренился, по-моему, в чисто немецком педантизме Кундта. Помните, у Толстого в «Войне и мире» на военном совете перед Аустерлицем австрийцы сочиняют план сражения: «Ди ерсте колонне марширт... дер цвайте колонне марширт...»? Кутузов не выдержал — захрапел от скуки. Так и здесь, немец Кундт все рассчитал заранее, но не учел ни стойкости парагвайских солдат, ни крепости их укреплений, ни сложного, лесистого рельефа местности, ни температуры, которая в тот день опустилась ниже нуля. Перенесение европейских правил боя в наши условия было несусветной глупостью! Наступающие колонны задержались, а боливийская артиллерия, перенесла огонь в глубину, разнесла несколько пустых барачков внутри форта, но оставила свою наступающую пехоту без огневой поддержки. И тогда начала свою работу наша...

Логика войны учит: большой крови можно избежать только с помощью малой. Некоторые считают, что Эстигаррибия воевал «гуманно», все время давая боливийцам возможность беспрепятственно отступать к своим позициям. Но что это за «гуманность» такая, из-за которой война затягивается, а в конечном счете только увеличивается количество жертв?! Будь Эстигаррибия хоть немного решительнее, прислушивайся он к советам подчиненных — я имею в виду прежде всего Беляева — его не терзали бы воспоминания о поле боя под Нанавой...

Но в своих мемуарах наш прославленный «маршал победы» почему-то даже не упомянул о русских. Другие парагвайские военачальники — полковники Фернандес, Рамос, Стани, подполковник Кантеро — по достоинству оценили их вклад в общую победу. Кантеро считал, что и по сей день остается непризнанной бескорыстная помощь русских романтиков, вставших наравне с парагвайцами на защиту своей новой родины. А вот что написал Беляев

в отзыве на первый том мемуаров Фернандеса: «Это первое открытое и честное признание моих заслуг перед моей второй родиной. Заслуг, которые до сих пор замалчивались или искажались». Лишь спустя полвека после окончания войны наша ведущая газета «АВС колор» наконец признала: «В нашей армии к началу войны не было опытных офицеров, и участие русских стало решающим».

После ухода Рохаса с поста главнокомандующего в мае тридцать третьего года Эстигаррибия сосредоточил в своих руках всю полноту оперативного командования. Формально функции главнокома взял на себя президент Айала, но, как сугубо штатский человек, политик, он не особо вникал в ведение войны. После гибели Эстигаррибии у нас сложился культ этого человека: выдающийся военачальник и президент, из-за трагической случайности не успел претворить в жизнь всех своих замыслов. Ему, помимо всего прочего, приписывают заслуги в исследовании Чако и авторство в выработке первых стратегических планов военных действий в этой местности, но я-то знаю, планы эти были составлены Беляевым еще в двадцать пятом году!

А вот посмотрите, что пишет американец Дэвид Зук — специалист по истории Чакской войны. — Александр Георгиевич достал с полки книгу. — Зук называет Беляева «несравненным», отмечает его заслуги в исследовании Чако, а это дало парагвайцам превосходные знания о будущем театре военных действий. Он пишет, что парагвайцам удалось в полной мере использовать опыт Первой мировой войны и успешно применять в боях принцип массирования артиллерийского огня. Случалось, парагвайские солдаты умоляли свое начальство назначить их в полки, которыми командовали русские, поскольку они выказывали на войне не только присущую им доблесть, но и большие знания, проявляли заботу о подчиненных.

Ближе к концу войны мы стали находить в оставленных боливийцами окопах записки: «Если бы не проклятые русские, мы давно бы сбросили ваше босоное воинство в реку Парагвай». Да и сам Кундт признавал уже после своей отставки, что вклад русских в победу Парагвая был огромен.

Боливийцы не очень-то стеснялись, когда начали чувствовать свое поражение. Они бомбардировали беззащитные города и госпитали, морили голодом и расстреливали пленных, использовали запрещенные международными конвенциями разрывные пули. Казнили они и своих, протестовавших против войны.

Самым известным у нас топографом был майор Николай Гольдшмидт, москвич, участник «Ледяного похода». В эвакуации, в Галлиполи, штабс-капитан Гольдшмидт служил в команде конных разведчиков. В Парагвае он сначала командовал кавалерийским полком, а потом работал в штабе первого армейского

корпуса. Составленными им оперативными картами у нас пользовались все. Николаю часто приходилось выезжать на передовую, и он со своим теодолитом совался в самые опасные места. Двадцать второго мая тридцать четвертого года по пути в Каньяда Стронгест его грузовик попал в засаду. Гольдшмидт и два сопровождавших его солдата предпочли гибель плену. Николай отстреливался из револьвера до последнего патрона. Последний он оставил себе. Мы нашли его тело изуродованным. Боливийцы, очевидно, выместили на нем горечь своих поражений и злобу, накопившуюся против русских. Хоронили Николая Гольдшмидта в закрытом гробу.

Немало было и курьезов. Был у нас майор Николай Ходолей, бывший поручик лейб-гвардии Литовского полка, а в Парагвае командир десятого кавполка «Коронель Овьедо», с которым он отличился в бою под Кампо-Виа. Высокий, под два метра ростом, смелый и не всегда управляемый. Полковник Рамос дал ему, по-моему, очень точную характеристику: «Благородный, прекрасно образованный, он как будто явился к нам из светских салонов императорской России. Этот офицер отличался удивительным умением тонко, с одному ему присущим чувством юмора обходить те маленькие и большие проблемы, которые частенько встречаются в разношерстном армейском коллективе». Однажды Ходолей послал солдата на интендантский склад за провизией. Интендант же, наглый малый, заявил: что это гринго с такой странной фамилией вместо себя солдат посылает? Пусть, мол, сам приходит. Ходолей пришел сам. Первым делом приказал солдатам снять с интенданта штаны и хорошенько выпороть. Потом они взяли все, что было нужно, и молча ушли. Интенданта же этого потом так засмеяли, что он подал в отставку. А от Ходолея все были в восторге! После войны он женился на красавице парагвайке. Их семья пользовалась в Асунсьоне почетом и уважением.

Геройство русских стало во время войны явлением обыденным. Василий Малютин, сотник Кубанского казачьего войска, капитан парагвайской армии, воевал в нашем разведбатальоне. Мы атаковали фортин Фалькон, который в двадцать седьмом году основал Беляев в восьмидесяти километрах к северу от Нанавы. Фалькон был захвачен боливийцами в начале войны. Рота, которой командовал Малютин, оказалась прижатой к земле огнем крупнокалиберного пулемета. Капитан точно метнул гранату — пулемет замолчал, но Малютин был сражен последней очередью...

Случалось, русские становились неудобными для парагвайского командования. Сергей Сергеевич Салазкин — крепкий, среднего роста человек, немного замкнутый, как у нас говорят, энсимисмадо*, и, по характеристике полковника Рамоса, смелый до безрассудства. В четырнадцатом году он окончил Елисавет-

* Углубленный в себя

градское кавалерийское училище и воевал в Текинском конном полку. В Первую мировую дослужился до ротмистра. В семнадцатом текинцы составляли личную охрану генерала Корнилова, тогда Верховного главнокомандующего. Прикрывали они Корнилова и в «Ледяном походе». Одним словом, элита из элит. Немногие остались в живых... После войны, в Чехословакии, Салазкин окончил Пражский политехнический институт и получил специальность лесного инженера. В двадцать восьмом Сергей переехал в Парагвай, правильно рассудив, что в этой стране для лесного инженера работы — непочатый край. Вот он на фотографии, в своем любимом лесу, сам такой же красивый и крепкий, как и стволы кебрачо вокруг.

Полк, которым командовал Салазкин в Чако, второй кавалерийский, назывался «Коронель Толедо» и входил в состав четвертой пехотной дивизии полковника Фернандеса. Четвертой дивизии предстояло прорвать оборону боливийцев под Нанавой и войти в контакт с Железной дивизией в Гондре, чтобы потом, соединившись с правым крылом армии, объединенными силами окружить и уничтожить боливийцев в Алиуата и Сааведре. Потом штаб главнокома планировал удар объединенными силами трех парагвайских корпусов на Балливиан и Платанильос, с тем чтобы выйти к реке Пилькомайо и положить конец войне. Так, собственно, потом и вышло. Но Эстигаррибия, вместо того чтобы неожиданно для противника перерезать дорогу, соединяющую Алиуата с Сааведрой, решил сначала очистить от боливийцев сектор Чаркас.

Октябрьские бои стоили нам немало крови. Майор Салазкин, поддержанный командиром третьего кавполка майором Мориниго, высказал несогласие с планом намеченного наступления, считая, что нельзя идти на прорыв хорошо оборудованного укрепления. «Мы совершим ту же ошибку, которую постоянно совершает наш противник: бесполезно принесем в жертву массу людей» — так он сказал. Смотрите теперь, что пишет об этом полковник Фернандес: «Салазкин получил от меня нагоняй за то, что не заметил, что перед ним не хорошо оборудованные позиции, а всего лишь одна линия окопов. А майора Мориниго я вообще вынужден был освободить от командования полком. Не стоит принимать упрямяство Салазкина за героизм. В ходе наступления 30 октября его пессимизм привел к тому, что направление атаки его полка отклонилось на восток вместо того, чтобы ориентироваться строго в южном направлении. Сам майор Салазкин был накануне тяжело ранен и некоторое время спустя скончался в госпитале».

Но вот что странно! Читаем дальше: «Задача, поставленная перед четвертой дивизией, оказалась очень сложной. Противник

прекрасно оборудовал свои позиции. Общие потери за время боев в октябре составили 290 человек. Хорошо укрепленные оборонительные линии боливийцев преодолевались нами с многочисленными жертвами. Оборона была организована на глубину с целью проведения обязательных контратак. У противника было в достатке вооружения и боеприпасов, велось активное наблюдение, так что эффекта внезапности достигнуть не удалось».

И где же, я вас спрашиваю, «одна линия окопов»? — Александр Георгиевич нервно опрокинул рюмку каньи. Донья Алисия, пристально следившая за мужем, тихонько вскрикнула — это можно было принять за выражение как восхищения, так и негодования. — Я после войны несколько раз встречался с Фернандесом, просил пояснить, где же правда о Салазкине, но он отмалчивался или говорил что-то невпопад. Я уверен, он понял свою ошибку, но признать, что прав был русский, означало для него, уже испытавшего немилость начальства, конец карьеры. Ну что тут поделаешь? Храбрость на войне не всегда означает, что человек будет храбрым и принципиальным в повседневной жизни. Из всех людей, которых я знал, таким был только Беляев...

Сержант Хосе Аббате, командир минометной роты четвертой пехотной дивизии, рассказал мне: комполка майор Серхио Салазкин прибыл на передовую, интересуясь расположением противника. Он разглядывал боливийские позиции в бинокль, стоя на бруствере и представляя собой идеальную мишень. Сержант пытался уговорить его укрыться в окопе — у боливийцев работали снайперы. На что майор ответил: «Ничего, сержант, мой час еще не пробил». И вдруг как будто щелкнул хлыст. Майора отбросило к задней стенке окопа. Пуля снайпера угодила ему в грудь. Салазкин умер от раны на следующий день в госпитале Нанавы в окружении русских военных, отказавшись от католического причастия. Последними его словами были: «Пробил... мой час».

Полковник Рамос в книге своих воспоминаний, где целая глава посвящена русским добровольцам, написал о Сергее Салазкине: «Можно быть храбрым, даже отчаянно храбрым, но нельзя же быть безрассудным, нельзя быть фаталистом. Жизнь бойца священна, она служит делу защиты Родины, и нужно беречь ее до тех пор, пока это возможно». Но Рамосу, как и многим парагвайцам, не дано было понять той жестокой ностальгии, которая коверкала души людей, лишенных Родины. Война за свободу Парагвая не могла изгнать из памяти другую, безнадежно проигранную — за свободу России. И победа Парагвая только усилила их боль за родную страну, ввергнутую в ужас террора. А ведь у многих на родине остались семьи, любимые... Кто еще мог — находил отдушины, а кто-то искал смерти... Были среди нас такие, как майор

Корсаков: поскольку в боливийской армии было много немцев, они как бы довоевывали здесь Первую мировую.

Николая Корсакова прозвали у нас Тверской Барин — за особую вальжность и гвардейский шик. В гражданку ротмистр Корсаков воевал в Сводно-уланском полку. Рассказывали, что летом девятнадцатого года он был за что-то разжалован в рядовые на целых полтора месяца. Приехав в Парагвай, Николай стал учить испанский вперемешку с гуарани, безо всяких правил, но все делали вид, что понимали его тарабарщину. Парагвайцы и особенно парагвайки его любили. Его нельзя было назвать красивым, но он был «чертовски привлекателен». Многие находили, что в Корсакове было что-то от римского гладиатора.

Майор Николай Корсаков командовал кавалерийским полком «Капитан Бадо» элитной первой дивизии и в душе продолжал считать себя гвардейцем. Воевал он лихо. Как и Бутлеров, никогда не кланялся пулям, лез в самую гущу боя. Пожалуй, он один стоил целого эскадрона. Даже имени его боливийцы боялись как огня. В самом начале войны ему пришла в голову сумасшедшая идея — вооружить своих всадников вместо обычных сабель тяжелыми мачете. Трехкилограммовый мачете был страшным оружием, пожалуй, лучше палаша, которым были вооружены гвардейские кирасиры и кавалергарды. А когда майор орал басом: «Аделанте, *ло мита!*» — эскадроны срывались в карьер, и перед ними не могла устоять никакая, даже самая глухая оборона.

Так вот, наш Тверской Барин поставил себе цель уничтожить полк боливийцев под командой ненавистного ему немецкого наемника Брандта. В бою под Кампо-Виа полк Корсакова занимал дорогу Пуэсто-Павон — Алиуата, прикрывая правый фланг армии. К несчастью для боливийцев, два полка — русского и немца, оказались друг перед другом. Выждав время для атаки, Корсаков развернул своих тяжелых всадников против боливийской пехоты — и судьба двухсот с лишним чолос* оказалась незавидной. «Жаль только, немец ушел!..» — сокрушался после боя Корсаков.

А Сергея Салазкина отпевали в нашем только что построенном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Присутствовала почти вся колония. В следующий раз общий сбор был только в пятьдесят седьмом, когда отпевали Беляева. Все было обставлено пышно: с музыкой и пальбой. Целый батальон пехоты прошел церемониальным маршем. А я, глядя на парагвайскую парадную фуражку, положенную поверх гроба Салазкина, думал о превратностях судьбы человеческой: верно, и мне выпадет лежать в чужой форме и в чужой земле...

* Метисы

За окном светало. Уже утро, а мы все слушали и слушали нашего гостеприимного хозяина. А он, вспоминая далекую молодость, казалось, только подпитывается энергией. Решили не прерывать.

— Русские жалели солдат и не боялись возражать начальникам, когда понимали, что можно избежать лишнего пролития крови, но часто их полки и батальоны выдвигались на самые опасные участки... Не обходилось без курьезов. Однажды на отдыхе мы встретили Ширкова. Он рассказал, что его батальону было поручено на рассвете атаковать фортин Фалькон. Когда первая рота, соблюдая все правила маскировки, приблизилась к передовым окопам, раздался страшный вопль. Это боливийский наблюдатель, который всю ночь просидел на дереве, потерял равновесие и свалился. Обнаружив, что окружен парагвайскими солдатами, он не нашел ничего лучшего, как прикинуться сумасшедшим. Может, паренек и на самом деле был не в себе, может, в мирной жизни работал в цирке? Только его ужимки и прыжки так рассмешили солдат, проводивших несколько часов в напряженном ожидании атаки, что вся маскировка пошла псу под хвост!..

Перехваты боливийских шифрограмм штабом главкома, где работал Беляев, использование информации, получаемой от индейцев, позволяли хорошо ориентироваться в расположении сил противника и делать правильные выводы. Седьмого декабря перешли в наступление войска четвертого корпуса в направлении Посо-Негро, а наша Железная выступила из Гондры и замкнула кольцо вокруг Алиуата. В окружение попали две дивизии боливийцев. Командир девятой дивизии полковник Бансер запросил по радио указаний у Кундта. И этот храбрый германский вояка, всегда в корне подавлявший инициативу подчиненных, впервые дал слабину, показал, что не владеет ситуацией. Он отступал тогда Бансеру открытым текстом: «Поступайте, как сочтете нужным», — фактически бросил войска на произвол судьбы.

Попытка командира первого корпуса боливийцев полковника Пеньяранда прорвать кольцо окружения с юга окончилась неудачей. Войска, шедшие на подмогу, тоже попали в кольцо. Пеньяранде и несколькими офицерам его штаба удалось ускользнуть лесными тропами.

Бансер был неглупый немец и трезво оценивал ситуацию. Он понимал, что капитуляция Алиуата грозит потерей Сааведры, Муньоса и выходом парагвайцев к реке Пилькомайо, а удерживать фортин и ждать новых попыток прорыва окружения извне — значит, погибнуть от голода и жажды. Десятого числа, рано утром, Бансер решил прорываться к Сааведре в районе Кампо-Виа. Бой был жестоким и долгим. Боливийцам так и не удалось вырваться из окружения.

Победа парагвайцев была очевидной. Командир третьего корпуса полковник Иррасабаль предложил Бансеру почетные условия сдачи. В плен попало около пяти тысяч боливийцев, а убитыми и ранеными они потеряли до трех тысяч.

Катастрофа при Кампо-Виа развенчала Ганса Кундта как полководца. Казавшийся жестоким и решительным в мирное время, обладавший несомненными ораторскими и организаторскими способностями, Кундт после первых же поражений озлобился, потом впал в ступор, из которого так и не вышел. Тогда-то и обнаружилось документы, так тщательно скрывавшиеся от публики. Согласно характеристике, данной Кундту его непосредственным начальником генералом Э. Кабишем во время Первой мировой войны, выходило, что Кундт энергичен, обладает непреклонной волей, но склонен недооценивать противника, перекладывать свои неудачи на подчиненных. Чтобы доставить «генералиссимусу» свежий обед, трехмоторный «Юнкерс» ежедневно покрывал сотни километров от Ла-Паса до его штаб-квартиры в Чако. А для организации досуга высшего боливийского командования во главе с Кундтом из столицы регулярно подвозили дам полусвета.

И в Асунсьоне, и в Ла-Пасе теперь с иронией вспоминали бахвальство Кундта, его обещание захватить столицу Парагвая с тремя тысячами боливийцев. Отставка «генералиссимуса» серьезно пошатнула положение его покровителя — президента Саламанки. В начале тридцать четвертого года он был смещен военными. А генерал Кундт умер в Лугано, в Швейцарии, тридцатого августа тридцать девятого года, всего дня не дожив до начала Второй мировой войны...

После победы при Кампо-Виа наше наступление развивалось неудержимо. Пали Сааведра и Муньос. Боевые действия переместились на северо-запад. Там парагвайцам впервые пришлось сражаться в горной местности — начинались отроги Анд. После нашей победы при Каньяда эль Кармен обрушилась вся система неприятельских укреплений в районе Капиренда, Ибиобо, Карандайти. Для защиты фортина Балливиан — штаб-квартиры боливийского командования в Чако — боливийцы выделили свои последние резервы — двенадцать тысяч человек. Им удалось временно перехватить инициативу и потеснить войска Эстигаррибии. Теперь боливийцы сражались уже на своей, а не на спорной земле, и условия местности для них были более благоприятными, чем для нас. Но и мы научились воевать! Войска восьмой пехотной дивизии под командованием полковника Гарая совершили суворовский марш-бросок по гористой местности, делая в день по пятьдесят километров, и сумели вовремя остановить начавшееся боливийское наступление, отеснив противника от источников воды. После декабрьского сражения под Ирендангуэ боли-

вийшы потеряли убитыми восемь тысяч человек, пленными было захвачено три тысячи. Вскоре пал фортин Балливиан. Парагвайцы перешли реку Парапети и заняли боливийский город Чарагуа в департаменте Санта-Крус. Впереди лежала Боливия! Войну я закончил в Вилья-Монтес, на реке Пилькомайо. Оттуда было совсем недалеко до Камири, где находились боливийские нефтяные разработки.

Военные успехи Парагвая изменили дипломатическую конъюнктуру. США наконец согласились допустить к участию в переговорах Лигу Наций. Сопровождать комиссию Лиги, прибывшую в Парагвай, был отряжен Иван Тимофеевич Беляев. Дипломаты остались довольны открытой, разумной и конструктивной политикой Парагвая, тогда как военное командование Боливии не позволило членам комиссии посетить расположение боливийских войск в Чако.

Парагвайские войска наступали вплоть до лета тридцать пятого года, когда произошло сражение при Игнави — последнее в этой затянувшейся войне. Подойдя вплотную к Альтиплато, мы вынуждены были остановиться из-за растаянкости коммуникаций и нехватки грузовиков для подвоза боеприпасов и продовольствия. Армия насчитывала тогда около пятидесяти тысяч человек, и содержать ее для Парагвая становилось неважготу. Но еще более истощенная Боливия, потерявшая только пленными до тридцати тысяч, уже не могла организовать эффективного сопротивления. В этих условиях четырнадцатого июня было подписано долгожданное перемирие.

Часа через полтора после объявления перемирия к нам на нейтральную полосу явились несколько боливийцев во главе с капитаном. Мы угостили боливийцев нашим мате, и сразу же началось братание, посыпались шуточки, раздался смех. Заметив на некоторых из нас блестящие кожаные ремни и патронташи из грубой холстины, капитан ехидно заметил: «Неплохо же вас снабжали американцы!» Ему тут же ответили: «Да нет, это вашей армии спасибо! Всю эту американскую амуницию мы захватили в последнем бою». Капитан продолжал задираяться: «Спасибо боливийской армии, а я-то чилиец, из тех, кого вы зовете наемниками». Капитан поднялся и молча увел за собой боливийских солдат.

Надо сказать, парагвайцы негативно относились к наемникам в рядах боливийцев — хоть к немцам, хоть к чилийцам. Наверное, потому, что у них перед глазами постоянно был пример от противного: русские добровольцы самоотверженно сражались не за деньги, не за чины и награды, а за свою вторую родину, которой стал для них Парагвай...

Вот на какой высокой ноте закончил свой рассказ о Чакской войне Александр Георгиевич. За окнами уже погасли фонари и

раздались крики первых разносчиков газет. Донья Алисия мирно дремала, уронив голову на туалетный столик. Устал хозяин, устали гости, и дон Алехандро согласился отпустить нас, заручившись обещанием прийти завтра. Мы отправились в отель, чтобы немного отдохнуть и попытаться переварить услышанное.

* * *

Масамаклай — индейское название местечка в Чако, у которого в начале 1928 года произошло первое крупное столкновение между боливийцами и парагвайцами. «Место, где подрались братья» — так оно дословно переводится с языка макка. История подтвердила жестокий смысл перевода.

Чакская война дорого обошлась обеим сторонам. В ней погибло 60 тысяч боливийцев и 40 тысяч парагвайцев, были огромные материальные потери, сопоставимые (с учетом численности населения обеих стран) с потерями крупных европейских государств в Первой мировой войне. О бессмысленности и жестокости той войны в Латинской Америке продолжали говорить еще долгие годы.

Чудовищные лишения, которые довелось испытать солдатам обеих армий на полях сражений в Чако, недоступны описанию. Из тысяч пленных из-за голода и особенно из-за жажды обычно удавалось довести до места лишь половину. Солдаты и офицеры предлагали противнику свое оружие за глоток воды, а пить мочу стало обычным делом. Были случаи, когда люди по нескольку дней обходились совершенно без воды — и это при 40 градусах в тени! Многие спасались корнями карагуаты, но сосать их можно было не более четырех дней, а потом люди переставали ориентироваться в пространстве. Людей жестоко мучили москиты, буквально косила малярия.

В истории все имеет смысл, за исключением, пожалуй, ее иронии. А ирония была в том, что в Чако так и не нашли нефти! Может, прав был боливийский поэт и революционер Рауль де Бехар, расстрелянный по приговору трибунала в Сааведре? Он считал Чакскую войну империалистической и призывал боливийцев и парагвайцев по примеру большевиков повернуть оружие против своих угнетателей. «К счастью, я не успел убить ни одного своего парагвайского собрата» — это его последние слова. Кстати, на боевых позициях в Чако несколько раз попадались «красные» боливийские листовки: парагвайцев пытались уверить, что пока они воюют со своими «боливийскими братьями», «русские белогвардейцы захватывают их земли и насилуют их жен».

В империалистическом характере Чакской войны советские историки, естественно, не сомневались. Усилия американской

дипломатии в поддержку Боливии, ее стремление перевести урегулирование конфликта в Панамериканский союз, поставки американского оружия Ла-Пасу «в счет ранее полученных платежей» наперекор резолюции Лиги Наций, создание пристрастной «комиссии нейтралов» — все это имело место.

Однако чем объяснить довольно робкое, по американским меркам, сотрудничество «Стандарт ойл» с Боливией в годы войны, хотя есть сведения, что в самом ее начале она поставляла по заниженным ценам бензин для боливийской армии? А ее отказ предоставить крупный заем правительству Х. Техада Сорсано в 1934 году? И совсем уже непонятен факт национализации активов компании правительством Д. Торо в 1937 году под предлогом ее сотрудничества с Парагваем (!) в годы войны, а также вполне цивилизованная реакция на это правительства США.

Корни всех этих странностей стоит искать, на наш взгляд, в «новом курсе» президента США Ф.Д. Рузвельта, не на шутку встревоженного событиями в Европе. После захвата Гитлером Рейнской области и аншлюса Австрии президент, очевидно, решил, что возвращать у себя под боком «южноамериканскую Пруссию», как называли тогда Боливию, ему совсем ни к чему. Прав ли был парагвайский историк Хуан Стефанич, утверждавший, что поражение Боливии в Чакской войне разрушило перспективы создания нацистского блока в Южной Америке? Чтобы ответить на этот вопрос, отвлечемся на время от судьбы генерала Беляева и сделаем в нашем повествовании *первое необходимое отступление*.

Провал планов гитлеровской Германии в Южной Америке

«Борьба Гитлера в годы войны и в годы мира будет для нас руководящей и направляющей силой». Эти слова из манифеста «Группы объединенных офицеров» аргентинской армии передают настроения некоторых кругов в южноамериканских странах, которые позволяли Гитлеру надеяться на реализацию там своего стратегического плана. Этот план согласно появившимся в ходе Второй мировой войны документам заключался в нанесении удара по США с юга, из Латинской Америки, страны которой должны были превратиться в вассалов Германии. Перед этим Гитлер рассчитывал покончить с Англией и СССР и построить мощный военно-морской флот, в составе которого были бы авианосцы. Косвенно планы нападения на США подтверждались тем, что масштабное строительство крупных кораблей Германия собиралась начать не «до», а «после» того, как нанесет поражение Англии. Каким же образом Гитлер собирался завоевать Латинскую Америку?

Влияние Германии на некоторые государства Южной Америки в 30-е годы достигло своего апогея. Особенно сильным оно было в Аргентине, Бразилии, Перу, Чили и, разумеется, в Боливии. Во всех этих странах активно действовали фашистские партии, давно и плодотворно работали немецкие военные советники, постоянно росли показатели взаимной торговли и германских капиталовложений. Сообщение Южно-Американского субконтинента с Европой было отдано на откуп авиакомпаниям стран «оси»: немецким «Люфтганза» и СКАДТА, итальянской ЛАТИ. Кроме пассажиров и грузов они регулярно доставляли в страны региона немецких шпионов и диверсантов, вели активную воздушную разведку. Но дело было не только в этом.

Долгие годы английского, а затем американского диктата в регионе привели к тому, что латиноамериканцы, как бы от противного, стали испытывать симпатии к Германии. В 30-е годы она боролась против несправедливого Версальского договора и ничем особенно нехорошим в странах к югу от Рио-Гранде себя не обозначала. Этим объяснялись, в частности, фашистские настроения высокопоставленных южноамериканских военных, многие из которых проходили обучение в Германии и сохраняли тесные связи с верхушкой вермахта, абвера и гестапо. К тому же настораживала усилившаяся в Южной Америке деятельность агентов Коминтерна*.

Но главным козырем, который собирался использовать Гитлер в своей борьбе за Южно-Американский континент, были, конечно же, крупные немецкие общины. Только в трех южных штатах Бразилии — Паране, Санта-Катарине и Рио-Гранди-ду-Сул, проживало до миллиона немцев. Каждый четвертый житель Санта-Катарины был немцем, рожденным в Германии (рейхсдойч), или потомком немцев (фольксдойч). В Рио-Гранди немцем был каждый шестой, в Паране — каждый восьмой гражданин. Более 1200 немецких школ содержались на деньги, получаемые из Германии. Преподавание в них велось на немецком языке и по немецким программам, а в классах висели портреты Гитлера и Гинденбурга. Все бразильские немцы с живым интересом и горячим сочувствием отслеживали бурные перипетии возрождения своего рейха. При этом германское посольство в лице оборотистого советника Ганса фон Косселя не жалело

* В ноябре 1935 года в Бразилии была предотвращена попытка государственного переворота, во главе которого стояла Бразильская коммунистическая партия. В ходе следствия по делу о мятеже были выявлены многочисленные факты поддержки БКП из-за рубежа.

ни сил, ни средств для поддержания национального духа бразильских немцев на должной высоте. Фон Коссель добился создания в городе Сан-Паулу бразильской ветви национал-социалистской партии Германии, а также германо-бразильской юношеской организации по образу и подобию нацистского «Гитлерюгенда».

«Мы создадим из Бразилии новую Германию. Там есть все, что нам надо», — заявил Гитлер своему приятелю Раушинингу в 1933 году, вскоре после прихода к власти. По его мнению, Латинская Америка, которая «устала от эксплуатации ее янки» и где демократия «не имела никакого смысла», должна будет естественным образом перейти под германское покровительство, после того как свершится национал-социалистская революция в крупнейшей стране — Бразилии.

В другой стратегически важной для Германии стране — Аргентине, службу безопасности германского посольства возглавлял советник Христиан Цинзер, который раньше работал в странах Центральной Америки. В его задачу входило создание террористическо-агентурной сети вокруг важнейшего для США объекта в Западном полушарии — Панамского канала.

Расчеты Гитлера строились вовсе не на песке. Ведь нелюбовь южноамериканцев к «нахальным и самовлюбленным янки» — вещь общеизвестная. Ударной силой гитлеровской экспансии в Южном полушарии должны были стать бразильские, аргентинские и чилийские немцы — южноамериканская «пятая колонна».

Что сулила нацистской Германии в связи с этими планами победа Боливии в Чацкой войне? Вы помните, Боливия расположена в стратегическом центре Южно-Американского материка и граничит с Бразилией, Аргентиной, Парагваем, Чили и Перу. Воображению нацистских геополитиков боливийское Альтиплано рисовалось чем-то вроде южноамериканского Памира, этой своеобразной «крыши мира». Там сходились все воздушные пути над Южной Америкой, и тот, кто контролировал их, создавая в Боливии аэродромы и пункты заправки, получал доступ к стратегическим коммуникациям всего этого субконтинента*.

* Нацистские геополитики были не оригинальны. США в самом начале XX века правильно оценили стратегическое положение Боливии, выдвинув расположенные там американские корпорации на острие атаки против граничащих с ней государств, так что история со «Стандарт ойл» была отнюдь не пробным шаром. Интересно, что и пламенный революционер Э. Че Гевара в 1967 году избрал Боливию в качестве плацдарма для распространения пожара латиноамериканской революции на весь континент.

Победа боливийцев под руководством немецких офицеров сразу создала бы единое поле нацистского влияния в его «южном конусе» — от южных штатов Бразилии на востоке до южных департаментов Перу на западе. «Генералиссимус» Кундт укрепил бы свою и без того почти неограниченную власть, возможно, даже вышвырнув из президентского кресла красная Саламанку. А планы такие у Кундта были.

В захваченном у боливийцев Платанильосе парагвайцы обнаружили очень любопытный документ за подписью Ганса Кундта. Это был план войны с Чили, которая должна была начаться без формального объявления вскоре после победы над Парагваем. Чтобы победить самую сильную армию «южного конуса», которая уже однажды наказала Боливию, Кундт надеялся на помощь хорошо организованной и влиятельной чилийской немецкой колонии. Кроме того, он мог добиться подключения к войне и старого союзника Боливии — Перу, и давнего геополитического соперника Чили — Аргентины. Однако было бы трудно рассчитывать, что латиноамериканский гигант — Бразилия, останется в стороне, видя, как объединившиеся агрессоры во главе с Буэнос-Айресом «утюжат» ее давнюю и верную союзницу — Чили.

Вот тут бы и пригодились старания фон Косселя! Компактно проживающая на юге Бразилии немецкая колония могла бы отколоть от гиганта что-нибудь вроде «независимого государства Паранастан», дабы присовокупить его затем к всеобщему ордунгу. Это стало бы первым шагом в формировании на юге субконтинента вожделенной «германской Америки», способной впоследствии угрожать Союзным Штатам. «Как только падет Бразилия, весь Южно-Американский континент окажется в наших руках» — это выдержка из уже упоминавшегося манифеста «Группы объединенных офицеров».

С этими планами фюрер не расставался вплоть до 1943 года, когда поражение под Сталинградом заставило его забыть о покорении Америки. До этого времени подводный флот третьего рейха проводил активные операции против флотов США и стран Латинской Америки в Карибском бассейне и в районе Южной Атлантики, поддерживал оперативную связь между немецкими колониями и фатерляндом, обеспечивал регулярную доставку на континент немецких шпионов и диверсантов, заправлялся топливом и продовольствием в гаванях южноамериканского побережья.

Победа Парагвая в Чакской войне и последовавшее затем укрепление сотрудничества американских государств внесли серьезные коррективы в готовившийся сценарий. В речи министра иностранных дел Германии Риббентропа, произнесенной 12 июня 1939 года перед участниками совещания немецких послов в странах Латинской Америки, было отмечено: политические отношения рейха с рядом латиноамериканских стран существенно ухудшились...

Однако, как показали дальнейшие события, нацисты не собирались сворачивать усилия по дестабилизации региона. В мае 1941 года британской секретной службе удалась блестящая операция по предотвращению прогерманского военного переворота в Боливии. В заговоре участвовали германское посольство в Ла-Пасе и военный атташе посольства Боливии в Берлине майор Элиас Бельмонте, бывший министр внутренних дел в правительстве Германа Буша. Неожиданная смерть президента Германа Буша, ветерана Чакской войны, сына немецкого эмигранта и ярого сторонника нацистской Германии*, нарушила планы рейха в отношении этой страны. Победа на президентских выборах генерала Э. Пеньяранды не сулила для боливийских нацистов ничего хорошего. Выкраденные английским агентом у немецкого эмиссара в переполненном гостиничном лифте документы, связанные с подготовкой государственного переворота, были немедленно опубликованы, за этим последовал разрыв Боливией дипломатических отношений со странами «оси» и присоединение ее к странам антигитлеровской коалиции.

Зимой 1941 года в самом центре Буэнос-Айреса в организованной по заданию английской разведки «случайной» хулиганской драке был убит германский агент. В его портфеле нашли карту Южной Америки, составленную генштабом вермахта. Аргентина, Чили и Бразилия — страны с наиболее высокой концентрацией немецких иммигрантов, занимали четыре пятых территории Южной Америки. Парагвай, Уругвай и часть Боливии согласно планам Гитлера были поглощены Аргентиной. Оставшаяся часть Боливии и кусочек Перу отходили к Бразилии, а остальная территория Перу — к Чили. Вероятно, разочаровавшись в Боливии и разгневав-

* В годы своего президентства (1937—1938) Герман Буш издал распоряжение, согласно которому боливийцам, находящимся в Германии, разрешалось служить в вермахте

шись на Парагвай, фюрер решил таким образом наказать их и сделал ставку на Аргентину и Чили. Другой документ, обнаруженный в портфеле погибшего агента, тоже представлял определенный интерес. Это был манифест «Группы объединенных офицеров» — закрытой организации высших офицеров аргентинской армии, не последнюю роль в которой играл полковник Х.Д. Перон — будущий президент Аргентины. Пронацистски настроенные участники группы в июне 1943 года совершили в этой стране государственный переворот, серьезно повлиявший на ее дальнейшую судьбу. О том, как Аргентина превратилась в убежище для нацистских военных преступников, вы узнаете из *второго необходимого отступления*.

* * *

Итак, страх перед нацистской угрозой Западному полушарию — как мы видим, вполне оправданный — на время сместил акценты во внешней политике США. Гораздо более дальновидный, чем многие его предшественники, а тем более последователи, президент Рузвельт уже в декабре 1933 года подтвердил принципы «политики доброго соседа» в отношениях с латиноамериканскими странами и обязательство США больше не вмешиваться в их внутренние дела. В целях укрепления панамериканской солидарности Рузвельт готов был даже мириться, как, например, в случае со «Стандарт ойл», с национализацией американской собственности.

Мирные переговоры между Парагваем и Боливией начались в Буэнос-Айресе 1 июля 1935 года. В них участвовали США, Бразилия, Аргентина, Чили, Перу и Уругвай. Переговоры длились три года и, по сообщениям наблюдателей, за это время обе стороны не раз оказывались на грани войны. Внутриполитическая нестабильность как в Парагвае, так и в Боливии, ухудшившееся экономическое положение подталкивали сменявшихся с калейдоскопической быстротой президентов к тому, чтобы переключать внимание своих народов на «враждебные намерения» соседа.

Войдя во вкус неожиданно свалившихся на него побед, Эстигаррибия лелеял планы захвата боливийского департамента Санта-Крус и нефтяных месторождений в Камири. Несмотря на крайнюю истощенность войной, Парагвай позволил себе закупить в Италии несколько истребителей и бомбардировщиков, создав нечто похожее на военную авиацию. Но реально позволить себе продолжение войны ни та, ни другая сторона уже не могли.

К тому же ни Бразилия, ни Аргентина — крупные соседи Парагвая — не были заинтересованы в усилении этой страны, которая всегда входила в сферу их влияния. Изменение геополитической ситуации в сложном Ла-Платском субрегионе могло нарушить довольно зыбкий баланс сил. Этого не могли допустить и Соединенные Штаты. Хуан Исидро Рамирес, представитель Парагвая на мирной конференции в Буэнос-Айресе, рассказывал: президент Рузвельт, открывая переговоры, заявил, что «в преддверии скорого начала войны в Европе» Чакская проблема должна быть решена незамедлительно.

Мирный договор, подписанный 21 июля 1938 года, носил явно выраженный компромиссный характер. К удивлению современников, привыкших к тому, что победитель получает все, выигрыш Парагвая получился довольно скромным. К нему отошла большая часть Чако Бореаль. За Боливией сохранялись ее нефтяные месторождения на северо-востоке. По мирному договору Боливия могла использовать полосу земли вдоль реки Парагвай для строительства порта, обеспечивающего выход к Атлантике. С этим требованием Боливии Парагвай, кстати, соглашался еще до войны.

Ни США, ни Аргентина с Бразилией, добившиеся от Боливии концессии на постройку железных дорог, которые соединяли департамент Санта-Крус с аргентинскими и бразильскими транспортными коммуникациями, так и не получили доходов от чакской нефти. Ее оказалось слишком мало для коммерческой разработки. Однако мир, воцарившийся в Чако, позволил уже в декабре 1938 года на панамериканской конференции в Лиме выработать общую декларацию стран Западного полушария о единстве действий в условиях нарастания нацистской угрозы.

И этот мир оказался прочным. Сегодня Чакская война в отношениях двух соседних и не по-протокольному братских стран стала в полном смысле достоянием истории. Мир, в котором побежденный не был унижен, а победитель умерил свои аппетиты во имя общего будущего, помог окончательно и бесповоротно подвести черту под прошлым.

В ходе Чакской войны удалось не только отстоять свободу и независимость Парагвая, но и избежать распространения войны на другие страны Южной Америки, а значит, не допустить укрепления позиций нацистской Германии в Западном полушарии.

Не надо думать, что Парагвай своей победой был обязан исключительно Беляеву и приглашенным им в эту страну русским офицерам. Парагвай сражался за правое дело. Офицерский корпус страны выдвинул ряд выдающихся командиров и военачальников. А храбрость и стойкость народа Парагвая, продемонстри-

рованные еще в годы войны против «Тройственного союза», не нуждались в особых доказательствах. Однако участники событий и исторические документы свидетельствуют, что роль генерала Беляева и русских офицеров была значительной. И мы, россияне, должны быть им благодарны за то, что под Москвой, Сталинградом или Курском наши отцы и деды не столкнулись с...южноамериканцами.

Опыт и знания Беляева помогли ему, когда он был фактически начальником штаба главкома, вывести из-под удара самую боеспособную пехотную дивизию Парагвая, удержать в руках парагвайцев фортин Эррера — связующее звено между правым и левым флангами парагвайской армии, предвидеть летнее наступление боливийцев на Нанаву и обеспечить инженерную защиту этого укрепления. Во время своих экспедиций Беляев составил карты Чако, провел глубокую разведку местности, на которой потом развернулись военные действия, привлек на сторону правительства индейцев, услуги которых в войне оказались огромны, участвовал в основании новых фортинов в Чако, ставших заслонами на пути боливийской армии.

Опыт и знания русских командиров рот, батальонов и полков помогали парагвайцам правильно рассчитывать свои силы и силы противника, осуществлять координацию действий своих сил на поле боя и добиваться важных тактических успехов. Их героизм и самоотверженность вдохновляли парагвайских солдат, видевших в русских не наемников, а братьев по оружию. Но главное, русские офицеры умело командовали подразделениями и частями в боях.

В результате, несмотря на довольно солидное численное и материально-техническое превосходство боливийцев, победили российская суворовская школа, суворовский дух, а немецкая жесткость, косность и догматизм потерпели поражение.

* * *

Помните, мы начали свое знакомство с «русским Асунсьоном» от православного Покровского собора. А за ним, ближе к центру города, возвышается величественное беломраморное здание с куполом, чем-то напоминающим купол Дома инвалидов в Париже. Это Пантеон героев — храм, посвященный памяти парагвайцев, павших в войне с «Тройственным союзом» и в Чакской войне. У входа почетный караул в парадных мундирах XIX века. Справа от входа среди многих мемориальных досок бронзовая доска с православным крестом. Она была установлена в 1989 году членами Ассоциации русских и их потомков в Параг-

вае. На доске выгравированы имена шести погибших в Чакской войне русских офицеров и лаконичная надпись: «Вечная для них память!»

А 23 октября 1997 года в Чако, в местечке под названием Пикада Хордан, неподалеку от того места, где погиб капитан Борис Касьянов, состоялось торжественное открытие мемориальной доски и памятника русским добровольцам. На открытии присутствовал президент Парагвая Хуан Васмоси. От имени Ассоциации русских и их потомков в Парагвае выступила внучка капитана санитарных войск парагвайской армии, доктора Константина Граматчикова Лусиа Джовине де Граматчиофф. Она говорила об истории прибытия в Парагвай генерала Беляева и русских офицеров, отметила заслуги Ивана Тимофеевича в исследовании Чако, в защите Парагвая от агрессии, в привлечении в страну русской научно-технической интеллигенции.

Пусть и с некоторым опозданием Парагвай все же отдал должное памяти русских добровольцев. А что же Россия? Мы только-только начинаем знакомиться с их судьбами и биографиями, их вкладом в развитие страны, давшей им приют и надежду. Отправимся же вслед за генералом Беляевым, ведь его жизненные планы еще далеки от завершения.





Глава пятая
«РУССКИЙ ОЧАГ»

Пускай рабы минутных наслаждений
В оковах смерти смерть куют другим —
Вдали страстей, вдали от преступлений,
Назло им всем мы рай свой создадим.

Иван Беляев

Задолго до поездки в Парагвай мне вспомнились слова Беляева о том, что после Чакской войны в историю этой страны навсегда вплелась «живая нить русского начала». Теперь свидетельствую: Парагвай и особенно его столица Асунсьон несут на себе четкий отпечаток русскости. И дело тут не в трамвае — редкость для Южной Америки! — медленно ползущем в потоке транспорта, как будто в Москве, на Бульварном кольце, не в семи холмах, которые роднят Асунсьон с цветаевским «колокольным семихолмием», и даже не в названиях некоторых улиц. Эту русскость за недостатком четких научных критериев можно определить как некое духовное начало.

Русских парагвайцев в Асунсьоне осталось немного. И совсем уж мало тех, кто помнит русский язык. Выходцы из России собрались сейчас на двух русских кладбищах, где православные кресты начиная с 30-х годов прошлого века — обычная деталь местного пейзажа...

Но количественный подход неуместен. Там, где История прошла своим тяжелым шагом, нет места холодной статистике. И даже если в Парагвае не останется никого, кто поддерживал бы связь с родиной предков, беляевская «живая нить русского начала» не умрет, не даст парагвайцам забыть о подвиге русских, отстоявших вместе с ними свободу и независимость страны.

Война закончилась победой, и генерал Беляев решил, что пришло время воплотить в жизнь идею патриотической эмиграции — «Русского очага», предназначенного для той новой России, которая возникнет на руинах большевизма. После войны вопреки всем стараниям правящей команды Эстигаррибии, не заинтересованной в признании заслуг русских, любовь к ним простых парагвайцев была огромна. Достаточно было иметь фамилию, заканчивающуюся на «офф» или «ефф», чтобы сделать неплохую карьеру в армии, в университете или на предприятии. В 1936 году всем воевавшим за Парагвай русским офицерам было предоставлено парагвайское гражданство. Двадцать человек были награждены орденом Чакский крест, а шестеро получили Крест защитника Родины.

Поручик Всеволод Канонников, бывший судовладелец из Николаева, кавалер Чацкого креста, командир флотилии малых плавсредств на реке Парагвай, смог наконец воплотить в жизнь свою идею: основал речную судоходную компанию. Его сын Святослав, которому в момент переезда семьи в Парагвай в 1923 году не было и года, в 1952 году принял от отца эстафету и стал одним из самых богатых и влиятельных граждан Парагвая.

Поручик Владимир Срывалин вернулся с войны майором, получил орден и средства, которые так нужны были его семье, жившей на иждивении доброй лавочницы, испанки Матильды, безропотно отпускаяшей продукты в долг. Владимир Срывалин долгое время работал в министерстве общественных работ, а его дочь Наталья закончила «русский» физико-математический факультет Асунсьонского университета, стала первой в Парагвае женщиной-инженером. Три десятилетия спустя строительная фирма «Наталья Срывалина и сыновья» приобрела известность далеко за пределами Парагвая.

Особый разговор о русских профессорах. На дворе август 1994 года. Нас любезно возит по Асунсьону Наталья Срывалина. Она на удивление хорошо говорит на том русском языке, который теперь можно встретить разве что в классической литературе. Вождение в Асунсьоне требует навыков профессионального раллиста. А эта семидесятилетняя женщина ухитряется лихо управлять «ниссаном» и вести беседу, глядя прямо в глаза собеседнику — иначе было бы просто невежливо!

— Мой дед, Андрей Срывалин, был инженер-путеец, он был истине влюблен в свое дело. Участвовал в строительстве Транссиба. После революции остался в России, хотел помогать новой власти. Последние письма от него мы получили в тридцать первом году. А через несколько лет до нас дошли сведения, что он погиб. По официальной версии — попал под паровоз... Отец, Владимир Срывалин, был кадровым офицером, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. Прошел через Новороссийск и Галлиполи, а в двадцать третьем оказался в Польше, подо Львовом. Туда, в имение своей сестры, его пригласил бывший однополчанин. Хозяйка имения, Елена Воронина, — это моя мать. В двадцать четвертом году перед семьей встал вопрос: куда эмигрировать? В Канаду или в Аргентину? Мать выбрала Аргентину — «там теплее»...

В Аргентине правительство выделило эмигрантам землю в медвежьем углу — в аргентинском Чако. Отец занялся выращиванием хлопка. Хлопок давал неплохие урожаи, но перекупщики не оставляли надежд скоро встать на ноги. По приглашению генерала Эрна — а его в Парагвай пригласил сам генерал Беляев — Срывалины перебрались в соседнюю страну. В Парагвае отец пытался

вновь заняться сельским трудом, потом был разнорабочим, но Чакская война заставила взяться за оружие...

Мы проезжаем несколько крупных зданий, построенных фирмой Натальи, в том числе крупнейший в Асунсьоне пятизвездочный отель «Эксельсиор». Очень немногие отели в Латинской Америке могут соперничать с ним в комфорте, дизайне и внутренней отделке.

* * *

Попадаем на русское кладбище. Здесь покоится большинство тех профессоров, которые основали асунсьонский физмат в 1927 году.

— Первым его деканом, — говорит Наталья Владимировна, — был Николай Кривошеин, единственный, кто потом вернулся в СССР. Его дочь осталась здесь. А вот, посмотрите — могила профессора Конради, биолога. Рядом математик Сергей Шишпанов. Здесь Николай Снарский — инженер путей сообщения. Под его руководством в Асунсьоне была закончена постройка нового порта на семнадцать пристаней. Инженеры Голубинский и Леонтьев строили у нас электростанции.

Никто из русских профессоров, — продолжает Наталья Владимировна, — не ехал наугад. Каждого из них генерал Беляев вызывал на заранее определенную должность. После Чакской войны многие демобилизовавшиеся военные тоже пошли преподавать на «русский факультет». Так сделал генерал Степан Леонтьевич Высоколян — талантливый математик. Он стал известен благодаря своей монографии, посвященной доказательству теоремы Ферма. Происходил из крестьян, воевал в Белой армии, в эмиграции оказался в Чехословакии. В двадцать восьмом году он окончил физико-математический факультет Пражского университета, а в тридцать третьем — Чехословацкую военную академию. В Парагвай Высоколян приехал в декабре тридцать третьего, служил в армии, в Асунсьонском университете преподавал теорию относительности. Год его смерти, тысяча девятьсот восемьдесят шестой, был назван в Парагвае «годом Высоколяна». Тогда во всех государственных учебных заведениях выдавались дипломы со словами «Посвящается Высоколянцу».

С двадцать шестого по шестидесятый год на физмате преподавали в разное время семнадцать русских профессоров. Поступить учиться было нетрудно. За вступительный экзамен нужно было заплатить всего лишь два доллара, за зачет — двадцать пять центов. Детям русских эмигрантов полагались льготы.

Мы ходим вдоль ухоженных стараниями парагвайцев могил, читаем имена: инженер-механик Владимир Велехов, инженер

Михаил Леонтьев, профессор Владимир Стороженко, профессор Георгий Шмагайлов. Подумалось: что же это за болезнь овладела Россией в начале XX столетия, когда она так бездумно разбросала по свету главное свое богатство — людей, специалистов, научно-техническую, военную и культурную элиту, отдавшую другим странам свои знания и опыт, ускорившую их, а не наше, культурное и техническое развитие? Сикорский и Зворыкин, Сорокин и Кондратьев, Шаляпин и Алехин... А люди с деловой жилкой, умеющие «делать деньги», но радеющие не о собственной мощи, а любящие Россию, пекущиеся о ее благе — где они у нас?

Мы не можем уйти, пока не найдем дорогого нам креста. К сожалению, даже Наталья Владимировна, часто бывающая на кладбище, где похоронены ее отец, мать и муж, поручик Сергей Станишевский, не может нам помочь. Наконец в конце аллеи, у самой ограды, обнаруживаем белый мраморный крест с полустершейся надписью: «Александра Александровна Беляева. Скончалась в Асунсьоне 29 января 1961 года».

А теперь припомните, мы расстались с Иваном Тимофеевичем Беляевым — не надолго, не навсегда! — в ноябре 1933 года, когда он отправился сопровождать в Чако комиссию Лиги Наций. И вот он напомнил нам о себе. Видение, конечно видение: выходит навстречу небольшого роста, лысый старичок в пенсне и с ухоженной ассирийской бородкой. Протягивает сухенькую руку — крепкое рукопожатие. Умные глаза дотошно разглядывают нашу странную, легкомысленную, на его взгляд, экипировку: джинсы, шорты, бейсболки, майки. Но старичок не позволяет себе удивиться, а радушно приглашает: «Буду рад-с, милости просим на чаек-с! Только уж не обессудьте, пожалуйста со своим сахарком-с. Денег, извините...»

Видение генерала посетило меня в жаркий асунсьонский полдень на авениде Колон, в районе Пласа Италиа, где когда-то стоял дом Беляева. Вдали от центра и отеля «Энкарнасьон» столица Парагвая сохранила патриархальность прошлого столетия. Остальное довершили жара и усталость. Слова же про сахарок — не бред, факт исторический, подкрепленный многочисленными свидетельствами.

В 40-е и 50-е годы Беляев жил в бедности, рассчитывая лишь на помощь друзей. Мизерного жалования в министерстве обороны да маленькой пенсии, которой фон Экштейну удалось для него добиться, не хватало на наполненную постоянными заботами о других жизнь, которую вели Иван Тимофеевич и его верная спутница Александра Александровна. Красивые должности и звания, которые он к тому времени имел — Почетный гражданин форта Олимпо, Почетный командир пятого пехотного полка «Хе-

нераль Диас», Почетный гражданин Парагвая, Почетный генеральный администратор индейских колоний — денег не приносили, а для задуманных предприятий требовались немалые средства.

С 5 мая 1936 года Беляев оставался при министерстве обороны в качестве советника и переводчика. И дело не только в том, что сделать военную карьеру при Эстигаррибии ему было невозможно. Эта работа давала достаточно свободного времени, а главное сейчас для Беляева — «Русский очаг», создание которого пришлось на время отложить из-за войны.

В декабре 1933 года генерал Беляев, используя свой авторитет и опираясь на обещания, данные министром обороны, добывает в парагвайском МИДе разрешение на обустройство русских сельскохозяйственных колоний в районе городов Энкарнасьон и Консепсьон. Под русские колонии президентскими декретами выделялось ни много ни мало шесть тысяч гектаров необработанной земли. Планировалось, что каждый осевший на этих землях должен был получить не менее двенадцати гектаров. Асунсьонская «Трибуна» в июле 1934 года писала о желательности дальнейшей иммиграции русских, «показавших себя людьми высочайшей культуры и оказавшихся храбрыми воинами».

Но у Беляева были свои виды на иммиграцию. В нейтральной, даже аполитичной среде, в условиях, когда личное благосостояние должно было добываться лишь собственным трудом, он надеялся обеспечить каждому колонисту возможность сосредоточиться на достижении единственной цели — сохранить русский дух, религию, культуру, генофонд русской нации. Судя по записям Ивана Тимофеевича, главными составными чертами русскости были: высокие моральные качества, готовность к самопожертвованию во имя ближнего, православная вера и монархизм. Беляев опасался, что даже заштатные Консепсьон и Энкарнасьон не обеспечат «чистоты эксперимента»: ведь они могли манить колонистов соблазном материального обогащения, предлагать выбор, отвлекающий от цели возвращения в новую Россию. И взгляд генерала все чаще обращался к диким пространствам Чако.

Настрой первых колонистов, казалось, вполне соответствовал замыслам Беляева. «Политикой в Парагвае никто не занимался, — писал Георгий Бенуа. — Все были сторонниками и ревнителями монархического строя в России, считая, что нынешняя Россия — это уже не мать, а мачеха, где все русское изъято или преследуется, а церкви закрываются и уничтожаются ... что страна стала экспериментальной территорией, где готовились кадры для захвата всего мира коммунистами, и что белоэмигрантам нужно сохранить силы и воспитать молодежь в чисто русском духе и православной вере, в которой Русь жила и здравствовала более тыся-

чи лет, чтобы в нужный момент явиться для восстановления Родины в национальном духе».

В декабре 1933 года в Париже по инициативе Ивана Тимофеевича Беляева, его младшего брата Николая и парагвайского консула во Франции Хуана Лапьера был создан Русский колонизационный центр по иммиграции в Парагвай. Почетным председателем центра был избран известный деятель Белого движения казачий атаман Африкан Богаевский. Центр получил согласие Лиги Наций на кредитование иммиграции европейскими странами. С заявлением о готовности содействовать процессу выступил Нансеновский комитет, снабжавший переселенцев особыми паспортами. В Париже два раза в месяц начала выходить газета «Парагвай» на русском языке. Ее девизом стало: «Европа не оправдала наших надежд. Парагвай — страна будущего».

Парагвай, конечно же, страна будущего. Такой она остается и по сей день. Но за что так обиделись наши эмигранты на старушку Европу?

После Генуэзской конференции 1922 года, когда началась волна признания Западом Советской России, положение русских эмигрантов в Европе стало стремительно ухудшаться. В погоне за прибылями от торговли с СССР и в расчете на выплату Россией царских долгов капиталистические правительства показали, что все высокие демократические идеалы и рассуждения о правах человека на деле ничего не стоят, если речь заходит о материальных выгодах.

Зарубежные поездки наркома Литвинова и подписание им ряда связанных, как теперь принято говорить, торговых соглашений вызвали ухудшение положения русских в Германии, Франции, Чехии, Болгарии, Бельгии и Люксембурге. Тысячи русских семей лишились работы в Турции, правитель которой, Ататюрк, одним из первых начал сближение с Советской Россией в расчете на военную и экономическую помощь с ее стороны.

Экономический кризис 1929 года обусловил рост безработицы, а наименее защищенными оказались, разумеется, эмигранты. Ну а в амнистии, время от времени провозглашавшиеся сталинским режимом, верили очень немногие идеалисты и люди, заранее готовые на сотрудничество с «компетентными органами». «Дальше едешь — тише будешь» — таков был в те годы настрой эмигрантских масс.

К этому времени в значительной мере рассеялись иллюзии, связанные с продолжением организованной вооруженной борьбы за свержение большевизма. Создание в 1924 году «Российского общевоинского союза» фактически поставило крест на существовании русской армии как организованной военной силы.

Серьезным ударом по эмиграции стало похищение в Париже и убийство агентами НКВД в январе 1930 года руководителя РОВС, последнего рыцаря империи, одно имя которого сплывало эмигрантские души, разлетевшиеся по разным уголкам земли, генерала Кутепова. Вот и его переехало железное колесо истории, решающий бой был проигран. Теперь задача состояла в том, чтобы организованно отступить, сохраняя по мере возможности силы, а главное — моральный дух.

На эмигрантов продолжали сыпаться все новые удары. В Марселе в 1934 году агентами германской разведки и хорватскими усташами был убит югославский король Александр. Александр окончил Пажеский корпус в Санкт-Петербурге, сестры его были замужем за великими князьями дома Романовых. Югославия наиболее благожелательно относилась к русским эмигрантам. К началу 1921 года их насчитывалось в стране около семидесяти тысяч. Здесь признавались русские дипломы о высшем образовании и ученые степени, офицеры могли свободно носить военную форму. Теперь ситуация стремительно менялась...

В поисках пристанища русские эмигранты все чаще стали обращаться к Новому Свету. Парагвайский консул Хуан Лапьер писал Беляеву из Парижа: «Во Франции, где проживает более тридцати тысяч русских эмигрантов, Ваша популярность сейчас такова, что затмевает известность наиболее крупных руководителей русских общин. Огромнейшее число писем, поступающих к нам в консульство с просьбой указать Ваш парагвайский адрес, подтверждает этот факт».

В апреле 1934 года из Марселя в Южную Америку Русский колонизационный центр отправил первый пароход с эмигрантами. Возглавлял группу полковник Гессель. В письме к Беляеву председатель центра, атаман А.П. Богаевский, отмечал «уверенность казаков в покровительстве генерала Беляева» и выражал надежду на «беспрепятственное продолжение начатого процесса». В начале июля брат Беляева Николай выехал в Марсель для проводов второй группы. Всего с апреля по сентябрь 1934 года парагвайским отделением Русского колонизационного центра в Парагвай было отправлено шесть групп эмигрантов по восемьдесят — сто человек.

Условия переезда, определенные центром, были вполне щадящими. Каждый эмигрант должен был представить парагвайскому консулу Лапьеру свидетельства о несудимости и неучастии в Красной армии, две фотографии. В адрес пароходного агентства «Океания» необходимо было перечислить сумму, включающую стоимость железнодорожного билета Париж — Марсель и билета на пароход из Марселя в Буэнос-Айрес. Каждая группа, организованная по-военному, во главе с избранным руководителем, дол-

жна была представить групповой паспорт с едиными въездными аргентинской и парагвайской визами. Система группового паспорта была принята парагвайским министерством иностранных дел по предложению Ивана Тимофеевича Беляева.

Путь на пароходе от Буэнос-Айреса до Асунсьона по просьбе Беляева был сделан бесплатным. В Асунсьоне всех новоприбывших колонистов встречал сам генерал и, если представлялась возможность, препровождал к местам расселения.

Помимо суммы на переезд каждый собравшийся в неблизкий путь должен был иметь с собой тысячу франков на первичное обзаведение. Эта сумма вносилась консулу Лапьеру в обмен на два чека: 650 франков — на имя едущего и 350 франков — на имя генерала Беляева, в оплату за предоставлявшийся шестимесячный казенный паек. Не желавшие получать паек могли получить свои кровные обратно. Сумма пайка составлялась из расчета два франка на человека в день, или около сорока парагвайских песо. И на эти деньги можно было жить. По парагвайским ценам 1934 года килограмм мяса стоил пять песо, сто фунтов табака — десять песо, свинья — 120 — 150 песо, лошадь — 800 песо. Однако в приглашении подчеркивалось, что переселенцам желательно брать с собой посуду, одежду и все необходимые промтовары, стоимость которых в Парагвае всегда была выше стоимости питания, а в военные и послевоенные годы весьма значительно. Вот список инвентаря, который рекомендовалось прихватить с собой в дорогу: большая секира дровосека, лопата, заступ, мотыга, тляпка, сапка, зубило, точило, пила большая двуручная, пила-ножовка, топор дровосека с длинным топорщиком, молоток плотничий, клещи, долото, ножницы садовые, американский ключ, стамески, рубанок, винты и гвозди разных размеров, финский или большой ручной нож — всего двадцать одно наименование.

В мае 1934 года в Кампо-Сандова, недалеко от Энкарнасьона, появилась «Станица генерала Беляева» — первая русская колония на парагвайской земле, где осели в основном казаки. Конечно, с этнографической точки зрения вряд ли будет уместно к донским, кубанским, уральским казакам добавлять наименование «парагвайские». Но факт остается фактом: к концу войны с Боливией уже существовавшая в Парагвае русская колония увеличилась, по разным данным, на чуть больше или чуть меньше двух тысяч человек преимущественно за счет казаков.

Вслед за этим стали появляться новые колонии. Колония в Уру-Сапукай, позднее объединившаяся со «Станицей генерала Беляева», была основана в 1935 году. Там проживало до ста семей белоэмигрантов. Основанная чуть позднее «Новая Волянь»,

в десяти километрах от Энкарнасьона, приняла шестьдесят семей. В колонию «Фрам», у Кармен-дель-Парана, перебралось сто десять семей, в основном крестьяне, выходящие из Белоруссии. Еще была небольшая — семей в тридцать — колония «Доминго Бадо». Наконец, последней появилась колония «Эсперанса» («Надежда»), куда съехались эмигранты из Западной Европы — бывшие офицеры с семьями и без — числом сорок четыре человека.

Газета «Парагуай» шла нарасхват. В сентябрьском номере за 1934 год перечислялись многочисленные факты содействия парагвайских должностных лиц и просто состоятельных людей делу обустройства русских колоний. Говорилось, например, о пожертвовании бывшим министром Уэрттой 2500 гектаров земли в пользу колонии «Новая Волянь» и о принятии шефства над нею бывшим президентом республики Гуджиари.

Беляев контролировал начавшийся процесс и по ходу вносил необходимые коррективы. 29 апреля через газету «Парагуай» он обратился с посланием, где изложил основные условия приживаемости эмигрантов на новых местах: большой процент землеробов в колонии, верные люди во главе групп, твердая вера в правильность избранного пути, решимость в преодолении трудностей. На первом этапе жизни в Парагвае, подчеркивал генерал, колонистам потребуются главным образом моральные и физические силы — все остальное будет лишь балластом.

Беляев прекрасно создавал опасность легкомысленного отношения колонистов, ехавших из негостеприимной, но благополучной Европы к суровой по всем человеческим меркам стране и пытался наладить «передачу опыта» переселенцев, уже прижившихся в Парагвае. В газете «Парагуай» от 1 сентября 1934 года есаул Хапков, бывший командир батальона Русского экспедиционного корпуса во Франции, предупреждал: необходимо «иметь твердое, неперемное желание работать, освободившись от псевдокультуры и привычек, на которых все в России помешаны... Только через два или три месяца интенсивной работы, когда вы почувствуете себя маленьким помещиком, можно будет подумать и об удобствах».

В июле 1934 года атаман Богаевский, узнав о трудностях, с которыми столкнулись в Парагвае колонисты, отправляет Беляеву письмо, в котором просит его ходатайствовать перед правительством об улучшении бытовых условий для русских. Богаевский, очевидно, был не в курсе, что огромные расходы на войну с Боливией серьезно подорвали и без того слабую экономику страны. Казна была пуста, финансовая система расстроена, а промышленное производство поддерживалось за счет бесплатного труда

боливийских военнопленных. В таких условиях даже при всей благожелательности властей к иммигрантам реальная помощь им могла осуществляться только по минимуму.

А проблемы потихоньку нарастали. В конце сентября 1934 года газета «Парагуай», отмечая массовый характер переселения, призывала малоимущих воздержаться от путешествия, поскольку парагвайское правительство «не в состоянии финансировать их приезд». Но Беляев не останавливался перед трудностями. Сначала он даже приветствовал их! Он считал, что трудности должны закалять характер колонистов, способствовать созданию ядра по-настоящему патриотической эмиграции, озабоченной не быстрым достижением материального благополучия, не идейными сварями, подорвавшими тысячелетние устои святой Руси, а перспективами духовного роста.

В декабре генерал Беляев вносит в палату депутатов парагвайского парламента проект закона «О правах и привилегиях казаков и русских белоэмигрантов», предусматривающего свободу вероисповедания, создание национальных школ, сохранение казачьих обычаев и традиций, в частности общинное владение землей, общинное страхование, полный запрет на продажу спиртных напитков ближе чем в пяти километрах от границ создаваемых колоний. Иван Тимофеевич пишет о недопустимости дискриминации приезжающих колонистов по возрасту, полу, имущественному положению, физическим или умственным способностям, предлагает внести в закон пункт о неучастии колонистов в политических партиях и организациях, их полной лояльности в отношении страны проживания. Все прибывающие должны были освобождаться от уплаты пошлин на ввоз личного имущества на срок до десяти лет.

Совершенно очевидно: Беляев упорно шел к своей цели, пытаясь воссоздать в Парагвае структуры, напоминающие устройство галлиполийского лагеря Врангеля и Кутепова, — строгая дисциплина и изолированность от обычаев и культуры местного населения. Практика пока следовала за его теорией. Но насколько теория была верна?..

История «Русского очага» в Парагвае, на наш взгляд, весьма поучительна. Она еще раз подтвердила, что во всяком деле, большом ли, малом, главное — люди, а не структуры, системы или модели. Любая, даже самая блестящая теория может обратиться в свою противоположность, если не будет людей, которые наполнят ее жизнью и согласятся пойти ради ее осуществления на определенные жертвы. Да, есть прирожденные герои, способные каждый день собираться на труд и на подвиг, — одним из таких и был Иван Тимофеевич Беляев, но как требовать каждодневного

героизма от большинства? Представьте себе людей, не снимавших военную форму с 1914 года, прошедших ужасы Мировой и Гражданской, переживших потерю близких и Родины, унижение эмиграции, глубоко разочаровавшихся во всех идеях и носителях этих идей. Готовы ли они с энтузиазмом ринуться в новый, пусть даже замечательный и патриотичный, но все же... лагерь?!

Появились недовольные, не понявшие и не принявшие беляевских идей. Готовились найти тихую пристань — им предлагают еще потерпеть. Среди хулителей Беляева, которых, оговоримся сразу, было немало, тон задавали так называемые возвращенцы — совсем не герои, люди, принимающие позицию того, на чьей стороне сила, власть и деньги.

Некий Шостаковский, побывавший в Парагвае и шапочно знакомый с Беляевым, писал потом в своей книге «Путь к правде», вышедшей в СССР: Беляев был «близкий друг покойного царя, уговаривавший его убить Распутина», а войны между Боливией и Парагваем не должно было быть (!), поскольку «граница не была обозначена на местности». По «правде» Шостаковского выходило, что именно Беляев своими экспедициями в Чако спровоцировал войну, а после нее гнусно шантажировал парагвайское правительство, пытаясь подтолкнуть его к новому конфликту — с Бразилией и Аргентиной (!), в целях пересмотра результатов войны «Тройственного союза» 1864—1870 годов, для чего и привлекал в Парагвай русских эмигрантов, поощрял смешанные браки, пытаясь создать новую гуарани-казашскую расу...

Примерно в том же духе писал репортажи из Парагвая Парчевский, сотрудник парижской эмигрантской газеты «Последние новости». Копии этих репортажей, по словам писателя Романа Гуля, почему-то регулярно доставлялись в советское постпредство. «Не удивляюсь, — констатировал Гуть. — Впечатления Иисуса Христа Парчевский никак не производил. Во время войны он со всей семьей уехал в СССР, причем вовсе не в Архипелаг ГУЛАГ, а на работу».

Михаил Каратеев, ветеран освоения Парагвая, прибывший туда из Люксембурга в составе пятой группы в сентябре 1934 года, провел в Парагвае незабываемые пять лет, год из них — в колонии «Эсперанса», под Консепсьоном. Каратеев жил и скончался в 1978 году в Буэнос-Айресе. Он стал известным писателем, автором исторической эпопеи «Русь и Орда», а также многочисленных исторических очерков. В 1972 году в Буэнос-Айресе вышла его книга «По следам конквистадоров», которая была переведена на русский язык. Из этой книги наш массовый читатель наконец впервые узнал о генерале Беляеве. Знакомство это, оговоримся сразу, не производило приятного впечатления. Но есть в книге

интересные подробности быта парагвайцев конца 30-х годов прошлого столетия.

Начнем с эпизода встречи Каратеева с генералом Беляевым на реке Парана: «Не проехали мы и двух верст, как к нам приблизился быстроходный военный катер. На его баке стоял невысокий человек с бородой в форме дивизионного генерала. Это был столь прошумевший в те годы И.Т. Беляев. Кроме него на катере находилось еще четыре офицера, все они тоже оказались русскими. Беляев был добродушен, приветлив и держался просто, без всяких потуг на сановное величие». Агитируя вновь прибывших ехать в малообжитое место, генерал, по словам Каратеева, заявил: «Самое главное — вы будете там первыми и, естественно, господами положения и ядром будущей колонизации, тогда как в Энкарнасьон понаехал всякий сброд и с первых же дней вам пришлось бы там дышать атмосферой интриг и разложения. Вот почему я и выбрал для вас это новое, великолепное место, куда мы поедem вместе, и я вас оставляю только тогда, когда все будет налажено и устроено».

Теперь о Парагвае и парагвайцах: «Архитектурный облик Асунсьона убийственно провинциален. Многоэтажных домов в мое время там не было, двухэтажные встречались только в центральных кварталах... Летом от одиннадцати до четырех часов дня — время самой отчаянной жары — магазины и учреждения закрыты, работы всюду прекращаются и публика погружается в спячку (так называемую сиесту). На улицах в эти часы не видно ни души, и город кажется вымершим. К вечеру он оживает, незатейливые кафе наполняются публикой, а домоседы вытаскиваются на улицу скамейки и стулья, а то и просто усаживаются на тротуаре, свесив ноги в канаву и подставляя облаченные в пижаму тела под еле ощутимое веяние тянущего вдоль улицы ветерка...

В Парагвае того времени увидеть где-либо выброшенную бутылку или банку из-под консервов было совершенно невысказано, ибо и то и другое представляло для парагвайца известную ценность, и даже не столь уж малую (литр превосходной каньи, например, стоил тогда 20 песо, а в залог за бутылку брали 25). И попав впоследствии в Аргентину, я первое время никак не мог привыкнуть к тому, что эти «ценности» валялись повсюду, ни в одном прохожем ни вызывая желания их подобрать...

В те отдаленные времена воровство тут носило совершенно самобытный характер, подчиняясь законам какой-то своеобразной этики. Забравшись в чужой дом, вор зачастую уносил какие-нибудь грошовые безделицы или старье, оставив без всякого внимания вещи действительно ценные. И из-за этих пустяков он рисковал жизнью, ибо здесь каждый вооружен и по законам того

времени мог застрелить на месте не только вора, но и любого постороннего человека, без спросу вошедшего в дом или во двор. Знаю случай, когда вор, увидев на столе бумажник, в котором была довольно крупная сумма денег, ограничился тем, что вынул из него сравнительно небольшую часть, а остальное оставил... Если у вас крали корову, то исключительно с целью полакомиться мясом и, как правило, оставляли на изгороди аккуратно снятую шкуру, которая здесь имела относительно высокую ценность. Если крали лошадь, то обычно чтобы доехать на ней куда надо, после чего ее отпускали на волю и она, в большинстве случаев, возвращалась домой...

Путешествия по всей тропической зоне Парагвая были совершенно безопасны, и о каких-либо нападениях и грабежах мне не приходилось слышать, равно как и о пьяных скандалах с применением огнестрельного оружия. Здесь существует весьма мудрая традиция, или неписанный закон: входя в какое-либо питейное заведение, каждый прежде всего отстегивает револьвер и вручает его хозяину, чтобы забрать только при выходе...

Говоря о безопасности передвижения по парагвайской провинции, следует сделать одну маленькую оговорку относительно женщин. Во всей Южной Америке распространен обычай: если молодая женщина идет одна — будь то в глухом селе или в центре столицы, — почти каждый встречный мужчина отпустит ей какой-нибудь банальный комплимент или вполне вежливо попытается заговорить, а дальше уже ведет себя в зависимости от того, как это будет принято. Если никак, он больше не пристаёт и идет своей дорогой. Если к женщине никто на улице не пристаёт, это служит для нее очень печальным признаком...

Всеобъемлющая парагвайская босоноготь вовсе не является следствием бедности, как я вначале думал. Парагвайцы отличаются каким-то органическим отвращением к обуви, часто доходящим до анекдотичности. Помню, однажды в лучшем обувном магазине Асунсьона я покупал себе ботинки, когда туда вошел парагваец, одетый в безукоризненно сшитый европейский костюм, при галстукке, накрахмаленном белом воротничке и прочих онерах. Ботинки на нем тоже были, но он хотел купить новые. Примерив несколько пар, он выбрал наконец одну из самых дорогих, затем попросил у продавца сапожный нож и собственноручно вырезал на обоих новых ботинках по большой круглой дыре в области мизинцев, где у него, очевидно, были мозоли, надел обновку, расплатился и вышел. Русские офицеры, участники боливийской войны, мне рассказывали, что даже в Чако, где земля покрыта всевозможными колючками и зарослями кактусов,

солдаты упорно ходили босиком, а выданные им казенные ботинки носили в ранцах и всячески старались потерять...

И другая сценка, традиционная для тогдашнего Асунсьона: на главной улице стоит полицейский и дирижирует движением. Он в полной форме, но босиком, а сапоги стоят рядом. Однако, если в поле его зрения появится прохожий, хотя бы отлично одетый, но без пиджака, он его немедленно арестует — это тут считалось вопиющим неприличием. А в пижаме можно было разгуливать по столице сколько угодно...

Типичный парагваец приятен лицом (многие даже красивы), роста среднего, сух и мускулист. Женщины черноволосы, черноглазые и смуглые, черты лица у большинства правильны, фигуры идеальны. Большой процент подлинно красивых, но эта красота однообразна, европейцу все они первое время кажутся похожими друг на друга, как сестры. Как и мужчины, все курят, и притом (в провинции) исключительно сигары, которые в каждой крестьянской семье изготавливают из собственного табака. И поначалу это обстоятельство весьма шокировало наших кавалеров. Помню, как мой приятель, Оссовский, большой поклонник прекрасного пола, однажды возмущался:

— Иду, понимаешь, по кампе* и вижу: едет навстречу верхом молодая бабенка, хорошенькая до одури, сложена, как богиня. Я прямо рот разинул! Но в зубах у красавицы торчит проклятая сигара! Мало того, увидев меня, она вынула ее изо рта, всунула между пальцами босой ноги, чтобы не мешала, смачно, как верблюд, сплюнула в сторону, а потом принялась поправлять волосы и охорашиваться. Сразу весь аппетит отбила!

Как следствие огромного недохвата мужчин парагвайские нравы приобрели некоторые оригинальные особенности, и тут вошла в обычай своеобразная форма многоженства. Ни правительство, ни церковь никакой борьбы с этим явлением не вели, ибо при таком положении оно было неизбежно и стране в конечном счете выгодно. Многие парагвайцы помимо своей официальной, венчаной, жены имели одну или несколько неофициальных. Дети от побочных браков в Парагвае пользуются всеми правами законных и в их положении ни общество, ни они сами ничего зазорного не видят. Парагвайки отличные, заботливые матери, и многие из них, наплотив детей от случайных связей, тяжелым трудом содержали семью и как-то умудрялись всех поставить на ноги...»

Пожалуй, достаточно бытописаний. Меткий взгляд и бойкое перо Михаила Дмитриевича, надеюсь, доставили читателю неподдельное удовольствие и заставили, может быть, пожалеть о том,

* Парагвайская степь, покрытая высокотравьем.

что безвозвратно ушли времена, когда в мире еще существовали островки такой вот наивной и неглобализированной культуры. Наверное, если бы качества современного, свободного от комплексов человека перенести в Парагвай 30-х годов, то убийство за пустую бутылку стало бы там самым распространенным явлением.

Почитав о тяготах и лишениях, которые пришлось вынести Каратееву и его товарищам в Парагвае (а были среди них и женщины!), читатель наверняка проникся бы к нему неподдельным сочувствием, а может быть, даже и усомнился в деловых и человеческих качествах генерала Беляева. Ведь Иван Тимофеевич, по Каратееву, — это оторванный от жизни экспериментатор, беспощадный к своим соотечественникам и по-настоящему обеспокоенный только судьбами индейцев. Его экспедиции в Чако преследовали цель не столько освоения местности, топографических съемок и составления карт, сколько изучения языка и фольклора индейских племен. Парагвайские генералы разочаровались в Беляеве якобы потому, что его карты Чако оказались непригодны во время войны с Боливией.

Дальше — больше. В одной из своих экспедиций Беляев якобы бросил своего спутника — лейтенанта Игоря Оранжевеева, посчитав его умершим от тифа. Но лейтенант выжил и был случайно спасен индейцами. Что же касается претензий Беляева на роль «директора колонизации», то, если верить Каратееву, генерал, в сущности, действовал как частное лицо, вступив в жесткую конкуренцию с несколькими десятками таких же «легитимных колонизаторов». Все они, в том числе и Беляев, неплохо погрели руки на этом предприятии.

Беляев, оказывается, был не чужд и элементарного бахвальства. Он якобы любил распространяться о том, как покорил индейцев своей лаской и обхождением и как они каждый день проходят неблизкий путь пешком, чтобы только повидаться с ним. Особенно курьезными Каратееву показались слова генерала о том, что чимакоки пожаловали его званием касика в клане Тигров.

«Маленький, шустрый и благодушный, Беляев был похож на тигра, как гвоздь на панихиду (блестяще! — *Авт.*). Дома жена его ласково называла Заинькой, и это подходило к нему гораздо больше».

Принципиально не станем опровергать выдвинутые против Ивана Тимофеевича обвинения. Приведем только выдержки из письма, отправленного Каратеевым двоюродной племяннице Беляева Е.М. Спиридоновой 27 октября 1945 года. Михаил Дмитриевич в то время был уже председателем «Славянского союза Уругвая» и проживал в городе Монтевидео. Спиридонова незадолго до этого заняла тот же пост в «Славянском союзе Бразилии» и жила в Рио-де-Жанейро. Все эти союзы и общества, возникшие после

победы СССР над фашистской Германией в разных городах Южной Америки, носили названия «Молотов», «Сталинград» и т. д. и спонсировались по линии НКВД.

Итак, письмо. «...Основной принцип *нашей* (курсив мой. — *Авт.*) работы: на общественном посту надо стоять очень твердо. Дезертирство, уход с поста под влиянием трудностей, обиды, неправды, даже клеветы и оскорблений НЕ ИМЕЕТ ПРОЩЕНИЯ (выделено М.Д. Каратеевым. — *Авт.*). Это тот ужасный недостаток, который характерен для нашей старой интеллигенции и который почитается преступлением с точки зрения новой, советской. Обладая выдержкой и внутренней твердостью, Вы всегда приведете массы к правильному пониманию того или иного явления.

...Сегодня можно быть националистом во всеславянском или советском масштабе, но никак не в русском, украинском или литовском. Надо воспитывать... в этом направлении, пользуясь статьями больших славянских авторитетов, цитатами из Ленина, Сталина и других вождей. Если Вы скажете, что поляк и украинец прятая, Вам поначалу могут не поверить, но если Вы найдете соответствующую цитату в речи Молотова, то никто не усомнится, что это верно.

Лучше доверить какую-либо работу человеку малограмотному, но преданному и честному, чем грамотному интригану или сидельцу на двух стульях. Много зависит от умения подойти к простому человеку и обращаться с ним. Из нашей интеллигенции это мало кто умеет».

Вот такую своеобразную этику исповедовал дворянин, бывший белый офицер и политэмигрант М.Д. Каратеев. И она принесла плоды. В письме Спиридоновой от 30 января 1946 года он сообщал, что сдал должность председателя союза, поскольку «получил официальную советскую службу в ТАССе», специально отмечая, что *об этом пока не следует много говорить*. Однако, добавлял Каратеев, «нашу переписку стоит продолжать, так как она имеет интерес не только для «Славсоюза», но также и для ВОКС» (Всесоюзное общество культурных связей. Если бы Каратеев добавил прямо «и НКВД», то ничего бы в принципе не изменилось).

Нет, нельзя требовать от людей ежедневного героизма. И поэтому довольно распространенное среди нашей эмиграции явление, которое по-булгаковски можно было бы назвать майгелевщиной, вполне понятно. Но «понять» далеко не всегда означает «простить». Особенно когда такой вот сиделец на двух стульях — темно-белый внутри, ярко-красный снаружи — зарабатывает билет в Союз, очерняя прошлое России, ее людей, религию, культуру и, конечно же, «ненавистных белых генералов» как квинтэс-

сенцию мирового зла. Но Каратеев оказался далеко не самым пропавшим из таких «сидельцев», очевидно, все-таки благодаря своему уму и таланту. Кстати, даже поработав корреспондентом ТАСС в Аргентине, он так и не решился вернуться в СССР. Шестое чувство, должно быть, не подвело...

А что касается славсоюзов, судьба их оказалась незавидной. Уже в ноябрьском письме к Каратееву из Рио Спиридонова с грустью отмечала, что собрание в обществе «Молотов» закончилось пьяной дракой, а в мае 1946 года писала, что «Славянское общество» в столице Бразилии власти «закрыли с треском». Она констатировала упадок славянского движения в Южной Америке — «этому способствует политическая обстановка», «настроение военных лет падает», в славянской среде Южной Америки «не осталось авторитетов».

Вернемся, однако, к «Русскому очагу». К концу 30-х годов беляевская идея теряет первоначальный смысл и вырождается в обычные хлопоты по бытоустройству. Переселенцы из Европы спешат перебраться из кампы в города и заняться более привычным делом, чем сельское хозяйство, благо победа над Боливией, одержанная с помощью русских, открывает некоторые перспективы. Очень многие покидают разоренный войной Парагвай и оседают в соседних странах — Аргентине, Уругвае и Бразилии.

Упрекая Беляева в непреднамеренном, да и в преднамеренном обмане колонистов, собиравшихся по его зову в Парагвай, Каратеев как бы забывает, что генерал заранее оговаривал условия, которые могли стать залогом успеха. Напомним: большой процент землеробов, верные люди во главе дела и вера в правильность избранного пути. Обобщая опыт колонии «Надежда», Каратеев невольно подтверждает: если бы все эти условия соблюдались, итоги русского исхода в Парагвай могли бы быть иными.

«Многие колонии, зародившиеся одновременно с нашей, — писал Михаил Каратеев, — пережив неизбежные невзгоды первых лет, прочно стали на ноги и достигли относительного благосостояния. Но эти колонии были основаны крестьянами, тогда как все составившиеся из городских элементов почти сразу зачахли. Причина проста: когда на горожанина посыпались неудачи и его ододела тоска, он вспомнил, что у него есть в запасе какая-то городская специальность, которая может избавить от всех «прелестей кампы». У крестьянина такой возможности не было, а поэтому он волей-неволей должен был стиснуть зубы и перетерпеть. Это терпение и приводило его к победе».

— Может, среди вас все-таки есть хоть один крестьянин? — попытывался у Каратеева сотрудник эмигрантской газеты при отплытии его группы из Гавра. — Ну, вот этот? — с надеждой в голо-

се спросил он, указав глазами на проходившего мимо поручика Дюшенкова, который в счет будущего своего крестьянского положения начал отпускать бороду.

— Такой же земледелец, как и все прочие. Окончил гимназию и военное училище. Прекрасный офицер, но плуг, надо полагать, видел только на картинке, — отвечал Каратеев.

Многие отправляемые в Парагвай группы были именно такого состава. Анкетирование, проводившееся перед отъездом, ставило целью выявить политическую ориентацию кандидата в колонисты, но отнюдь не его умение или неумение трудиться на земле.

Недоучет реальности Беляеву действительно можно было бы поставить в вину. В его теории просматривалось явное противоречие: «большой процент землеробов» — значит, ставка на крестьян и казаков, «верные люди во главе дела», «вера в правильность избранного пути» — расчет на интеллигенцию и офицерство, причем офицерство, еще сохраняющее веру и идеалы. В конце 20-х годов таких было немало. Мужество, проявленное ими в Чакской войне, оправдывало расчеты Беляева. Но иммиграция 30-х годов была уже качественно иной. После всех скитаний русские, сполна отведавшие и предательства бывших союзников, и глумления бывших противников, сосредоточились на проблеме выживания.

Занятость работой в штабе командующего, выполнение миссии по сопровождению в Чако комиссии Лиги Наций несомненно мешали Ивану Тимофеевичу оперативно отслеживать настроения в эмигрантской среде. Выходит, не столько материальный, сколько моральный, психологический фактор оказался причиной неудачи.

«Из колонистов-горожан, — читаем у Каратеева, — наша группа имела больше шансов на успех: она была отлично экипирована, достаточно обеспечена деньгами, а ее людской состав был однороден, дисциплинирован и качественно хорош. В результате даже после покупки основного инвентаря (топоров, пил, лопат и прочих сельскохозяйственных инструментов, а также оборудования кузнечной, слесарной, столярной и сапожной мастерских) у нас оставалось более половины полученной суммы. При баснословной дешевизне и рекордно низкой валюте Парагвая этого по приезду на место вполне хватало на обзаведение скотом и всем, что необходимо в хозяйстве, а также на текущие расходы до того времени, когда колония начнет приносить доход. Таковы, во всяком случае, были теоретические расчеты, и надо добавить, что они могли бы осуществиться на практике, если бы налицо оказались два необходимых фактора, которые у нас, увы, отсутствовали: знание дела, за которое мы брались, и достаточное благоразумие... Если бы нашей общей судьбой и кассой не распоряжался человек (полковник Кер-

манов. — *Авт.*), ничего не смысливший ни в хозяйстве, ни в вопросах администрации, но в то же время безгранично самоуверенный, судьба колонии могла сложиться совершенно иначе.

А вот что рассказал один уже очень немолодой человек, с которым мне посчастливилось встретиться летом 2002 года в Москве, — Павел Львович Шебалин, юношей попавший в Парагвай, а ныне проживающий в Сан-Франциско. Шебалин был хорошо знаком с Беляевым и, как никто другой, знал изнутри жизнь русской колонии в Парагвае: «Каратеев и ему подобные рассчитывали на слишком многое. Группа Керманова приехала из Европы с большими деньгами, купила все на корню — кукурузу, хлопок, а потом... ударились в загул. Ну как же без этого?! Ведь все кругом росло само по себе, не нуждаясь в уходе. пляж, выпивка, танцы до упаду, стрельба, дым коромыслом. Люди жили, не думая о завтрашнем дне. Но деньги имеют обыкновение быстро кончаться. Кое-какой урожай собрали, а посеять не смогли. Что же мог предложить им Беляев? Все они были коррумпированы городом и стали потихоньку разбредаться. Каратеев уехал одним из первых».

Но была еще одна причина, которая подорвала идею «Русского очага» — раздрай в иммигрантской верхушке. Многие колонисты, недовольные Беляевым, спешили примкнуть к одной из трех соперничавших в Парагвае группировок.

Едва ли не с первого дня моего пребывания в Парагвае, — вспоминал Иван Тимофеевич, — на меня обрушилась буря нападок. Не щадили меня ни левые, ни правые. Обвинения сыпались даже от бывших соратников — белых, что я совращаю верных им чинов, и со стороны врагов русской национальности, проклинавших Парагвай.

И это не случайно. Идея «патриотической эмиграции», отвергавшая как интервенционистские, так и приспособленческие цели, грозила пошатнуть позиции тех, кто уже обеспечил себе авторитет и добился привилегий. Сильным ударом по плану создания «Русского очага» стал уход из жизни наиболее влиятельных фигур русской эмиграции, с пониманием и поддержкой относившихся к плану Беляева, — Петра Николаевича Врангеля, Африкана Петровича Богаевского, Александра Павловича Кутепова.

Это помогло, по словам Беляева, тем его недругам в Парагвае, которых все больше раздражало то исключительное влияние, которое Иван Тимофеевич оказывал на жизнь русской колонии.

Как военный служащий, накануне и в разгар войны я не мог выступать в печати иначе, чем в исключительных случаях, — отмечал генерал Беляев. — Официально назначенный руководить переселением в деликатных условиях местной политической игры, я был вынужден к величайшей осторожности даже в выражениях, чтобы не погу-

бить дело в зародыше... Были и еще причины, побуждавшие меня к молчанию. Я не мог разоблачать тех, кого только что сам вывел в люди, ругаясь за их высокие качества.

Среди оппонентов Беляева оказался генерал Николай Францевич Эрн, его старый знакомый еще с дореволюционной поры. Николай Эрн закончил Елисаветградское кавалерийское училище и Академию Генерального штаба. Командовал 18-м драгунским полком. В Первую мировую войну генерал-майор Эрн был начальником штаба Русского экспедиционного корпуса во Франции, удостоился Георгиевского креста. Воевал в Добровольческой армии. После эвакуации из Севастополя в 1920 году его многочисленное семейство осело в Югославии, бедствовало там. Беляев обеспечил условия для переезда Эрнов в Парагвай и даже передал Николаю Францевичу свою кафедру фортификации в Военной школе. Во время войны Эрн сделал немало для оборудования инженерных позиций парагвайской армии. После войны получил должность генерал-инспектора парагвайской армии. Воевал в Чако и сын Николая Францевича — лейтенант Борис Эрн. После войны Борис остался служить в армии Парагвая.

Представительный, под два метра ростом, генерал Эрн, уверенный в себе, умевший завязывать нужные знакомства, выгодно отличался от невзрачного на вид Беляева, который к тому же частенько не ладил с начальством. После того как Эрн добился для себя официальной должности главы южноамериканского отдела РОВС, неформальное лидерство Беляева в эмигрантской среде, естественно, перестало его устраивать. Кроме того, поскольку РОВС официально еще продолжал придерживаться тактики вооруженной борьбы с коммунизмом, Эрну было как-то не с руки поддерживать идею патриотической эмиграции, которая была нацелена на отдаленную перспективу.

Другим оппонентом Беляева стал инженер Сергей Сергеевич Бобровский. Он олицетворял то самое приспособленческое направление, которое отвергало все, что могло отвлекать от добывания жизненных благ. Бывший генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Санкт-Петербургской инженерной академии, Сергей Сергеевич Бобровский был выпускником Пажеского корпуса и до революции успел побыть камер-пажом последнего императора. В Парагвай он прибыл из Англии, где в годы Первой мировой войны работал в комиссии по закупке вооружения. Его сын Сергей закончил кадетский корпус в Аргентине, воевал в Чакскую войну в кавалерийском полку, которым командовал майор Корсаков. Сергей Сергеевич (старший) стал одним из первых деканов физико-математического факультета Асунсьонского университета, а позже возглавил Управление путей сообщения в

инженерном департаменте министерства общественных работ. Идеи Беляева и его усилия по привлечению в Парагвай эмигрантов были глубоко чужды Бобровскому. Их дома на авениде Колон стояли напротив — и их отношения напоминали, по едкому замечанию сеньоры Спиридоновой, войну Алой и Белой розы.

Усилия оппонентов Беляева концентрировались сначала на поощрении альтернативных иммиграционных проектов, а затем на привлечении в свой лагерь всех недовольных Беляевым.

Вот как это делалось. В марте 1934 года Беляев получил от президента общества «Русская эмиграция в Африку», некоего Федорова, письмо с просьбой содействовать выезду в Парагвай примерно тысячи русских казаков и староверов с семьями, осевших в Литве. Сначала они намеревались податься в Марокко, но, ознакомившись с опубликованным манифестом Беляева, остановили выбор на Парагвае. В ответном письме Иван Тимофеевич одобрил эту идею и предложил прислать к нему представителя федоровского общества, которое именовалось теперь «Русская эмиграция в Южную Америку».

В июне к Беляеву в Асунсьон прибыл представитель Федорова — полковник Булыгин. Личность известная. Организатор неудавшейся попытки освобождения царской семьи, участник «Ледяного похода», член Следственной комиссии по делу о цареубийстве, учрежденной в августе 1919 года Колчаком, Булыгин за годы эмиграции напитался жгучей ненавистью к коммунизму и уже не мог терпеливо дожидаться его естественной смерти. Талантливый поэт, издавший в эмиграции несколько сборников стихов, он обладал слишком кипучей и авантюрной натурой, чтобы откладывать что-то на потом. В конце 1924 года Павел Петрович Булыгин оказался в Абиссинии (Эфиопии) на службе в качестве инструктора пехоты императорской армии, затем взялся... за управление государственной кофейной плантацией. «Он хотел испытать новые ощущения, пробовать свои силы на новых, незнакомых, удивительных поприщах — храброе сердце, неугасимая энергия, вера в себя, свою судьбу и будущее» — так отзывался о Булыгине исследователь его творчества П. Пильский.

В Асунсьон Булыгин привез известие, что в Литве для эмиграции в Парагвай зарегистрировались уже до пяти тысяч человек и что Федоров как «личный агент генерала Беляева» просит ходатайствовать перед правительством Парагвая о назначении его почетным консулом этой страны в Литовской Республике. Иван Тимофеевич согласился выполнить эту просьбу и 30 июня отправил Федорову телеграмму, что признает его своим личным представителем и уже подал прошение в парагвайский МИД о назначении Федорова почетным консулом.

Казалось, все шло гладко. Но в Асунсьоне Булыгин встретился с Эрном. Николай Францевич постарался, как только мог, дискредитировать идею «Русского очага». По возвращении в Литву Булыгин негативно настроил Федорова по отношению к Беляеву, после чего последовал разрыв федоровского общества с колони-зационным центром Беляева.

Федоров все-таки получает звание почетного консула Парагвая в Литве, так как Беляев считает недостойным отзываться свое ходатайство из парагвайского МИДа, и объявляет о независимом характере своей организации, приглашая приличия ради Беляева принять в ней участие при условии полного разрыва с колони-зационным центром. На это Беляев, разумеется, не идет.

М.Д. Каратеев по поводу поведения представителей «конкури-рующей фирмы» пишет: «Однажды кто-то нам сообщил, что в Консепсьон приехала новая партия русских колонистов. Генерал был в отъезде, и мы, чрезвычайно удивленные, немедленно от-правили в город двух человек. Выяснилось, что привезла их дру-гая организация, которую возглавлял конкурент Беляева полков-ник Булыгин. По распоряжению последнего в дом, где остановились эти крестьяне, нас не пустили, и были приняты все меры, чтобы никаких встреч и разговоров между нами не допус-тить.

Несколько дней спустя в порядке осмотра окрестностей эта группа посетила агрономическую школу. Все мы сидели во дворе, когда туда вошло человек пятнадцать крестьян. Впереди с камен-ным лицом шел Булыгин... Булыгин — кадровый офицер и перво-походник, прекрасно зная, что и мы все офицеры, нас «не замечал». Он был эрновской ориентации и тех, кто вольно или невольно соприкоснулся с Беляевым, за «рукопожатных» людей, очевидно, не считал. Когда я все же улучил удобную минуту и об-ратился к одному из крестьян с каким-то вопросом, тот, испуган-но оглянувшись, ответил: «Нам говорить с вами не велено, а кто не послушает, тому не дадут земли».

Так это было или нет — ручаться за объективность Михаила Дмитриевича не беремся, но идейный разброд — этот бич Белого движения, заставил двух таких его ярких представителей, как Беляев и Булыгин, разойтись по разные стороны баррикад.

17 февраля 1936 года Павел Петрович Булыгин скончался от кровоизлияния в мозг, сидя в кресле на веранде своего дома. Смерть наступила мгновенно. Его лучший друг в Парагвае Влади-мир Александрович Башмаков — капитан парагвайской армии и участник Чакской войны, отправился в город за священником и всем необходимым в таких случаях. Но утром в Асунсьоне вспых-нул военный мятеж против президента Э. Айалы, и Башмакову,

что называется, крупно не повезло. Он стал единственным русским, погибшим не на полях сражений в Чако, а от шальной пули в парагвайской междоусобице. Булыгин и Башмаков похоронены рядом на русском кладбище.

Растаскивание идеи «Русского очага» продолжалось. Стремясь воспользоваться первой пробитой в проекте Беляева брешью, в 1934 году в парагвайское консульство в Париже явился некий Падушка и потребовал себе прав, аналогичных правам колониального центра. Хуан Лапьер немедленно отправил Беляеву телеграмму с просьбой настоятельно потребовать от МИДа подтверждения своих исключительных полномочий, но МИД не отреагировал. Парагвай был заинтересован в привлечении как можно большего числа иммигрантов для их последующей ассимиляции, а не в создании на своей территории национальных анклавов с малопредсказуемыми последствиями в будущем. Ведь даже в ходе войны правительство Айялы не поддержало планы создания особых пограничных частей, состоящих из казаков.

На каком-то этапе Иван Тимофеевич, иронично окрестивший себя «парагвайским сфинксом» за вынужденное бездействие и молчание, понял: и обстоятельства, и люди против него, и признался себе, что «дело русской эмиграции стало как будто выдыхаться».

Но Беляев не замкнулся, не обиделся, не прекратил оказывать поддержку тем, кто в ней нуждался.

— А, очередные жертвы генерала Беляева! — воскликнул генерал, увидев у дверей своего дома беглецов из колонии «Эсперанса», в числе которых был и Каратеев. — Не хватило терпения дожидаться результатов труда, начатого с таким успехом? Ожидали, что сразу же посыпятся в рот золотые яблоки? Что ж, трудновато будет и с квартирой, и со службой... Однако не унывайте, все обойдется, а я по мере возможности вам помогу.

«И действительно, — признается Каратеев, — генерал раздобыл нам квартиры, выхлопотал необходимые документы, а потом многим помог устроиться на службу. Несколько человек из нашей группы позже были приняты офицерами в армию и все дослужились до высоких чинов. Из остальных, насколько я знаю, в итоге тоже никто не пожалел о том, что покинул Европу...»

Хлопоты Ивана Тимофеевича «по эмигрантской части» не прекращались вплоть до самой его смерти, несмотря на огромную занятость изучением индейских племен, защитой прав индейцев Парагвая. Эти проблемы стали главными в его жизни в начале 40-х годов.

Изоляция Беляева в русской колонии все усиливалась. Многие не простили ему того, что он первым публично выступил в поддержку СССР после нападения на него фашистской Германии. «Сталин — русский богатырь!» — эти слова в мемуарах генерала просто потрясают. Как же так? Ненавидивший большевизм за разрушение России, уничтожение ее людей, религии и культуры, Беляев вдруг высказывает уважение к одному из самых рьяных ее разрушителей. Может быть, и его на закате дней начали посещать возвращенческие настроения? Нет! О возвращении в Союз Беляев не помышлял и, судя по многочисленным свидетельствам, до последнего вздоха сохранял антикоммунистические убеждения и оставался монархистом. Что же тогда?

Продолжим разговор с Александром Георгиевичем фон Экштейном-Дмитриевым в его асунсьонской квартире, состоявшийся в августе 1994 года. Его рассказ стал для нас поистине сенсационным.

Александр Георгиевич отхлебывает свой жидкий чай:

— Нападению Гитлера многие у нас радовались, думали: он несет с собой освобождение от большевизма. А в то, что он стремится поработить Россию и считает славян людьми «второго сорта», поначалу не верили — это, мол, коммунистическая или англо-американская пропаганда. Американцев и англичан в Парагвае, кстати, особо никогда не любили. Как бы в пику им здесь всегда было модно восхищаться мощью и успехами Германии. Я же, хоть сам наполовину немец и мои братья воевали на стороне Гитлера, никогда не разделял этого восхищения. По духу я — русский! Я — Дмитриев!

Работая в разведотделе министерства обороны, я был в курсе происходящего и не питал никаких иллюзий в отношении намерений господина Гитлера. Вот и Беляев, несмотря на то что его считали «идеалистом», оказался гораздо реалистичнее многих, в частности эрновцев, почти поголовно поддерживавших в начале войны Германию. Иван Тимофеевич видел, что усилия его противников в Парагвае направлены на то, чтобы разложить русскую колонию, лишить ее патриотического духа. Они надеялись, что их «мощные организации» (очевидно, РОВС. — *Авт.*) с помощью Германии разгромят большевистскую Россию. «Но о России, — заявил мне тогда генерал, — им нечего и мечтать! Мечтать явиться туда на штыках немцев могут лишь идиоты или обманщики».

Тогда очень многие перестали здороваться с Беляевым, хотя он, как человек воспитанный, по-прежнему раскланивался со всеми. Мало того! В отношениях с людьми он продолжал придер-

живаться неистребимой «гвардейской» этики. Помню один небольшой казус. Николай Корсаков долго ухаживал за дочкой Эрна, Талой, даже жениться обещал, а потом, как говорится, передумал. Так вот Беляев, пусть они с Эрном и были врагами, перестал подавать руку Корсакову и даже после того, как Николай помирился с Эрном, поддерживал с ним довольно холодные отношения. Беляев никогда не был жестоким, но, когда надо, умел быть предельно жестким.

В те годы генерал мало появлялся на людях. Он в основном хлопотал о своих индейцах. Правда, пару раз в день заходил в храм. Поставит свечку, помолится и уйдет. Вечерами иногда навещал меня, мы пили чай, вспоминали наш поход к Питиантуте, говорили о недавно прошедшей войне у нас, о войне в Европе.

И вот в этих разговорах... Его слова о Сталине тоже сначала показались мне дикими! Но потом... Смотрите: Сталин — это великая загадка. Загадка — его поведение в годы войны. Как мог человек, отринувший всю прошлую историю и культуру России, усвоивший только набор марксистских штампов о «классовой борьбе», вспомнить вдруг об Александре Невском, о Дмитрие Донском, Суворове и Кутузове?! Как мог человек, удушавший религию, расстреливавший священников, взрывающий храмы, вспомнить вдруг о Боге? А ведь именно русский — не советский — патриотизм стал залогом победы над Гитлером!

Вы скажете: испугался, мол, Сталин, вот и ухватился за последнюю соломинку, переступил через себя — ввел погоны, гвардейские звания, воззвал к священным чувствам. То же самое я говорил и Беляеву!

А Иван Тимофеевич Беляев был глубоко верующим человеком. Он считал, что Россия всегда была хранима и спасаема Богом, и только когда русские люди стали о нем забывать, Творец отвернулся от них. Кстати, об этом же говорит и ваш писатель Солженицын...

Беляев считал, что, когда немцы напали на Россию, Бог вселил в Сталина дух Петра Великого. Ну подумайте сами, как мог необразованный сын пьяницы-сапожника, не умевший видеть дальше собственного носа, уничтоживший перед войной все свои лучшие военные кадры и безобразно прошляпивший момент ее начала, так образцово потом организовать усилия фронта и тыла, гениально — разумеется, вместе со своими маршалами! — планировать операции и отстаивать интересы России в отношениях с союзниками?

Потом все вернулось на круги своя, и Сталин стал прежним. Снова начались репрессии, людей опять загнали в казарму, развязали «холодную войну», ну и так далее — вы все это хорошо знаете.

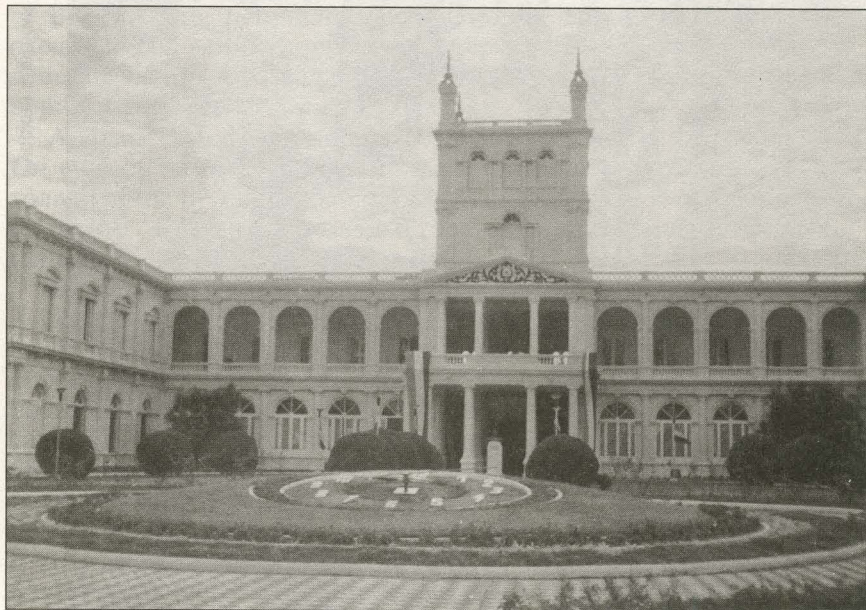


Русская колония в Парагвае. 1940-е годы

Семья Граматчиковых



Президентский дворец — дворец Лопесов в Асунсьоне





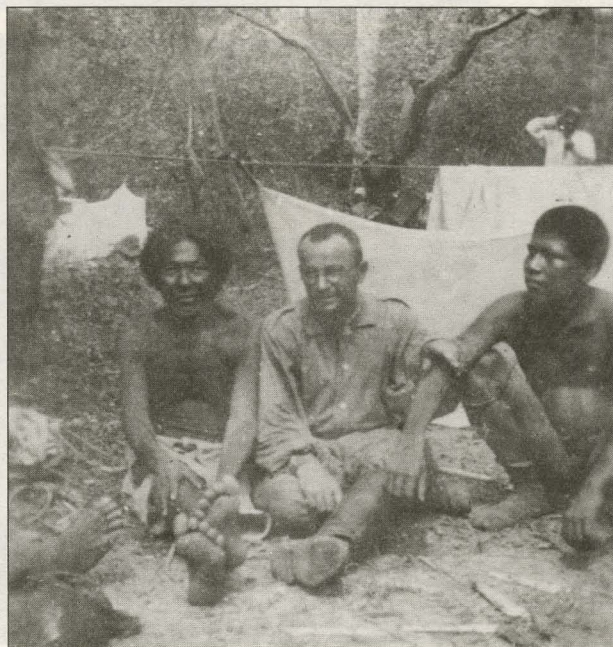
Семья Канонниковых

Первая лодка Речной судоходной компании Канонниковых





Майор парагвайской
армии Сергей Серге-
евич Салазкин



Василий Орефьев-Се-
ребряков среди ин-
дейцев. Путешествие
к Питиантуге



На освящении русской церкви. С крестом в руках протоиерей Константин Изразцов

Внутренний дворик Военной школы в Асунсьоне



Парагвайский вид на жительство Георгия Бутлерова



de Policía
ntificaciones

Certifico: que *Jorge Butlerov*

cuya fotografía, impresión digito-pulgar derecho y firma
figuran al dorso, es de la siguiente identidad:

Nacionalidad *Paraguaya*, nacido el *5* de
Octubre de *1888* (*Shor-Pusia*)

del cruce *Blanco* de *Blanco* color
barba *Blanco* de estatura *1.70*

Señas particulares *Señas particulares* *Señas particulares*
Este *Este* *Este*

Observaciones: *Observaciones*
de Do. Cueto N.º 189 de fecha 19 de
Julio de 1939

Asunción,

Junio 19 de 19*40*



Butlerov
Jefe de Policía

Piso. N.º 181748 M.

Лейтенант парагвайской армии
Александр фон Экштейн

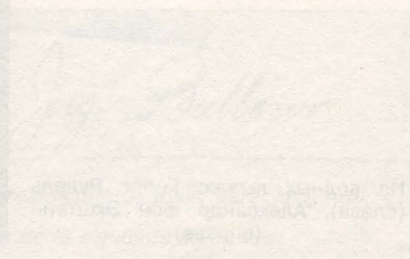


На водных лыжах: Георг Рудель
(слева), Александр фон Экштейн
(справа)





Капитан парагвайской армии Борис
Касьянов



Дом Канонниковых в Асунсьоне





Иван Тимофеевич Беляев с епископом Асунсьонским. 1950-е годы



Инженер Сергей Андреевич Конради — преподаватель физико-математического факультета Асунсьонского университета

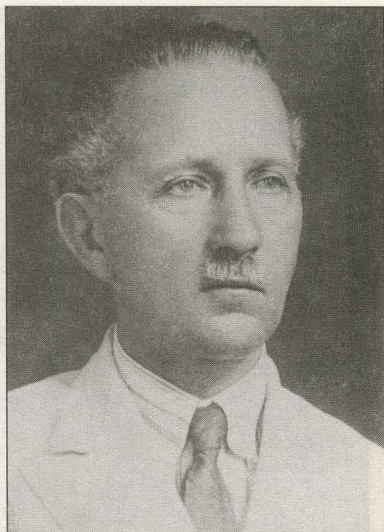


Николай Григорьевич Кривошеин — первый декан физико-математического факультета

Кафедральный собор Асунсьона



Инженер Сергей Бобровский — преподаватель физико-математического факультета



На улицах Асунсьона





Семья Эрнов и князь Язон Туманов (крайний справа)



Индийская семья



Дети племени макка

Мать и сын Срывалины — русские парагвайцы



Иван Тимофеевич Беляев и Павел Шеба-лин с иностранными туристами (последняя фотография генерала Беляева)





Русское кладбище в Асунсьоне

Навечно в земле Парагвая



Но в войну Сталин был поистине русским богатырем. Беляев настойчиво подчеркивал: русским, хотя Сталин-то был грузин. Вот так.

Генерал говорил мне много раз, что он рад победе СССР. Ему было жаль, что в Первую мировую не удалось войти в Берлин под российскими знаменами, а сделали это в мае сорок пятого под красным флагом. Но зато — он это неоднократно повторял — была доведена наконец та, первая война, и русским людям удалось покончить с германской угрозой всему миру. Беляев с уважением относился к красному флагу.

Появившись в полной генеральской форме в колонии «Фрам» — там в основном проживали белорусы и в войне все стояли за Россию, в избах висели портреты Николая Второго и маршала Жукова, — Беляев призвал отслужить молебен во славу русского оружия. «Я воевал в Первую мировую, — сказал Иван Тимофеевич, — но тогда не закончил. А вот сейчас — закончил!»

А моя судьба, — продолжал Александр Георгиевич, — складывалась сложно. Я всегда был, как это принято сейчас говорить, прагматиком и стремился сделать карьеру. После войны моими друзьями были поляк граф Оссовский — он воевал против немцев в английской армии — и бывший немецкий ас полковник Рудель*. Вот он, видите, рядом со мной на фото. Это мы занимаемся водными лыжами. Обратите внимание: одна нога у него резиновая — протез.

Карьеру мне испортил Стресснер. Он был хороший президент. Тридцать лет хороший, а последние пять лет очень плохой. Он уважал меня за военные заслуги и русских очень любил, ценит их вклад в защиту и экономическое развитие Парагвая. Не было случая, чтобы он когда-нибудь не пришел на панихиду по умершему русскому офицеру. Стресснер сначала учился у русских, потом воевал под их командованием под Бокероном и Нанавой. В 1944 году был одним из лучших слушателей у Высоколяна в Высшей военной школе. Высоколян дал ему очень хорошую характеристику. Может, благодаря общению с нашими офицерами он и стал таким ярким антикоммунистом. В День

* Ганс-Ульрих Рудель — знаменитый ас люфтваффе, награжден Железным крестом. Любимец фюрера. В конце войны осуществлял тайные ночные перелеты между Мадридом и Буэнос-Айресом. Организатор структуры «Камараденверк», занятой тайной переправкой нацистских вождей в Южную Америку. Эмигрировал в Аргентину. В 1952 году на тайном съезде неонацистов в Любеке был провозглашен преемником Гитлера. В Аргентине участвовал в разработке планов правительства Перона по созданию реактивной авиации и атомной бомбы. Автор мемуаров «Пилот пикирующего бомбардировщика», где он описывает, в частности, свое участие в налетах немецкой авиации на Ленинград и Кронштадт осенью 1941 года.

Чако — так именуется национальный праздник Парагвая — Стресснер обязательно являлся на богослужение в русскую церковь.

После войны с Боливией и внутренних разборок Парагвай лежал в руинах, в стране царил анархия. Помню, в тридцать седьмом на банкете Стресснер сказал мне: «Верь мне, фон Экштейн, я обязательно стану президентом». И он стал им в пятьдесят четвертом, дисциплинировал армию, провел чистку в рядах правящей партии «Колорадо», поднял Парагвай. А через тридцать лет правления стал терять чувство меры, как это частенько случается с диктаторами, окружил себя бесстыдниками.

Я двадцать лет проработал в разведке. Однажды я подал Стресснеру доклад. Дело в том, что, когда доллар пополз вверх, многие сержанты и младшие офицеры оказались в долгах, попадали под суд, многие семьи распались. Я и написал ему об этом, хотя умные люди предостерегали меня. Но я-то считал, что президент должен знать правду.

На следующий день он вызвал меня к себе, затопал ногами, зарорал: «Полковник фон Экштейн! Ты мне больше такого дерьма в докладах не присылай! Пишешь, как коммунист!»

Стресснер был мстительный и упрямый немец. Я понял, что не смогу работать с ним, и попросился в отставку. Но он и здесь меня достал. Я ведь был богатым человеком, имел чистокровных арабских скакунов, любил погарцевать на них по улицам Асунсьона. Но Стресснер путем разного рода махинаций, через подставных лиц, отобрал у меня немалые средства, которые я внес на постройку отеля в городе Пуэрто-Пресиденте-Стресснер.

Выходит, попросту меня разорил.

А что он сделал с компанией Святослава Канонникова! Возглавивший компанию после смерти отца, героя Чакской войны, Святослав Канонников купил несколько судов класса «река—море», которые стали совершать каботажные рейсы по Паране и Ла-Плате. Сначала в Аргентину и Уругвай, затем на север, в Бразилию и в страны Карибского моря, в США и Канаду. В конце семидесятых корабли Канонникова пересекли Атлантику, и флаг Парагвая впервые увидели в морских гаванях Европы.

Казалось бы, Святослав, родившийся на пароходе, где простым матросом работал его отец, достиг всего, что можно было желать сыну эмигранта: почет, деньги, семейное счастье. Он жил на улице, носившей имя отца, лейтенанта Канонникова, ежедневно проходил мимо его бюста, который был установлен решением муниципалитета Асунсьона, и, глядя на хранившуюся у него во дворе лодочку, с которой началось предприятие Всеволода Канонникова, наверное, не переставал удивляться, что с этой лод-

чонки начался морской торговый флот Парагвая. Небольшой корабль класса «река—море» стал гордостью парагвайской нации, его изображение появилось на банкнотах в пятьсот гуарани. Вот, пожалуйста, несколько фотографий: Святослав рядом со Стресснером на банкете... на закладке очередного судна...

Но милость сильных мира сего недолговечна. Когда сын Стресснера пожелал войти в состав правления компании Канонникова, Святослав прямо заявил: «Воров и гомосексуалистов у себя не держим». И началось. Компания потеряла правительственные субсидии. Святослав был вынужден продать практически весь свой флот. На его семью обрушились репрессии. Многих родственников посадили в тюрьму, а зятя замучили в застенках политической полиции.

А у меня совсем недавно начались трудности иного порядка. И если бы только со здоровьем, на которое я раньше никогда не жаловался... В семидесятые годы, еще работая в разведке, я занимался бизнесом и часто контактировал с представительствами германских фирм «Сименс», «БМВ», «Телефункен» и «АЭГ». Среди моих партнеров были Рудель и Вернер Юнг — генеральный консул Парагвая в ФРГ.

И вот однажды к моему дому подъехал джип, а в нем был человек с довольно привлекательной блондинкой. Он представился как Хосе Менгеле, но говорил со мной по-немецки. Они приехали из Хохенау, это городок неподалеку от Энкарнасьона, там живет много немцев — эмигрантов после Второй мировой войны. Надо сказать, что у нас к ним отношение было совсем иное, чем в Европе: ведь как для вас Чакская, так для нас Вторая мировая была как бы периферийная война, несмотря на всю колоссальную разницу в масштабах. Мне отрекомендовали Менгеле как представителя фирмы по продаже сельхозтехники. О том, что это был знаменитый «ангел смерти», главный врач нацистского лагеря Освенцим, которого разыскивали по всему миру, я узнал позже, когда Юнг мне сказал: «Осторожно, его ищут евреи!»

Менгеле показался мне очень культурным и воспитанным человеком. Он хлопотал о получении парагвайского гражданства, и я по просьбе Руделя и Юнга помог ему. Но мне даже поверить было трудно, когда я узнал, что он убийца, уничтоживший миллионы людей. Менгеле потом рассказывал, что два раза ездил в Германию и один раз в США, и его там не тронули. Просто, когда уже не осталось других, решили вспомнить и о нем. Потом он уехал в Бразилию, а в Парагвае больше не появлялся. Американцы интересовались его местонахождением, меня даже приглашали в их посольство для беседы.

Ну а дальше, как теперь говорят у вас, «процесс пошел». Смотрите, вот вырезки из газет за прошлый год. — Александр Георгиевич достает доверху набитую картонную коробку.

Беру лежащую сверху вырезку. Это газета «Эль нуэво эральдо», издающаяся в Майами на испанском языке. Дата: двадцать пятое февраля девяносто третьего года. В глаза бросается заголовок: «Архивы раскрывают тайну смерти Бормана в Парагвае». Читаю: «Мартин Борман — один из самых крупных военных преступников, заочно приговоренный к смерти Нюрнбергским трибуналом, умер от рака в Парагвае 15 февраля 1959 года. Это подтверждает документ парагвайской политической полиции, относящийся ко времени диктатуры Стресснера.

Как следует из этого документа, заместитель Гитлера по партии был похоронен в безымянной могиле на кладбище городка Ита, в 30 километрах к юго-востоку от Асунсьона. Гроб был доставлен из Асунсьона, где друг и сподвижник Бормана — доктор Йозеф Менгеле, пытался облегчить его страдания... Цитируемый документ, — говорилось далее в статье, — представляет собой записку, направленную шефом отдела внешних связей МВД Парагвая Педро Прокопчуком директору политической полиции Антонио Карлосу Алуму. В документе упоминаются конфиденциальные данные, полученные от генерала Келлера — высокопоставленного сотрудника западногерманской разведки, осведомленного о пребывании Бормана в Парагвае. Согласно этим данным, Борман жил на ферме некоего Круга — парагвайца немецкого происхождения, в колонии Хохенау на берегу реки Параны.

Смерть застигла второго по рангу наци в доме Вернера Юнга, генконсула Парагвая в ФРГ. Он и еще один неизвестный по фамилии фон Экштейн, скорее всего секретный сотрудник Стресснера, перевезли гроб из Асунсьона в Ита».

Прочитанное заставило совсем по-иному взглянуть на сидевшего напротив симпатичного, с полинявшими голубыми глазами старика. А он как ни в чем не бывало продолжал отхлебывать свой чай:

— Ну и что получилось? Весь прошлый год теребили меня, несчастного, приезжали и из США, и из Аргентины, и из Уругвая, все пытались выведать насчет Менгеле и особенно Бормана. А про последнего я вообще ничего не знаю. Это мой брат Анатолий хоронил его!

— Так Борман умер здесь?

— Да, здесь...

Но ведь это сенсация, за которую любой журналист полжизни отдаст! Вероятно, воспоминания о Питиангуте, красавице Киане

и войне в Чако расположили дона Алехандро к гостям из России настолько, что он вот-вот поделится самым потаенным. Но...

В комнату вошла донья Алисия. Александр Георгиевич сразу же замкнулся, спрятался, как улитка в раковину.

— Давайте прекратим этот разговор. Она не может слышать этих имен. Из-за них обо мне по всему свету раззвонили... — Александр Георгиевич явно пожалел, что «заболтался» — так он выразился, стал прощаться, скоро, мол, на процедуры.

Досадно было. Вот так одна женщина может все испортить... И все же мне повезло: встретиться и говорить с единственным оставшимся в живых русским эмигрантом — участником Чакской войны, который доживал свой девятый десяток. Признаться, тогда судьба затерявшегося где-то в сельве партайгеноссе Бормана не очень меня беспокоила. Главное, о Беляеве, его взглядах и характере фон Экштейн-Дмитриев рассказал немало.

Это была моя последняя встреча с ним. Старик скончался в 1997 году в возрасте 93 лет, не дожив всего чуть-чуть до торжественного открытия в октябре того же года памятника русским офицерам в Чако. Не берусь сказать, был ли счастливым человек, потерявший в юности Родину, а в зрелые годы состояние, прошедший через невероятные приключения, две войны, тяжело раненный на одной из них... Счастливым? Удачливым — несомненно. Он умел легко выходить из сложных жизненных ситуаций, не теряя оптимизма и высокого жизненного тонуса.

Но рассказ старика Экштейна о Бормане с тех пор будоражил мое воображение. Как же так? Ведь согласно официальной и подтвержденной генетической экспертизой версии, Мартин Борман погиб во время бегства из Берлина 2 мая 1945 года. Разве на этой истории не поставлена точка?! Придется сделать в нашем повествовании *еще одно необходимое отступление.*

Судьба беглого партайгеноссе

Вышедшая осенью 2004 года в Рио-де-Жанейро книга бразильского дипломата и разведчика Сержио Корреа да Коста «Хроника секретной войны» наделала в Бразилии и Аргентине много шума и вновь пробудила интерес к, казалось бы, уже давно забытой истории второго по рангу наци. Согласно приведенным в ней документам и свидетельствам очевидцев, Мартин Борман, заочно приговоренный к смерти Нюрнбергским трибуналом, действительно окончил свои дни под чужим именем в Южной Америке. Как это могло произойти?

Известно, что диктатор Аргентины Перон и ряд высших офицеров аргентинской армии испытывали большие симпатии к нацистской Германии. Не случайно Аргентина последней из стран Западного полушария объявила войну фашизму — только в марте 1945 года. И то под сильным давлением США и под угрозой непринятия страны в ООН наряду с Германией, Италией и Японией. Известны также слова Перона о том, что Нюрнбергский трибунал — это «позор, недостойный человечества».

Согласно данным, приводимым в разных источниках, с 1945 по 1955 год в Аргентину по фальшивым паспортам и с измененными фамилиями прибыли от 11 до 21 тысячи лиц, воевавших на стороне стран «оси», и среди них до 800 активных нацистов, 50 из которых были объявлены военными преступниками. Они обвинялись в массовых убийствах гражданских лиц, пытках и бесчеловечных экспериментах над людьми. Это Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле, Клаус Барбье, Эрих Мюллер, Вальтер Рауфф, Ганс Рудель, Эдуард Рошман, Эрих Прибке, Отто Скорцени и другие.

Существуют точные данные, что летом 1944 года Перон вручил военному атташе германского посольства в Аргентине фон Леерсу восемь тысяч аргентинских паспортов и удостоверений личности, оформленных должным образом, за исключением фотографий и отпечатков пальцев. Большая часть этих документов была передана потом лично Генриху Гиммлеру. Наконец, и сам Перон, проживавший в эмиграции в Испании, в период между 1968 и 1970 годом неоднократно признавался, что помог некоторым бывшим нацистам получить убежище в Аргентине, «исходя из гуманитарных соображений».

Так, Адольф Эйхман, палач еврейского народа, вплоть до мая 1960 года, то есть до того времени, когда его выкрали из Буэнос-Айреса агенты израильских спецслужб, спокойно жил в Аргентине по паспорту на имя Рудольфа Клемента.

«Ангел смерти» Освенцима Йозеф Менгеле, также прибывший в эту страну в январе 1949 года, именовался Хельмутом Грегором. В 1973 году Менгеле получил парагвайское гражданство и стал Педро Кабальеро. Проживая в Парагвае, а затем вплоть до своей смерти в 1979 году в Бразилии, «Педро Кабальеро» не особенно стеснялся своего прошлого, охотно делился воспоминаниями, заявляя о том, что все, что написано о фашизме, — это ложь, и хорошим знакомым представлялся как Хосе Менгеле.

«Мясник Лиона» Клаус Барбье попал в Аргентину по паспорту Клауса Альтманна и под этим именем перебрался затем на жительство в Боливию*. Эрих Прибке, известный своими расправами над итальянскими патриотами, выдачи которого долгие годы безуспешно требовала Италия, спокойно проживал в аргентинском курортном местечке Барилоче и позволял себе путешествовать в соседние страны — Парагвай, Бразилию и Уругвай.

Бывший штандартенфюрер СС Вальтер Рауфф, известный как изобретатель душегубок — передвижных газовых камер, — сумев бежать из заключения в итальянском городе Римини, объявился в 1958 году в Эквадоре, откуда перебрался в Чили. В 1962 году прокуратура Ганновера возбудила судебное преследование Рауффа «за участие в массовых убийствах людей». Однако Верховный суд Чили отказал в возбуждении уголовного дела по причине истечения срока давности преступлений. После прихода к власти диктатуры Пиночета в сентябре 1973 года Рауфф был назначен военной хунтой на должность главного советника чилийской охраны — ДИНА, где полностью раскрыл свои «способности». Многие чилийцы, прошедшие через застенки ДИНА, подтверждали, что он любил лично руководить допросами, в ходе которых применялись изощренные пытки.

Известно, что большую роль в переправке нацистских преступников в страны Латинской Америки сыграл Ватикан. В июне 1946 года кардинал Джованни Монтини, будущий папа Павел VI, высказал в беседе с послом Аргентины в Ватикане желание тогдашнего папы Пия XII содействовать переселению в эту южноамериканскую страну «не одних лишь итальянцев». Посол сразу же догадался, что речь шла о тех, кто находился в лагерях для военнопленных в Италии.

Большинство немцев, попавших после войны в Южную Америку, использовали так называемый монастырский путь — маршрут, проложенный епископом Алоизом Худалом, австрийцем по национальности, через монастыри Центральной Италии в Геную, где будущие эмигранты получали с помощью Красного Креста новые паспорта и садились на

* Завербованный в 1947 году американской контрразведкой Си Ай Си, Барбье не испытывал никаких трудностей с переездом в Южную Америку, несмотря на то что во Франции он разыскивался как военный преступник. Его безбедная жизнь в Ла-Пасе продолжалась до 1980 года, когда «пользы» от него не стало никакой и Боливия под давлением мирового общественного мнения была вынуждена передать его в руки французского правосудия.

пароходы в Буэнос-Айрес. Из Италии на берега Ла-Платы удалось вывезти Адольфа Эйхмана, Клауса Барбье, Вальтера Рауффа и многих других нацистов.

Перед Управлением по эмиграции в Буэнос-Айресе и его директором Пабло Диана лично президент Перон поставил задачу способствовать максимально быстрому приему и обустройству эмигрантов, причем не только немцев, но и коллаборационистов из тех стран, которые находились под немецкой оккупацией, — хорватов, поляков, французов, бельгийцев, украинцев, русских. Для этого в управлении были созданы соответствующие отделы, которые возглавили люди перечисленных национальностей. Во главе русского отдела был поставлен священник — отец Константин Изразцов.

В книге Корреа да Коста есть сведения о том, что Мартин Борман прибыл в Буэнос-Айрес 17 мая 1948 года на борту парохода «Джованна», переодетый иезуитом и с документами на имя падре Хуана Гомеса. В порту его встречал Людвиг Фроиде — один из вождей германской колонии в Аргентине и личный друг Перона, а также министр обороны Аргентины генерал Хуан Батиста Соса Молина. Неделью спустя Борман получил новое имя — Элиезер Гольдштейн, которое, по мнению скрывавших его людей, должно было сбить с толку всех охотников за бывшим партайгеноссе, и аргентинское удостоверение личности за номером 1361642. По этому удостоверению Э. Гольдштейн, родившийся 20 августа 1901 года в местечке Петрокув в Польше, имел вид на жительство в Аргентине.

В книге бразильского разведчика упоминается о скандале, поднятом в аргентинской прессе в связи с нежеланием правительства президента К. Менема предать гласности архивы национальной полиции, содержащие сведения о прибытии в страну видных нацистов. В частности, речь шла о знаменитой «папке Бормана». В результате папка в декабре 1991 года все же появилась на свет, однако, как свидетельствовали люди, знакомые с ней раньше, в сильно урезанном виде: там полностью отсутствовало упоминание о тоннах нацистского золота, серебра, платины, алмазов и произведений искусства, которые были доставлены немецкими субмаринами в Аргентину накануне падения третьего рейха (по некоторым сведениям груз достигал 95 тонн). Тогда директор Национального архива Аргентины был вынужден признать, что общественность «не получила всей информации», а Симон Визенталь — знаменитый во всем мире охотник за

военными преступниками — заявил, что Аргентина скрывает свои наиболее важные архивы, касающиеся беглых наци.

Тем не менее на основании изучения даже тех материалов, которые были представлены, участники специального научного конгресса, организованного в сентябре 1993 года Аргентино-израильской ассоциацией взаимопомощи и университета Торкуато ди Телья, пришли к единодушному заключению, что Мартин Борман действительно жил в Аргентине. Существование «золота партии» доказать не удалось, а тем более проследить дальнейшую судьбу ценностей.

Здесь необходимо напомнить о взрыве в Аргентино-израильской ассоциации взаимопомощи, который прозвучал утром 18 июля 1994 года и унес жизни ста человек. Следствие по делу, продолжавшееся более трех месяцев, так и не смогло найти организаторов и исполнителей теракта, хотя в прессе неоднократно появлялись материалы о причастности к нему крайне правых аргентинских военных.

На конгрессе 1993 года фигурировали документы, свидетельствовавшие о свободных перемещениях Бормана по стране и за ее пределами под именами Рикардо Бауэра, Хосе Переса и Элиезера Гольдштейна. В частности, агент специальной полиции пограничного с Парагваем города Посадаса, некий Пинто, сообщал о частых поездках Бормана в Парагвай для встречи с Йозефом Менгеле.

«Все связанное с пребыванием Бормана в Аргентине было столь секретным, что относящиеся к этому делу бумаги хранились в личном кофре президента Перона», — пишет Корреа да Коста. После свержения Перона в 1955 году генералами Лонарди, Рохасом и Арамбуру Борман переехал на жительство в Парагвай, под крылышко президента Стресснера. «Позднее, — продолжает бразильский разведчик, — когда в бункере Перона был обнаружен его личный кофр с документами, которые свидетельствовали о семилетнем пребывании Бормана в Аргентине, генерал Арамбуру распорядился хранить их в строжайшем секрете. Однако, несмотря на это распоряжение, через 16 лет некоторые бумаги из этого кофра все-таки увидели свет».

Совершенно очевидно, что, пока с судьбой Бормана прямо связана невыясненная доселе судьба нацистских сокровищ, «дело Бормана» будет находиться в длинном реестре «тайн XX века». А «научные» доказательства смерти главного собирателя и хранителя этих сокровищ под огнем советской артиллерии в Берлине в мае 1945 года выгодны тем, кто не

хочет идентифицировать бранные останки бывшего партайгеноссе, покоящиеся на кладбище в Ита и в безымянной могиле в Берлине. Установить истину путем анализа ДНК было бы лишь делом техники.

Журналист Александр Кармен рассказал мне о расследовании, которое провели в Парагвае в конце 1990-х годов сотрудники уругвайской газеты «Нотисиас». Им удалось отыскать Нэнси Кабрера — дочь смотрителя кладбища в Ита в 1959 году. Она рассказала, что в феврале того года отца вызвали «по виду очень влиятельные люди» и попросили похоронить ночью «немецкого гражданина». Смотрителя удивило их требование вырыть могилу в самом отдаленном уголке кладбища и не устанавливать ни креста, ни плиты с именем покойного. По свидетельству Нэнси Кабрера, в 1968 году к ее отцу вновь явились неизвестные люди, по виду иностранцы, назвавшиеся журналистами. За определенную мзду они попросили его вскрыть безымянную могилу, якобы чтобы опознать покойного. Эти иностранцы и унесли труп неизвестно куда...

Теперь вновь обратимся к книге Корреа да Коста. Он пишет: агент французской секретной службы Ален Пужоль зафиксировал прибытие к аргентинскому берегу неподалеку от Мар-дель-Плата 7 февраля и 18 июля 1945 года двух немецких подводных лодок, с которых выгружали огромные ящики с надписями по-немецки «Государственная тайна». Потом эти ящики, погруженные на ожидавшие у пирса грузовики, были отправлены в неизвестном направлении.

Существует предположение, что Борман, отгрузив «золото партии» в Аргентину, поручил присматривать за ним другому видному нацисту, шефу гитлеровских командос Отто Скорцени. Способности Скорцени, сумевшего в свое время с горсткой десантников выкрасть из-под носа многочисленной охраны свергнутого итальянского диктатора Муссолини, не нуждаются в дополнительных подтверждениях. По свидетельству аргентинского нациста Оскара Бракера, Перон с удовольствием принял его к себе на службу в качестве эксперта по подготовке диверсионных операций и технике ведения допросов.

Но Скорцени не был бы Скорцени, если бы удовлетворился малым. Бракер свидетельствует: в октябре 1949 года Скорцени с помощью нескольких «преданных делу рейха немцев» сумел весьма искусно «раскрыть покушение» на, пожалуй, самого влиятельного человека в тогдашней Аргентине — супругу диктатора Еву Перон. В результате любвеобильная Эвита

воспылала чувствами к гиганту австрийцу с интересным шрамом через всю щеку и провела с ним несколько дней в своей тайной резиденции в горах. Достигнутое «взаимопонимание» помогло Борману и Скорцени перевести на имя Евы Перон и на имя ее брата Хуана Дуарте до четверти всех фондов, вывезенных Борманом, в банки Швейцарии и Испании и замаскировать так, что выяснить их первоначальное происхождение уже не представлялось возможным. После смерти Евы Перон в 1952 году ее брат Хуан Дуарте и, разумеется, сам Перон оставались единственными хранителями секрета банковских счетов нацистов в европейских банках.

Но что знают двое... В 1953 году Перон объявил о «решительной борьбе с коррупцией». И через 24 часа после этого по стране разнеслось ошеломляющее известие о самоубийстве «любимого брата нашей покойной Эвиты» — самого богатого холостяка Аргентины. Свояк Перона был задержан полицией в аэропорту, когда собирался эмигрировать из страны, и свел счеты с жизнью. Однако на похоронах, где всем было заметно отсутствие президента, мать покойного во всеуслышание заявила, что сына ее убили. После свержения Перона в 1955 году мать и родственники Хуана Дуарте поручили криминальной полиции провести новое расследование дела. Следственная комиссия криминальной полиции Буэнос-Айреса установила, что смерть Хуана Дуарте последовала в результате «преступления, организованного людьми».

Что касается Педро Прокопчука, подавшего «наверх» записку о жизни Бормана в Парагвае с 1956 по 1959 год, то и его постигла трагичная участь. 23 сентября 1961 года, меньше чем через месяц после составления им злосчастной записки, он был застрелен неизвестным в асунсьонском кинотеатре «Сплендид», как предположило следствие, по приказу начальника разведотдела полиции Асунсьона.

* * *

Пора нам выбираться из темных закоулков истории. Работают ли сегодня деньги нацистов на новых хозяев, всплывают ли тени Бормана и Скорцени за шумными рядами новых «правдолюбцев»? Оставим эту тему для потомков, а сами подытожим историю «Русского очага» в Парагвае.

К сожалению, белая идея «патриотической эмиграции» не суждено было воплотиться в жизнь. А вышло бы иначе, кто знает, может, «русский Парагвай» мог бы стать подобием аксеновского «Острова Крым». Или, потерявшие путеводную нить

своей истории, мы бы сегодня увидели в беляевских колониях — уцелевших крупицах неосуществившейся России — объект для пристального изучения?..

Но политические взгляды Беляева не изменились, его историческое предвидение оказалось на удивление верным. В письме к Е.М. Спиридоновой он писал в 1956 году:

Будет время, по Божьей воле Россия потряхнет нестерпимую тиранию. Она использует плоды адского труда для будущего. Иллюзий не следует делать — это не для нас и не для наших детей, а для нашего Великого Отечества, которое растет на костях мучеников.

Вместо «Русского очага» в Парагвае сложилось прибежище для людей, лишившихся Родины. После Второй мировой войны в Южную Америку хлынула вторая волна эмиграции, и Парагвай с готовностью принял ее. Эмигранты попадали на подготовленную почву, и в этом тоже неоспоримая заслуга Беляева.

С эмигрантами второй волны прибыл в Парагвай в 1949 году Павел Шебалин. Семнадцатилетним юношей, с младшим братом и матерью он эмигрировал сначала из Шанхая, к которому приближались красные отряды председателя Мао, на Филиппины — на острове Тубабао с 1949 по 1951 год существовала шеститысячная колония русских беженцев. «Исход из Китая, — вспоминал Павел Львович, — не только означал для русских материальные потери и лишения, но и сопровождался тяжелыми душевными переживаниями. Особенно болезненно переживали его представители старшего поколения эмигрантов, которым уже не в первый раз приходилось бросать все и устремляться в неизвестность.

Я тянулся в Россию... Этому способствовала широкая агитация, развернутая советским консульством в Шанхае, после того как советское правительство в 1947 году предложило эмигрантам вернуться. Для перевозки репатриантов был даже выделен специальный пароход «Ильич», курсировавший между Шанхаем и Находкой. Ехали они полные надежд на будущее, многие везли с собой автомобили, холодильники, мебель. Судьба их сложилась по-разному, однако известно, что многие подверглись репрессиям...

Мой отец, белогвардеец, скончавшийся в Китае в 1943 году, никогда не думал о возвращении. Он всей душой стремился выбраться именно в Парагвай, к генералу Беляеву, сначала чтобы поучаствовать в Чакской войне, а потом зная о хорошем отношении там к русским.

На остров Тубабао нас вывозили американскими пароходами. На первых порах жизнь в этом тропическом «раю» показалась нам ужасной. Там не было ни дорог, ни электричества, ни элементарных санитарных условий. Одолевали крысы и тропические насе-

комые, многие беженцы страдали от лихорадки. Всякие контакты с местным населением были запрещены, действовал строгий комендантский час. Все мужчины должны были отбывать трудовую повинность, а женщины — работать на кухне.

Со временем, однако, быт стал потихоньку налаживаться. Позднее на острове появились детский сад и школа, скаутская организация, заработала библиотека, начали регулярно отмечаться церковные праздники. «Тубабаовское сидение», как мы тогда его называли, подтвердило, что русские даже в самых трудных условиях способны приспособливаться.

Большинство беженцев надеялись переселиться в США. Однако в этой стране действовал иммиграционный закон 1924 года, устанавливающий ежегодную квоту иммигрантов в 165 тысяч человек, причем предпочтение отдавалось странам белой расы. Значительная же часть тех, кто осели на Филиппинах, родились в Китае, и американскую визу им приходилось ждать гораздо дольше, чем родившимся в России. Очень многие поэтому уехали в Австралию — примерно треть всех тубабаовцев. Уезжали во Францию, в Бразилию, Аргентину, Чили. Мы же с мамой подали заявку на визу в Парагвай, вспоминая, как папа рассчитывал на помощь генерала Беляева.

Первое время в Парагвае по всем документам я значился китайцем, так как родился в Поднебесной. Мы попали в колонию «Фрам». Землей нас не обидели — дали по 23 гектара».

Шебалины рубили тростник, сажали хлопок, кукурузу и, если бы не тяжелая болезнь матери, остались бы сельскими хозяевами. Обстоятельства заставили в 1951 году перебраться в Асунсьон, а там найти работу и уцелеть помог им национальный герой Парагвая Иван Тимофеевич Беляев.

«В Асунсьоне все знали, где он живет, — продолжал свой рассказ Павел Шебалин, — потому что Беляев помогал всем, кто к нему обращался. Причем обращались как к главе колонии, несмотря на то что формально таковым являлся Николай Корсаков, имевший должность главного инспектора государственных работ. Корсаков был, конечно, богат, импозантен, влиятелен, да и в войну прославился. Но, кажется, кличка Тверской Барин прилипла к нему не случайно. А вновь прибывшему эмигранту, кроме Беляева, пойти было не к кому: только он понимал и принимал всех».

Иван Тимофеевич помог Павлу Шебалину найти работу чертежника в одной солидной фирме. Уже в следующем году Шебалин смог поступить в университет на «русский физмат», где в ту пору преподавали профессора И. Исаков и М. Леонтьев, генерал С. Высоколян и Наталья Срывалина. После окончания универси-

тета Павел Шебалин получил диплом инженера и высокооплачиваемую работу. Позднее Павел Львович уехал в США.

В 1950-е годы в Асунсьоне открылась престижная школа классического танца, преподавали в которой дочь Николая Эрн Таала Эрн де Ретивофф и Агриппина Войтенко. Таала Эрн, по общему признанию, стала крестной матерью парагвайской хореографии. По воскресным дням в 9 часов утра начинало работать «Русское радио». Передачи вели Анатолий Флейшер и вдова погибшего в Чако капитана Николая Гольдшмидта Валерия. В нескольких школах открылись курсы русского языка. Преподавали на курсах Миллисса Канонникофф, Ирене Андриефф и Гладис Курин. Спорт и здоровый образ жизни пропагандировали Алехандро фон Экштейн-Дмитриефф и Э. Оже де Морвиль. В парагвайском Сенате заседал Базилио Никипорофф. Много русских было в армии, медицине, речном и воздушном транспорте. Парагвайцы помнят, что в министерстве общественных работ, особенно в его дорожно-строительном отделе, долгое время рабочим языком был русский.

В записках генерала Беляева мы найдем прекрасные строки, посвященные эмиграции:

Памятником... остались тысячи русских интеллигентов, частью устроившихся в Парагвае или расселившихся по Аргентине, Уругваю, Бразилии, и двадцать тысяч крестьян, нашедших здесь спасение... не считая других, застрявших в иных краях. Поля, дома, хутора, скот — их тяжкий труд не пропал даром. И от этих людей я не слышал иного, кроме искреннего привета и благодарности.

Памятником Ивану Тимофеевичу Беляеву стала Ассоциация русских и их потомков в Парагвае (АРИДЕП), учрежденная в Асунсьоне в 1989 году. Ассоциация продолжила дело, начатое еще до Чакоской войны, когда 6 февраля 1932 года в Асунсьоне было зарегистрировано «Общество культуры — российская библиотека». Война прервала планы организационного сплочения соотечественников. И только пятьдесят семь лет спустя, когда стало ясно, что в смешанных русско-парагвайских семьях с уходом ветеранов уходит русский язык и русская культура, отходят на второй план российские традиции и забывается русская история, такое организационное сплочение состоялось. Стержнем объединения русских парагвайцев всегда оставалась православная церковь.

14 января 1989 года в доме поручика Всеволода Канонникова, на улице, носящей теперь его имя, где Николай Корсаков призвал когда-то русских офицеров выступить на защиту Парагвая, собралось сто одиннадцать человек. Это были родственники и потомки тех офицеров, врачей, профессоров и инженеров, которые приехали в Парагвай по зову генерала Беляева. Из первопроходцев, начинав-

ших с Иваном Тимофеевичем парагвайскую эпопею, присутствовал только Александр Георгиевич фон Экштейн-Дмитриев. Он и был избран первым почетным президентом ассоциации. И неважно, что большинство собравшихся уже плохо говорили или совсем не говорили по-русски, что их имена и фамилии для родного уха звучали непривычно, важно, что их собрала память о предках, любовь к России, ее культуре, стремление помочь ее возрождению. Целями ассоциации стали: «объединение всех русских и их потомков, проживающих в Парагвае», «представительство, защита и поддержка интересов русской общины», «сохранение и развитие русских культурных и религиозных традиций, пропаганда и изучение русского языка», «укрепление престижа русского доброго имени среди парагвайцев».

Святослав Канонников, внесший крупный материальный вклад в создание ассоциации и ставший ее первым вице-президентом, сказал мне тогда: «Все наши начинания основывались на голом энтузиазме. Мы завидовали представителям других землячеств, которые имели свои колледжи и больницы, клубы и предпринимательские организации. Они могли посылать своих детей учиться на родину, могли регулярно ездить туда сами. А мы? Неужели не заслужили? Ведь наши отцы отстаивали свободу и независимость этой страны! Частенько некоторые подлецы, чтобы вытеснить русских из бизнеса, свести с ними счеты и прочее, говорили: если русский — значит, красный, писали доносы. Это мы-то красные?! Вот в чем ирония истории ..

Ассоциация нужна была нам для защиты наших прав, для сохранения русских традиций, культуры и языка. Главным импульсом стала перестройка в СССР. Мы поняли, что Россия неизбежно вернется на те исторические рельсы, с которых ее столь невежественно столкнули в семнадцатом году. Мы поверили, что больше не будем считаться изгоями у себя на родине. По паспорту я парагваец, но сердцем — русский, и, как и все, очень переживаю за Россию. Сегодня ей трудно. Но эти трудности временные. Ведь Россия — богатейшая страна, а наш народ — трудолюбивый и талантливый. Посмотрите, что сделали русские здесь, в Парагвае! Я верю, Россия снова станет могучей. Но для этого она должна поверить в себя, рассчитывать на собственные силы и на тех за рубежом, кто действительно — сердцем и душой — хочет ей помочь». Уверен, это мог бы сказать и сам Иван Тимофеевич Беляев.

Что же изменилось за последние десять—пятнадцать лет в отношениях России с Парагваем? Увы, очень немного. Дипломатические отношения, установленные 14 мая 1992 года, остаются

чисто формальными. Российского посольства в Парагвае нет, хотя постоянно идут разговоры о его скором открытии.

Разочарований много. Не сбылись мечты Святослава Канонникова построить на реке Парагвай большой порт для торговли с Россией. Не сбылись мечты других русских парагвайцев, искренне стремившихся помочь нашей стране, создать в Асунсьоне большой центр русской культуры — со своими курсами русского языка, балетными классами, рестораном русской кухни. Все это остается на уровне «протоколов о намерениях».

Может, российская политическая элита не считает Парагвай достойной внимания страной? Кому нужна почти мифическая «живая нить русского начала»? За годы, прошедшие после развала Союза, россияне в Парагвай стали наезжать чаще... к сожалению. Туда, выражаясь словами генерала Беляева, за редким исключением, «понаехал всякий сброд» с одной только целью — легкого материального обогащения. И традиционно хорошее отношение к русским, сохранявшееся в душах простых парагвайцев еще со времен Чакской войны, меняется не в лучшую сторону.

И все же! Русский Парагвай состоялся и со временем будет востребован новой Россией. В это верил генерал Беляев. В это верят русские парагвайцы. В это верим и мы.





Глава шестая

БЕЛЫЙ ВОЖДЬ

О старинное дело борьбы за свободу!
Не знающее равных, исполненное страсти, доброе дело,
Суровая, беспощадная, нежная идея,
Бессмертная во все века, у всех племен, во всех странах!

Уолт Уитмен

Елизавета Михайловна Спиридонова впервые решила навестить своего двоюродного дядю, обосновавшегося в Парагвае, в 1926 году. Она приехала туда с мужем, архитектором Г. Фишером, из Буэнос-Айреса, но дядю в Асунсьоне не застала: он был в одной из своих чакских командировок. Ее поразило неустройство белаяевского обиталища. В столовой вместо потолка был натянут кусок грубой парусины, в гостиной из мебели обнаружили лишь два флага — русский и парагвайский, да на стене висели скрещенные казачья шашка и мачете. По дому разгуливали индейцы, один вид которых заставлял задуматься о сохранности имущества.

Следующий визит племянницы состоялся через тридцать один год, уже после смерти генерала Беляева. Поездка не принесла новых впечатлений. Несмотря на известность, которую приобрел Иван Тимофеевич, и венок полученных им почетных титулов и званий, Елизавете Михайловне пришлось признать нелепыми предложения некоторых ее единомышленников о сказочных богатствах Беляева, якобы нажитых путем облапошивания доверчивых эмигрантов. Особыми материальными благами Иван Тимофеевич так и не обзавелся.

Спиридонова недолюбливала генерала за его монархизм и веру в грядущее возрождение святой Руси. «Еще в старой России я считала его очень взбалмошным, а он меня и моего жениха — Георгия Константиновича Фишера — слишком революционными... С ним у меня никогда не было ничего общего, — писала Елизавета Михайловна, — и только интерес к его трудам об индейцах и данное мне задание (наверное, от ВОКС. — *Авт.*) заставили меня поехать».

Пользуясь тяжелой болезнью престарелой Александры Александровны, которая уже практически не выходила из дома, Спиридонова сумела добыть, а затем вывезти в СССР воспоминания покойного генерала, его переписку и архивы. Все эти бумаги в

результате оказались в рукописном фонде бывшей Ленинки. Будем благодарны ей за это, иначе нам было бы трудно рассмотреть подлинное лицо Беляева за всеми напластованиями эпохи войн и революций. Но, будучи в Асунсьоне, я неоднократно ловил на себе подозрительные взгляды некоторых русских старожил, чувствовал их искусственную сдержанность в разговорах. И это понятно, человек, прибывший из бывшего Союза и интересующийся Беляевым, после того, наделавшего много шума вояжа его племянницы не мог не отождествляться с сотрудником «компетентных органов».

Тем приятнее оказалось развеять подозрения замечательной женщины, доктора этнографии, семидесятичетырехлетней Брониславы Сушник, которая, услышав, что некий русский интересуется судьбой генерала Беляева, поначалу просто захлопнула перед моим носом двери этнографического музея.

Бронислава (Бранка) Сушник, словенка по национальности, окончила в 1941 году Люблянский университет, стажировалась в университетах Вены и Рима по специальности «шумеро-вавилонские языки». Во время войны провела три года в фашистском концлагере. В 1947 году эмигрировала в Аргентину и там увлеклась изучением индейских наречий. После знакомства с трудами Беляева об индейцах Чако переехала в Парагвай, преисполнившись желанием изучать жизнь и быт индейцев на практике. Ее экспедиции в Чако в 1950-е годы стали продолжением экспедиций Беляева, а фундаментальные работы в области индеанистики — развитием его идей.

В 1951 году Беляев специально для Брониславы Сушник добился создания кафедры сравнительного изучения индейских наречий при Асунсьонском университете и передал ей все свои написанные к тому времени научные труды. В переписке Беляева и Бранки Сушник, которая была доставлена Спиридоновой в Москву, чувствуются отношения учителя и ученицы.

Прибыв в Асунсьон, Елизавета Михайловна, по ее собственному признанию, встретила со стороны словенки «самое сочувственное к себе отношение». Тем большее негодование, видимо, вызвало у Брониславы неожиданное и тайное отбытие «почтенной племянницы» прямо в СССР с частью архива, рукописями и даже личной перепиской покойного дядюшки. Ну да Бог ей судьба.

Сами мы, как в старой сказке, живем тихо, мирно и счастливо на закате дней, — писал в 1953 году Иван Тимофеевич брату Николаю в Париж. — Как дальше — знает лишь Господь. Но мы верим во все лучшее. Правда, жизнь дорожает... а пенсия генеральская, хотя и повышена, возбуждает лишь сожаление. Радуют меня мои

верные индейцы. Они продолжают прогрессировать во всем. Наши с Алей дни рождения мы отпраздновали в тесном кругу. А ведь 19 апреля — это еще и День индейца!

Получилось так, что день рождения Беляева — 19 апреля, пришелся на День индейца, провозглашенный в 1940 году Организацией американских государств. Совпадение знаменательное. Ведь именно Беляеву парагвайские индейцы обязаны сегодня своим равноправным положением в собственной стране.

Немного истории. Формирование парагвайской нации отличалось некоторой спецификой. В 1610—1767 годах на территории нынешнего Парагвая существовало государство иезуитов, которое находилось лишь в формальной зависимости от испанской короны. Иезуиты не только не препятствовали смешанным бракам между потомками испанских переселенцев — креолами и представительницами местных индейских племен, принадлежащих к этносу тупи-гуарани, но даже поощряли их. В результате к началу XIX века в Парагвае, в отличие от других стран Латинской Америки, где столь заметны различия между креолами и индейцами, сложилась достаточно однородная нация людей с немного различными оттенками цвета кожи, но характеризующаяся стойкостью и физической красотой, которая обозначила себя не без излишней гордости за свою особость как «раса гуарани».

А.С. Ионин писал: «Иезуиты с их фанатичным, непримиримым мистицизмом, с их верою в Царство Божие на земле не только видели равноправных граждан в дикарях, к которым они явились с одним крестом в руках, но как бы создали вновь этих граждан из обитателей лесов. Вместе с крестом они несли к дикарям искусства и ремесла, и все это только для них самих, чтобы их учить, а не эксплуатировать в угоду всесветного Мамона, теперешнего бога Европы...

Благодаря их влиянию гуарани сделались оседлым и культурным народом и мало-помалу из своего местожительства за рекой Парана стали все более продвигаться на запад. Когда же испанцам вздумалось прогнать иезуитов, то они завладели уже совсем цивилизованной и оседлой страной. Что иезуиты успели цивилизовать, то и теперь осталось культурной страной, а там, где они не успели окончить свою миссию, где действовали только испанские администраторы и затем новейшая цивилизация, там и до сих пор страна осталась полудикой».

В чем же дело? Почему был прерван социальный эксперимент в далеком Парагвае, который поначалу обещал быть таким успешным? Ионин так отвечает на этот вопрос: «С открытием Америки началось тотчас рабство, о котором Европа забыла со времен падения Римской империи. Тех индейцев, которых не

истребляли, обращали в рабство. Монахи восстали против рабства, и первая революция во имя свободы была произведена ими. Борьба эта... подарила человечеству великих деятелей, например, как епископ де лас Касас на Кубе... Люди эти храбро и неколебимо вошли в отчаянную борьбу с авантюристами и светской властью, с правительством Мадрида, которое в корыстных видах поощряло жестокость авантюристов». В этот период, отмечал русский путешественник, в Южной Америке «разгорелась непримиримая и жестокая вражда между двумя элементами европейского наплыва, между европейской жадностью и европейским идеалом из-за обладания американским народом».

Образование в Парагвае богатого и преуспевающего государства иезуитов, практически неподконтрольного Мадриду, стало раздражать Испанию. Ее недовольство не смягчало даже то, что в течение долгого времени иезуиты успешно отражали натиск давнего и опасного соперника Испании на континенте — Португалии. В 1767 году испанская корона приняла решение изгнать иезуитов из всех их владений в Южной Америке. Иезуиты проявили себя храбрыми воинами в сражениях с португальцами и европейскими авантюристами, но не прибегли к силе и решили подчиниться. «Говорят, — пишет Ионин, — что индейцы бежали толпами десятки верст за своими пастырями и владыками, целую полы их одежд, а иезуиты, благословляя их, завещали им беспрекословно повиноваться своим новым властям. Но испанцы убили курицу, несущую золотые яйца. Страна обеднела, и цветущее индейское государство иезуитов постепенно превращалось в пустыню».

Этот процесс прекратился только в 1811 году после образования независимой Парагвайской Республики. Однако уже в 1817 году в стране установилось диктаторское правление, продолжавшееся вплоть до окончания войны Парагвая с «Тройственным союзом». Одной из причин процветания диктаторов, а также того относительного прогресса, который при них был достигнут, была опять-таки уникальность расы гуарани, ее физическая и нравственная изолированность от окружающего мира. В середине девятнадцатого века реки Парана и Парагвай сделались, как писал Ионин, «китайской стеной центральной южноамериканской республики, через которую никого не выпускали и никого не впускали. Такой порядок вещей ставил Парагвай во все более и более враждебные отношения с соседями... все более усиливалось чувство национализма в этой изолированной стране и переходило в национальный фанатизм. Скоро Парагвай представлял собой военный лагерь с военной организацией».

Потом появился Солано Лопес, одержимый мечтой об объединении Южной Америки. Он вверг Парагвай в кровавую семилетнюю войну с заведомо более сильными соседями. Эмоции, как это часто бывает, возобладали над рассудком...

Война с «Тройственным союзом», лишившая Парагвай двух третей мужского населения, чуть было не поставила крест на расе гуарани. Однако сам факт ее сохранения в этих тяжелейших условиях дает нам повод хотя бы отчасти согласиться с выводом Ионина, который полностью разделял и генерал Беляев, что «труды и мечты иезуитов, а после них и парагвайских диктаторов не были вполне иллюзиями, что народность гуарани, преобразованная и удобренная разными смещениями, могла бы жить самостоятельно», что владычество Европы в Америке непримиримо с самобытной жизнью.

Не будем, однако, предаваться фантазиям о том, что стало бы с Парагваем, вздумай он реализовать свое стремление жить «самобытной жизнью» в эпоху глобализации. Скорее всего, страну постигла бы судьба бывшей Югославии или Ирака.

Вернемся к этнической теме. В современном Парагвае язык гуарани пользуется одинаковыми правами с испанским, на нем печатаются книги и газеты, ведутся радио- и телепередачи. Всякому впервые попавшему в Парагвай поначалу бывает весьма странно наблюдать, как совершенно европейского вида человек бегло говорит по сотовому телефону на языке индейского племени. А вот Иван Тимофеевич Беляев называл язык гуарани «поэтичнейшим и мелодичнейшим».

Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Цивилизованные представители расы гуарани в двадцатом веке начали стыдиться своих «диких» лесных собратьев, ведь те редко покидали облюбованные дебри Чако. В результате примерно 35—40 тысяч человек стали изгоями в собственной стране. Слово «индеец» для парагвайцев превратилось в ругательное, а убить индейца совсем не считалось зазорным. «Назвать парагвайца индейцем, — писал М.Д. Каратеев, — это значит оскорбить настолько, что он свободно может пустить в ход револьвер или нож, а если поймет, что вы это сказали просто по неведению, то разъяснит, что индейцы — это краснокожая рвань, которая живет в лесах Чако и не достойна даже называться людьми, тогда как гуарани принадлежат к белой расе».

Насмешливый Каратеев не упускал возможности поиронизировать над малосимпатичным ему генералом Беляевым, как над неисправимым чудачком, который зачем-то решил помогать этим совсем пропащим. «Довольно многочисленные группы чимаков два-три раза в год приходили в столицу и располагались на ге-

неральском дворе, — писал он. — Являлись они из Чако в настолько декольтированном виде, что полиция их в город не пускала, и темной ночью они тайком пробирались к генералу в сад, который был окружен высоким забором. Трех или четверых он снабжал своими старыми штанами или пижамами, таким образом они получали возможность выйти на улицу».

А вот что рассказывал Павел Шебалин: «Генерал действительно собирал для индейцев старую одежду и просил ее у нас, но это не потому, что он пытался насильственно окультурировать их, а из соображений безопасности: полуобнаженного индейца могли запросто посадить в тюрьму или убить, а девушку — изнасиловать. Он уважал их традиции и обычаи и говорил, что индейцы как дети: чтобы добиться от них чего-то, их нужно постараться понять... Я сам, — продолжал Павел Львович, — когда столкнулся с ними в первый раз, то поразился их своеобразному видению мира. Генерал постоянно призывал нас давать им работу, ведь бедность у них была ужасная. Однажды, когда я работал топографом в Чако, то через Беляева договорился было с одним племенем, что индейцы будут помогать мне два дня, а в конце я заплачу им. Ну что же, проработали они день — все нормально. А на следующее утро заприметили страуса нанду, побросали кирки-лопаты и всей гурьбой ринулись за ним. Целый день гонялись по лесу, визжа и размахивая своими боличе*. Но страуса так и не поймали. Я отругал их вечером за то, что они бросили работу, а утром их и след простыл: индейцы устыдились и ушли. Не взяли даже денег за отработанное. Индеец — это ведь прежде всего охотник, ради охоты он готов забыть обо всем».

В бумагах, добытых Спиридоновой у вдовы генерала, помимо дневников и воспоминаний обнаружилось научные статьи, письма, обращения, тексты выступлений, относящиеся к 1935—1957 годам, которые свидетельствуют о самоотверженной борьбе Ивана Тимофеевича за права индейцев до последнего дня его жизни. Там переписка с властями Парагвая, обращения в международные организации и призывы к общественности, выражавшие боль за обиды и оскорбления, нанесенные индейцам, многочисленные ходатайства о предоставлении им свободы охоты и кочевий и т.д. Особое место занимает переписка по созданию Национального патроната по делам индейцев и Ассоциации индеанистских исследований — первых структур, взявших на себя функцию изучения и защиты этих отверженных. А это, воля ваша, совсем не вяжется с мнением Спиридоновой, что «в по-

* Специальный инструмент для ловли страусов и мелких копытных: два или несколько шаров, соединенных веревкой.

следние годы Беляев не писал ничего сносного» и что «к старости он окончательно отошел в область мечтаний о святой Руси». Не вяжется это и с деятельной, кипучей натурой Ивана Тимофеевича.

Научная работа, начатая Беляевым еще в конце 1920-х годов, не прекращалась ни во время войны, ни в период хлопот по обустройству русских эмигрантов. В начале 30-х «Журнал парагвайского научного общества» опубликовал труды Беляева, заставившие говорить о нем как об ученом-этнографе: «Индейцы сасиагуай», «Традиции ава-эте» и первый в мире словарь языка макка. Затем публикации последовали одна за другой: «Таблицы идентификации индейских племен Чако», «Словарь языка чимакоко», «Выделение корней в языке макка». Эти и другие работы сделали Беляеву имя в парагвайской науке и оставили след в мировой индеанистике. Сравнительный анализ индейских языков — а Беляев изучил до 14 индейских языков и наречий! — позволил ему прийти к выводу, что все они восходят к санскриту — первооснове индоевропейских языков. Этот вывод, а также прослеженные им общие основы религиозных верований индейцев и индоевропейцев подтвердили теорию об азиатских корнях коренного населения Америки.

После Чакской войны положение «бронзовокожих детей пустыни», как торжественно величал индейцев генерал Беляев, чуть улучшилось. Власти оценили помощь индейцев, которая, как и предсказывал Беляев еще в 1925 году, стала решающей при проведении разведывательных операций и выслеживании противника. Когда в 1937 году встал вопрос о создании Национального патроната по делам индейцев, кандидатура на пост директора ни у кого не вызвала сомнений. Отныне русский генерал мог официально выступать в защиту своих подопечных, опираясь на авторитет правительства.

Взгляды Беляева на то, каким должно быть отношение к индейцам, были изложены им в «Декларации прав индейцев», распространенной от имени патроната.

Будучи от природы свободным как ветер, индеец, по мнению Беляева, не делал ничего по принуждению и только сам мог быть двигателем собственного прогресса. Следовательно, необходимо было предоставить индейским общинам полную автономию и одновременно с ликвидацией неграмотности внедрять в их сознание основы цивилизованной жизни, ценности демократии, понятие о правах и т. д. «Декларация прав индейцев» требовала от белых элементарной справедливости: возвращения отторгнутых у них земель, распространения на них прав свободы передвижения, неприкосновенности жилища, пред-

принимательской деятельности. Единственной привилегией для индейцев оставалось право круглосуточной охоты и рыбной ловли на заселенных ими территориях «в качестве временной компенсации за земли, отошедшие к белым поселенцам, пока правительство не изыщет фонды для организации независимых индейских колоний».

Иван Тимофеевич Беляев выступал против всяких проявлений насильственного окультуривания индейцев. Он предостерегал всякого рода энтузиастов от искушения разрушить их веками складывавшиеся обычаи, нравы и религию, поскольку это, учитывая свойственные индейцам свободолюбие и уважение к памяти предков, лишь развратило бы их и оттолкнуло от культуры белого человека.

Пусть не покажется странным, что мы сегодня заняты проблемами этих наивных существ. Задумаемся, не мы ли все являемся с 1917 года объектами постоянного насильственного «окультуривания» на тот или иной лад, топчась на месте или отставая в развитии по сравнению со своими «просветителями»? Не оттого ли многие наши проблемы, что, отвергая свое, мы хватаемся за чужое, с виду красивое и блестящее, как бусы из мешка заезжего торговца, но абсолютно ненужное, даже вредное? Выходит, и мы с вами тоже «индейцы»...

Несмотря на провал идеи «Русского очага», Беляев уверен: главное — люди, только создав максимально благоприятную атмосферу для духовного и морального совершенствования людей, для терпеливой и благожелательной работы с ними, можно создать системы, отношения, экономику, политику. А ставить систему впереди личности — значит, рано или поздно противопоставить эти две данности.

Беляев считал, что большевизм — не столько идеология, сколько психология, склад ума, образ мысли. Стремление вогнать живую жизнь в прокрустово ложе умозрительной теории, пусть даже самой благородной и экономически оправданной, всегда чревато попытками избавиться от тех, кто в нее «не вписывается», а таких по мере силового утверждения системы, как правило, становится все больше. Большевизм как всякое намерение действовать не спросясь, претензия на истину в последней инстанции, самонадеянное, в обход воли Творца, стремление насильно осчастливливать всегда был органически чужд Ивану Тимофеевичу Беляеву.

А не видел ли Беляев в своих индейцах «новых людей», не увлекся ли вслед за коммунистами в СССР идеей постановки на поток оторванных от жизни гомункулов? Исключено. Во-первых, потому, что большевики как раз наперекор беляевской идее стре-

милось вырастить своего «нового человека» из новых экономических отношений, забывая о том, что сами эти отношения формируются людьми, со всеми их достоинствами и недостатками. Во-вторых, Беляев вовсе не отбрасывал прежнюю историю и культуру — в его случае культуру индейцев, — а стремился сохранить все позитивное, что имелось в ней, и дополнить всем хорошим — но только хорошим! — из мировой культуры.

Выше всего ценя в людях человеческие качества, генерал искренне восхищался моралью индейцев, их отношением друг к другу и к женщинам, их честностью, умением жить в коллективе и взаимодействовать с природой так, что это приносило пользу и человеку, и природе.

Индейцы Чако — это в целом порядочные и высокоморальные люди, физически и морально превосходящие многих других. Их способности и таланты восхищают. Очень умеренные во всем, они лишены той жажды денег, которая так развращает белых...

Тобас, макка и сасиагуай — это самые благородные, даже «джентльменские» племена Чако. Они отличаются высоким ростом. Внешний вид представителей этих племен, особенно в фантастическом одеянии вождей их семейств, кажется эталоном индейской красоты. Безукоризненное сложение, энергичные черты лица и природное великодушное сообщают мужчинам дух благородства, а женщинам — ауру чистоты...

Наиболее многочисленное и наиболее сопротивляющееся напору цивилизации — племя чиригуанос. Они спокойны и уравновешенны при условии, что белый путешественник не произносит в присутствии детей, девушек и молодых женщин недозволенных слов. Вы можете, не беспокоясь, оставить своих жен в племени, и никто не тронет их даже пальцем...

Чтобы открыть им пути к развитию способностей, необходимо особое и совершенно серьезное отношение к ним. Если дать индейцам все необходимые элементы образования, то результаты благодаря их прекрасному характеру и природному уму дадут знать о себе очень быстро. До самого последнего времени, однако, лучший индеец — это наименее цивилизованный индеец, — писал Иван Тимофеевич.

Индеец счастлив только тогда, когда он свободен. Почувствовав неудачу или боль, он смеется. Смеется не из глупости, а из природного оптимизма. Будучи смертельно больным, он падает духом, но если это замечают другие, то старается вернуть себе хорошее настроение. Ленив ли индеец? Нет. Он, скорее, консервативен. Он привык беречь силы для тяжелой жизни в лесу и пустыне, а не тратить их попусту в городе. Индеец экономит силы, как мы иногда экономим деньги. Только у него вместо денег энергия — последний жизненный резерв. Но когда он видит ясную цель и уверен в ее до-

стижении или когда его ведут к этой цели благородные устремления души, индеец оставит далеко, очень далеко позади себя любого другого...

Зачем и почему мы так хотим изменить жизнь индейцев — этих, пожалуй, единственных по-настоящему счастливых людей в нашу эпоху горестей и лишений? Для прогресса? Ради будущего? Скорее, в целях их эксплуатации.

Прогресс человечества неостановим. Против судьбы бессильны даже гиганты. Но давайте постараемся не спешить избавляться от того хорошего, что досталось нам в наследство от прошлого, попробуем использовать его тщательно и умело на благо будущего, не сминая тех чудесных и нежных цветов, которыми нас одарило святое Провидение!

Те, кто знают индейцев или имели возможность прожить вместе с ними столько же, сколько я, должны быть хорошо осведомлены об их достоинствах. «Принятый однажды под кров индейца, останется в нем навсегда» — эта испанская поговорка абсолютно верна. Пятнадцать лет, проведенных мною в самом сердце Чако, дают мне право говорить о достоинствах этой непонятой нами расы, которая единственная на этом «континенте свободы» не пользуется еще всеми теми правами, которые должны быть гарантированы каждому человеку. Во многих случаях за ними отрицаются даже те «права», которыми наделяются у нас домашние животные и рогатый скот. Целые племена индейцев Чако не имеют в своей собственности ни клочка собственной земли и лишены права легально защищать свою жизнь, честь и человеческое достоинство. К счастью, кое-что в этом отношении начинает меняться к лучшему...

Включение индейцев в активную политическую жизнь американских республик может принести обществу огромную пользу. Ведь индеец — это элемент порядка. Тесная племенная сплоченность и коллективизм — вот самые явные черты его характера. Каждое племя можно сравнить с хорошо организованной и дисциплинированной армейской частью, в которой солдаты разного пола и возраста объединены глубоким чувством взаимной любви и самоуважения. Тот, кто ранит одного, становится врагом всех, тот, кто одаривает ребенка, завоевывает сердце каждого.

Индеец неподкупен. Если он что-то получает, то тут же отдает это своему касику, который делит это между всеми членами племени, хотя зачастую именно последний больше всех и остается в накладе. Индейскую общину в этом плане в чем-то можно сравнить с кланом древних кельтов. В ней нет ни брошенных, ни сирот. В ней нет ни пороков, за исключением тех, которые были

занесены благодаря контактам индейцев с представителями белой расы.

У индейцев Чако высокая сопротивляемость к смерти — следствие консервативности духа и природного инстинкта самосохранения. Им незнакомо такое понятие, как самоубийство. Индеец думает в первую очередь не о себе, а о безопасности и благополучии своей семьи, о необходимости доведения до конца своей работы и о надлежащем соблюдении тех вековых обычаев и традиций, которые гарантируют ему и его потомкам скромную, но наполненную одному ему известным смыслом жизнь.

Этнографические труды Ивана Тимофеевича Беляева — объект для изучения специалистов. Для нас же даже после выборочного прочтения некоторых из них ясно: счастье — продукт сугубо индивидуальный. Научить быть счастливым, а тем более заставить им быть — невозможно, а значит, и не нужно.

Все это так, а как же племя морос, подозреваемое в каннибализме? Выходит, проповедуя бережное отношение к индейским обычаям, придется и каннибализм уважать?

Не нужно крайностей. Человеку вообще свойственно мыслить полярно: вот вам черное, а вот белое — другого не дано. Но мир многоцветен, а процессы, происходящие внутри человека, изменения его социальных связей гораздо сложнее, чем изменения природной среды. Стало быть, для искоренения разного рода крайностей нужны знания и терпение. Необходимо взаимообогащение, а не взаимоистребление культур. Кстати, какие бы то ни было сведения о кровавых морос перестали появляться в Парагвае уже с середины 1930-х годов. И в этом тоже можно усмотреть заслугу Беляева, который буквально вынудил государство протянуть руку мирным племенам, обеспечив тем самым культурное вытеснение агрессоров.

Но о каком синтезе культур может идти речь сегодня, когда национальная специфика, обычаи, традиции целых народов приносятся в жертву одной культуре — материалистической и сугубо эгоистической? Грустный пример североамериканских индейцев, так и не вписавшихся в свое время в мир представительной демократии и свободного рынка, а посему практически уничтоженных, к сожалению, опровергает вывод Беляева об абсолютной желательности включения индейцев в политическую жизнь государства. Какая политическая жизнь? Какого государства? Там, где коллективизм, идеализм и бесребреничество, достоинство и честь оказываются невостребованы или даже вредны, индейцы — совсем лишние люди.

Сегодня индейцы — жертвы олигархической глобализации, которая делает ранее малодоступные и полузабытые уголки их

обитания активным объектом купли-продажи. К сожалению, в наши дни уже не осталось таких людей, как падре де лас Касас, которые словом и делом выступили бы в защиту индейцев от наступления потребительской культуры.

Сегодня трудно не согласиться с известным антиглобалистом субкоманданте Маркосом, когда он говорит: «Индейцы — не потребители и не производители, а все, что мешает превратить человека в машину по производству и покупке товаров по законам рыночной экономики, должно быть уничтожено. Единственно, что важно, — это закон рынка. Речь идет о сведении всех к общему знаменателю, превращению всех нас в существа совершенно одинаковые и об утверждении в мире только одного образа жизни. Но индейцы не хотят ни уходить, ни переставать быть самими собой».

Речь в данном случае идет уже не только об индейцах, но и о всех нас. Люди опять приносятся в жертву системе? Не пора ли нам усвоить уроки истории, а России взять в качестве национальной идеи идею сбережения человека и нации? Не пора ли подчинить этой идее и экономику, и политику, и социальные теории, чтобы средства больше никогда не затмевали собой цель?

Рассуждая о необходимости синтеза культур, Беляев, однако, не думал ограничиваться только теориями. Попыткой практического осуществления такого синтеза, основанного на использовании природного артистизма индейцев, стал первый в мире (и пока последний) индейский театр, режиссером и антрепренером в котором выступил сам Иван Тимофеевич.

Видно, недаром кадет Беляев когда-то страдал от корсета, играя роль в бессмертной комедии Грибоедова. Любовь к сцене, привитая в детстве, с пользой для дела проявилась и на закате его дней.

В апреле 1938 года в Национальном парке Асунсьона с аншлагом прошло театрализованное представление «Индийская фантазия». Автором либретто был Беляев, помощником режиссера — известный парагвайский артист Роберто Холден Хара, а музыку сочинил знаменитый в Латинской Америке композитор Хосе Асунсьон Флорес, широко использовавший в своем творчестве индейский фольклор. Артисты — семьдесят индейцев племени макка — изображали один из эпизодов Чакской войны: героическую гибель вождя Чикинокока при защите форта Масамаклай. Индейцы играли на языке макка, но и без перевода все было понятно. Спектакль имел колоссальный успех. Главное же было в том, что парагвайцы впервые по-новому по-

смотрели на тех, кого до сих пор привыкли считать людьми «второго сорта»...

После удачной премьеры труппа получила приглашение от одной частной аргентинской компании на гастроль в Буэнос-Айрес. На пароходе индейцам выдали европейскую одежду и питание, ножи, вилки, ложки. Но никакого «конфликта цивилизаций» не произошло. Уважительное отношение, которое продемонстрировали к ним команда и пассажиры судна, сотворило чудо: индейцы, ранее отвергавшие всякие покушения на свободу самовыражения, начали с чувством собственного достоинства приобщаться к европейской цивилизации.

В аргентинской столице труппе отвели несколько павильонов сельскохозяйственной выставки в парке Палермо. Новоявленные служители Мельпомены жили там со всеми удобствами: в павильонах были кухни и туалеты, в рацион входили традиционные индейские блюда, фрукты, овощи, хлеб. Заинтригованные аргентинцы приносили индейцам всякие лакомства. Было даже вино. Но артисты, преисполнившись ответственностью перед публикой, старались им не злоупотреблять.

Спектакль был чудесным, — писал Иван Тимофеевич Беляев. — Один гектар асфальта за ночь был превращен в берег реки, окруженный со всех сторон тропическим лесом. В лесу располагались его обитатели, занимавшиеся повседневным трудом, со своими инструментами, украшениями и оружием... «Но это же не индейцы! — доносилось иногда из рядов публики. — Это белые люди, мастерски загримированные». Подойдя поближе и увидев индейские лица, татуировку, длинные, заплетенные в косички волосы, некоторые даже высказывались в том смысле, что вот, мол, бедных дикарей принудили к послушанию силой и наказаниями. И лишь побывав в нашей общине после спектаклей, проникнувшись духом гармонии, который царил в ней, они понимали, что попали не в «театр зверей», а к обычным, увлеченным работой людям...

Макка вернулись домой счастливыми. Большая часть выручки — пять с половиной тысяч аргентинских песо — была распределена между индейскими общинами для покупки лошадей, скота, оружия для охоты и сельскохозяйственной утвари. Аргентинцы же, под впечатлением увиденного, активизировали борьбу за равноправие индейцев в своей стране.

Но Беляева по прибытии в Асунсьон ждало разочарование. Национальный патронат по делам индейцев не получил от правительства ни обещанных денег, ни земли под индейскую школу, с инициативой создания которой Беляев неоднократно вы-

ступал ранее. Трудно было ожидать иного от правительства в условиях тяжелого экономического кризиса и политической нестабильности. За неполных четыре года, прошедших с момента смещения президента Э. Айялы, в стране сменилось уже три главы государства. Но если бы дело было только в этом! Пришедший к власти в 1939 году маршал Эстигаррибия воспользовался отсутствием Беляева в столице и добился смещения его с поста директора Национального патроната. Сказалась, видно, его давнишняя зависть к талантам русского генерала. Свою роль здесь, конечно, сыграла и бескомпромиссная борьба Беляева за права индейцев, его резкие, порой нелюбезные в отношении властей выступления в печати.

Но отчаянию — бой! Появляются новые идеи, зреют новые планы. Беляев сочиняет и ставит новый спектакль — «Прибытие Колумба». Премьера состоялась в парке Кабальеро, где уникальный природный ландшафт стал естественной декорацией доселе невиданного действия. На этот раз в спектакле наряду с индейцами приняли участие солдаты и матросы парагвайской армии и флота. Средства, необходимые для постановки, перечислили предприниматели. Результат, по словам Ивана Тимофеевича, превзошел все мыслимые ожидания. Деньги на создание первой в Парагвае индейской школы были наконец собраны. Дело оставалось за поддержкой этой идеи наверху.

Обстоятельства на этот раз складывались удачно. Спешное укрепление основ межамериканского сотрудничества, предпринятое США накануне Второй мировой войны, способствовало созданию континентальных органов, в ведении которых находились специфические проблемы латиноамериканских государств. Межамериканский индеанистский институт, созданный в 1940 году, занимался изучением положения коренного населения Америк, улучшением жизненных условий индейцев и адаптацией их в современном обществе.

Парагвайские энтузиасты борьбы за равноправие индейцев поспешили воспользоваться панамериканской инициативой. В конце 1940 года на торжественном заседании в здании парагвайского Красного Креста в присутствии представителей общественности было принято решение о создании общественно-научной Ассоциации индеанистских исследований Парагвая (АИИП). В состав директората вошли президент АИИП, известный парагвайский врач и ученый доктор Андрес Барберо, казначей полковник Эухенио Мартинес и директор будущей индейской школы генерал Хуан Белайефф. В списке рядовых членов ассоциации встречается еще одно русское имя — Николас Ермакофф.

По уставу, научными целями ассоциации были создание музея, исследовательского института и выпуск специализированного журнала; практическими — содействие получению индейцами в частную собственность земельных наделов, чтобы помочь им перейти к оседлому образу жизни, распространение на них всех прав и обязанностей членов современного общества и повышение санитарно-гигиенических условий жизни в общинах. Ассоциация планировала сотрудничество с международными организациями в деле улучшения жизни индейцев.

Деньги, собранные ассоциацией за счет общественных пожертвований и личных взносов учредителей, а также от продажи специализированного журнала («Анналы Ассоциации индеанистских исследований Парагвая», начал выходить с 1945 года, главный редактор — Хуан Белайефф), должны были поступать индейцам, которые имели право распределять их в зависимости от своих нужд. Позднее при ассоциации был открыт этнографический музей.

Материалы ассоциации рассматривались и пропагандировались в статьях генерала Беляева, с которыми он выступал в асунсьонской газете «Трибуна». Как и все, что выходило из-под пера Ивана Тимофеевича, статьи носили образный и эмоциональный характер.

Со времен Жан Жака Руссо и Екатерины Великой, — писал Беляев, никогда не упускавший возможности познакомить парагвайцев с персонажами русской истории, — существовала обширная литература о воспитании детей. Но почти все игнорируют необходимость воспитания целых рас, которые, несмотря на свой талант и качества, порой превосходящие качества так называемых цивилизованных народов, по различным причинам остаются на низших уровнях культуры.

«Несчастные!» — говорим мы о них. Нет, сеньоры, это не они, а мы несчастные, потому что на нас лежит вина за их нынешнее состояние!..

На всем Американском континенте есть только одна страна, где индейцы в свое время добились более или менее сносных условий существования. Это бывшая русская Аляска, где и после ухода русских в 1867 году осталось гуманное отношение к индейцам и разумный подход к их труду.

После гибели Эстигаррибии в авиакатастрофе власть в стране перешла к вице-президенту Ихинио Мориниго. АИИП связывала с его деятельностью возможные подвижки в улучшении отношения к индейцам. Мориниго сам неоднократно бывал в Чако, подолгу жил у индейцев, изучая их быт и нравы. В 1941 году Беляев

от имени ассоциации направил на его имя письмо, выдвинув, по сути дела, программу борьбы за права человека в Парагвае.

Уважаемый господин Президент!

После Вашего прихода к власти у нас сложилось убеждение, что Ваше превосходительство намерено начать этап прогрессивных преобразований в стране.

Ассоциация индеанистских исследований Парагвая, ставя перед Вами проблему индейцев, надеется, что наконец удастся найти средство, способное положить конец их крестному пути и смягчить ту боль, которую они испытывают вот уже более четырех веков.

Как Вам известно, в 1858 году президент Карлос Антонио Лопес объявил всех индейцев нашей страны ее гражданами. До сих пор это решение остается в силе. С тех пор, однако, для этих несчастных не было сделано ничего, за исключением благотворительной деятельности некоторых гражданских и религиозных организаций.

Из 50 тысяч индейцев, обитающих в настоящее время в Чако, лишь племена морос и гуаяков ведут в основном примитивную, кочевую жизнь. Остальные постепенно втягиваются в сельское хозяйство, промышленность, торговлю и животноводство в условиях, оставляющих желать лучшего.

Судьба несправедлива к индейцам. Они лишены как личной, так и коллективной безопасности. Их эксплуатируют, избивают, а часто даже безнаказанно убивают. Изнасилование индейских женщин — это нечто в порядке вещей, так же как и похищение их детей.

Парагвайцы, гордые своим происхождением, не сделали пока еще ничего для прямых потомков той расы, из недр которой они сами вышли. Последние остатки расы гуарани постепенно истребляются при полном равнодушии и попустительстве политиков.

Население Парагвая занимает пространство, равное территории Франции, и могло бы без ущерба для себя выделить земли для 35 тысяч индейцев.

Ассоциация считает необходимым:

обеспечить индейцам право беспрепятственного перемещения по всей территории страны;

назначить специальное ответственное лицо для коллективной и индивидуальной юридической защиты индейского населения.

Господин Президент!

В истории Парагвая происходило немало чудесных событий. Начало человеческого отношения к индейскому населению может стать прекрасным примером для других стран Америки, принести славу стране и ее лидерам...

Намек на панамериканские инициативы, очевидно, должен был по замыслу Беляева подвигнуть правительство на то, чтобы поскорее перейти от слов к делу

Усилия генерала не пропали даром 25 января 1941 года декретом президента в распоряжение ассоциации были переданы земли на правом берегу реки Парагвай для обустройства индейской колонии. Она совсем не случайно получила название «Школа Бартоломе де лас Касас», по имени первого правозащитника (не по профессии, а по существу!), который самоотверженно выступил на защиту прав индейцев в шестнадцатом веке. Для колонии выделялся остров площадью 332 гектара, имевший порт для индейских пирог.

После 1947 года за оседлыми индейцами была закреплена земельная собственность с запретом выкупа ее у них частными лицами. Одновременно учреждалась должность специального наблюдателя за соблюдением конституционных прав индейского населения. Иван Тимофеевич Беляев 15 марта 1944 года был восстановлен в должности директора Национального патроната по делам индейцев и получил звание Почетного генерального администратора индейских колоний. После смерти доктора Барберо в 1951 году Беляев становится президентом Ассоциации индеанистских исследований Парагвая. На этих должностях он оставался вплоть до своего ухода из жизни.

Первой помощницей в работе Ивана Тимофеевича была Александра Александровна. Единомыслие в семье — вещь, конечно, не обязательная, но желательная. А при наличии интересов, выходящих за рамки чисто бытовых, просто необходимая. «Неразлучники» — Беляев и Аля — одинаково относились к индейцам Супруга генерала рассказывала:

Зная привычки моего мужа, который и в бытность нашу на Кавказе нередко наполнял наш дом своими «кунаками» — черкесами, чеченцами, хевсурами — в их своеобразных нарядах и вооружениях, я нисколько не удивилась, когда тридцать лет назад он привел домой рослых индейцев, возглавляемых старым касиком, и просил принять и угостить их как дорогих гостей. С тех пор у нас нередко стали появляться спутники его головоломных экспедиций по границам Боливии, которых он рекомендовал мне как своих надежных проводников, верных спутников или гостеприимных хозяев в заброшенных уголках пустыни.

С первых же минут эти на вид страшные и дикие люди осваивались с новыми для них условиями и, не мешая никому, старались быть полезными.

Скрытные и молчаливые при других, оставаясь с нами, они вели себя просто и непринужденно. И когда им случалось наряжаться в

свои живописные перья и плащи, производили чарующее впечатление элегантностью обращения и изысканностью манер. Иные застредали у нас на недели или даже на месяцы по болезни или по какой-либо нужде и обращались в совершенно домашних и близких людей.

Иногда приходило их до сотни — мужчины, женщины, дети. Они заполняли собою весь сад. Приходилось искать им пищу, одежду, лекарства. Все это приносило непосильные заботы, и когда они исчезали так же неожиданно, как и появлялись, чувствовалось невольное облегчение.

Но за все это время не было ни одной неприятности с кем-нибудь из них, ни одной пропавшей вещи. Между ними не было ни криков, ни ссор, даже случайный плач ребенка затихал в ту же минуту. И когда они уходили, приходилось задумываться — какая жестокая несправедливость судьбы лишила их всех благ и свобод привольной жизни, которую мы видели у нас в России среди свободных горцев Кавказа.

*Прошли годы... Что случилось с теми полными жизни юношами, кроткими миловидными женщинами, очаровательными малютками, наполнявшими наш сад, — я не знаю. Иные, слышала я, погибли от войны и занесенных ею болезней, другие стали жертвой тех, кому так радостно открывали путь в свои заповедные пустыни... Горсть преданнейших друзей мужа благодаря невероятным усилиям нескольких добрых людей нашла себе приют и убежище вблизи, под защитой вернейшего спутника их походов. За несколько лет они вошли в общее русло жизни, нашли выход своим усилиям, а теперь борются за будущее своих детей. Теперь они появляются уже не как ласточки, загнанные бурей. Они заходят лишь на короткое время, мужчины нередко в элегантных костюмах и в модной прическе, женщины разодетые в дорогие ткани, и все же, как и тогда, их глаза искрятся непритворным детским чувством, их сердечные взрывы смеха будят воспоминания прошлого, и когда они исчезают вновь, таким же искренним тоном звучит их сердечное *Atsane!* — Прощай!*

Пожилой касик Андрес, с которым я познакомился в Асунсьоне, был одним из тех, кто с детства жил в доме Беляева. Он с большой теплотой вспоминал заботы Александры Александровны и то, как она мягко и ненавязчиво пыталась обучать его жизни в «большом мире». Такие, как Андрес, стали потом помощниками Беляева в индейской колонии.

Итак, на выделенном правительством острове в сентябре 1941 года поселились первые 239 индейцев племен макка и чимакоко. Колония представляла собой своеобразную школу с трудowym воспитанием. Вещи и инструменты, необходимые для перво-

начального обустройства, были приобретены отчасти на деньги, полученные от выступлений индейского театра, отчасти на пожертвования членов ассоциации и просто сочувствующих делу Беляева. Прежде всего была построена школа — простая хижина без окон и с крышей из тростника. Туда приходили учиться грамоте у Беляева и его помощницы Бранки Сушник дети индейцев-колонистов и те, кто впервые отважился увидеть мир за пределами сельвы.

Пожилые индейцы занимались сельским хозяйством: выращивали батат, маниоку, маис, сорго, сахарный тростник, арбузы и дыни. Первый посев хлопка на четырех гектарах дал отличный урожай. Но на следующий год весь урожай был уничтожен паводком — главным бичом островитян. Из-за паводков колонию потом, уже после смерти Беляева, пришлось перенести в глубь Чако.

Молодые мужчины охотились. Скоро многие асунсьонские модницы стали щеголять в страусовых перьях, добытых индейцами в кампе и искусно выделанных их женами. Появилась мода на сумочки из панциря броненосца. Сегодняшние экологи и энтузиасты из обществ охраны животных, наверное, возмутились бы из-за такого кощунства. Но не будем забывать, что в сороковые годы прошлого века о том, что такое экология, знали, наверное, только специалисты. Огромной популярностью в стране и за ее пределами стали пользоваться сувениры из кожи, пончо и ковры, украшенные традиционными индейскими орнаментами.

Конечно, кое-что при устройстве индейской колонии Беляев позаимствовал из планов «Русского очага». Крепкие спиртные напитки были совершенно запрещены. Все попытки городских спекулянтов переправить на остров ром и каню безжалостно пресекались специальным кавалерийским эскадронам, расквартированным по левому берегу реки, и нарядами городской полиции. В ходу была только лоха — слабоалкогольный витаминизированный напиток наподобие пива. За санитарным состоянием колонии наблюдали медики — члены ассоциации.

Глядя на становление индейской колонии и ее первые успехи, Беляев был счастлив. Его жизнь вновь приобрела смысл. Но не вспоминал ли он здесь, с преданными ему индейцами, которые ни разу не усомнились в благородстве его намерений, о том, что не удалось осуществить десятилетие назад? Может быть. Никакой помощи извне он не ждал и на нее не рассчитывал. Все основывалось на личных усилиях и личном самопожертвовании. Учитывая прошлый опыт, Беляев опасался принести идею в жертву материальному фактору.

Вставая каждый день в шесть утра, он шел на маленькую пристань в парке Кабальеро, где садился в уютное каноэ и перебирался на свой остров. Там его ждали дети и взрослые, которых он учил читать и писать, молиться и думать. Мог ли вообразить когда-то юный гадет, прилежный грызший гранит артиллерийской науки, молодой гвардеец, весело проводивший время в компании друзей на маневрах под Дудергофом и Красным Селом, что на склоне лет ему придется читать «Отче наш» на испанском и на языке макка раскрашенным и оперенным индейцам, которые будут внимать ему, как самому Господу Богу?!

Оставаясь православным, Беляев прививал своим индейцам основы католической веры. И правильно, ведь им предстояло жить в мире, где господствовал католицизм. Но до того как его ученики хорошенько не овладеют испанским, он считал ненужным давать им глубокие религиозные знания. В то же время генерал, зная, что религия макка, особенно их взгляды на происхождение мира, близки к ветхозаветным, сразу решил научить их основным молитвам. Какова же была его радость, когда слова и смысл молитв нашли живой отклик в простых, не искушенных цивилизацией душах! Оказалось, что индейцы, как все лесные жители, обожествляя зверей, деревья и птиц, испокон веку веровали в Святую Троицу и рай.

Вот что писал Беляев в статье «Религия» в 1953 году:

При ближайшем знакомстве с индейцами создается убеждение, что основы религии всех народов этой части континента, значительно видоизмененные в зависимости от состояния культуры, индивидуального характера племен и т.д., никоим образом не подверглись каким бы то ни было изменениям под влиянием соприкосновения с европейцами... У всех племен сохранились ясные представления о загробной жизни. Согласно верованиям макка, отражение, или образ, тела, покидая землю, в небесных высях находит свой путь на запад, где есть чудесная страна, в ней нет нужды ни в пище, ни в крове, в ней нет ни дня, ни ночи. Озаряемые непреходящим сиянием, души мужчин, женщин и детей всех племен и народов наслаждаются там вечным блаженством под кровом Трех Властителей, имен которых никто не знает и не должен знать...

Но главнейшей основой всего является любовь. Осмеиваемый и презираемый на каждом шагу, этот «грязный дикарь» под своими лохмотьями сумел сохранить залог самых святых и возвышенных чувств не только в отношении «братьев», но и к каждому существу в мире...

Другой основой жизни является непреодолимое стремление к свободе, ограниченное лишь благоденствием души. Брак существует лишь

постольку, поскольку живет любовь в сердцах супругов, что нередко бывает до глубокой старости. Если же она иссякнет, никакой лицемерие, никакой расчет не должен иметь места. Не бывает разводов ради прелюбодейния, но часто расходятся из-за смерти ребенка, что приписывается недосмотру, невоздержанности или греховности.

Наказания у индейцев не существует. Оно всецело заменяется давлением общественного мнения, кроме исключительных случаев, влекущих за собой изгнание... Детей не наказывают. Все делается с улыбкой, ошибки и промахи исправляются смехом. Самое большое — если мать позволит себе легонько шлепнуть провинившегося. Оторвать индейца от племени — это величайшее зло, которое можно ему причинить: это значит вырвать с корнем из его души все самые святыя его чувства.

Мораль глубоко заложена в основе индейского быта. И чем ближе индеец к природе, тем ближе его среда подходит к идеалу первых христиан. После всего этого кажется необъяснимым, как наставники и миссионеры всевозможных церквей и сект, внушавшие дикарям свои идеи в течение четырех с половиной столетий, могли отрицать в них какой-либо признак религиозного чувства? Вот почему индеец глядит так бесстрастно и без интереса к окружающим, у которых не найдется искры воспламенить его сердце, ни души, чтобы проникнуть в глубину его существа.

Художническая натура Беляева никогда не знала покоя, так же как и его деятельный характер. Поэтическое творчество было ему присуще и в годы Гражданской войны, и в эмиграции, и в Парагвае. «Парагвайский цикл» стихотворений Беляева включает произведения на русском и на испанском языках. Во время Чакской войны генерал переводил на испанский и гуарани некоторые русские солдатские песни. Особое место занимают переводы русской песенной классики — «Тройка», «Хазбулат» и многие другие песни. Иван Тимофеевич переводил также с французского, немецкого и английского.

Изучая фольклор индейцев, Беляев однажды обнаружил удивительное произведение, которое еще ждет внимания филологов, этнологов и культурологов. Это устная поэма «Амермелата» — повествование о великом потопе. Вдохновившись темой, Иван Тимофеевич перевел эту поэму на русский. Она появилась в печати 12 мая 1940 года в газете «Русский в Аргентине», которая издавалась в Буэнос-Айресе. Скромность не позволила генералу представить поэму как научное открытие, он был горд самим фактом ее опубликования. О «Амермелате» мы можем судить по небольшому отрывку из беляевского перевода:

Было время — наши предки
Назывались Эшипорио.
Они жили беззаботно,
Зла не делали друг другу.
От плодов земных питаюсь,
Ели травы и коренья,
Пили чистый сок растений,
Но не ели даже мяса
И не проливали крови.

Но однажды злое дело
Совершили эшипорио:
Угря лапидосирену
Умертвили и пожрали —
И навел потоп великий
На вселенную Аморма.
Наступило половодье,
Наступило наводнение,
Волны вышли из пределов
И вселенную покрыли.

И погибло все живое —
Люди, звери, даже птицы.
Лишь один премудрый Ома
Не погиб в волнах потопа.
Он надежный челн построил
И вошел в него с женою.
По бушующей стихии
Он носился днем и ночью,
Собирая и спасая
Утопающих младенцев.

Но когда утихла буря,
Волны снова отступили,
Показались вновь деревья,
Почва снова обнажилась
И у берега, под лесом,
Он жилье себе устроил,
Всех спасенных от потопа
Разделил он на семейства:
Кто побольше, тех назначил
Быть отцами, матерями;
Кто поменьше — тех отдал им
Дочерьми и сыновьями,
С тем чтоб все могли кормиться,
Чтобы в старости печальной
Послужили друг для друга...

В пятидесятые годы Беляев продолжал работать не зная усталости, опекая и образовывая своих индейцев. В 1955 году ему исполнилось восемьдесят, а планов еще было немерено. От жизни русской колонии он отдалился. Другей оставалось немного —

Александр фон Экштейн-Дмитриев, Бранка Сушник, Павел Шибалин. Они навещали его в те редкие минуты, когда генерал бывал дома, а не на своем острове. Среди русских были коллеги, сочувственно относившиеся к заботам генерала. Николай Ермаков и Борис Подтягин сотрудничали с Беляевым в ассоциации, врачи Константин Граматчиков и Николай Евреинов регулярно проводили осмотры индейцев в колонии и следили за ее санитарным состоянием. Индейцы называли Беляева Белым Вождем, хотя на самом деле он был для них почти богом...

Действительно, защита прав обездоленных, отнимавшая на склоне лет все силы Ивана Тимофеевича, принесла потом свои плоды. Статьи Конституции Парагвая 1992 года — это прямое юридическое закрепление «Декларации прав индейцев», составленной Беляевым еще в начале сороковых годов. В Конституции признавалось существование групп индейцев, ведущих свое происхождение от племен, которые существовали еще до создания парагвайского государства, гарантировались права коренных жителей на развитие их этнической самобытности, на свободу собственной политической, социальной, экономической, культурной и религиозной организации, права на общинное владение землей, которую государство предоставляет им бесплатно и не облагает налогом, на участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Кроме того, государство обязалось уважать культурные особенности индейских народов, а также защищать их, препятствуя уменьшению их численности, загрязнению мест их обитания, эксплуатации и попыткам культурной ассимиляции. Коренные жители освобождались от выполнения гражданских и военных повинностей, а также от общественных нагрузок.

В 1993 году Парагвай присоединился к соглашению «О коренных народах и племенах в независимых странах», разработанному Международной организацией труда, тем самым взяв на себя ответственность за осуществление координированной и систематической деятельности по защите их прав и уважению их целостности. В соглашении указывалось, что «за этими народами должно быть признано право собственности (владения) на земли, которые они традиционно занимают».

Созданная юридическая база позволяет сегодня индейцам Чако, число которых с беляевских времен выросло до ста тысяч человек (примерно два процента населения страны), бороться за свои права и отстаивать их, не рискуя подвергнуться репрессиям и дискриминации, и в этом — огромная заслуга русского генерала перед приютившей его страной...

Годы давали себя знать, несмотря на устойчивую привычку не замечать их. В первых числах января 1957 года, зайдя к Беляеву после долгого перерыва, Павел Шебалин увидел, как Иван Тимофеевич резко сдал. Генерал недолюбливал врачей, совершенно не терпел лечиться, но принимал какие-то индейские снадобья.

— Иван Тимофеевич, вы не здоровы? — забеспокоился Шебалин.

— Ничего, пустяки, — храбрился Беляев. И вдруг добавил: — Но скоро, теперь уж скоро...

Шебалин больше ничего не добился ни от самого Беляева, ни от Александры Александровны, которая к тому времени уже почти ослепла и почти ничего не слышала, а индейцы, бродившие по дому, как всегда, хранили торжественное молчание. Когда стали прощаться, Иван Тимофеевич оживился:

— Знаете, Паша, индейцы сказали, что после того, как я умру, они каждый год будут исполнять на моей могиле свои ритуальные танцы. Какая честь! Мне легко будет умирать! — И потом: — Паша, храните свою культуру! Ведь вы — русский. Никогда не забывайте об этом!

«Спустя дней десять, — рассказал мне Павел Львович, — мы с приятелем проходили мимо дома Беляева и увидели: напротив собралась толпа, стоит катафалк. Среди собравшихся было много индейцев. Скоро вынесли простой гроб. Многие, в том числе и я, не скрывали слез, а индейцы стояли как на параде, торжественно и молча.

Вслед за катафалком все отправились в церковь. По пути толпа продолжала прирастать, и я заметил много знакомых лиц. В церкви выяснилось, что почти вся русская колония в сборе. Пришли даже бывшие недруги генерала — Корсаков и Эрн — и стояли со свечками. В маленьком помещении было не протолкнуться, была жуткая январская жара, но никому и в голову не пришло попросить индейцев — их там набилось человек сорок! — выйти во двор. После отпевания, которое совершил отец Василий, индейцы в своих головных уборах из белых перьев вместе с русскими и парагвайцами подходили прощаться и, по своему обычаю, прикладывались щекой к щеке Беляева.

Потом сказали, что в Офицерском собрании состоится панихида, и все пошли через весь город туда. Индейцы, немного потеснив белых, окружили катафалк, а касик Кааити устроился рядом с кучером. В собрание пришли уже поздно вечером и оставили катафалк во дворике до утра. Индейцы уселись рядом, никто из них даже не подумал уйти. Ночью пошел сильный дождь, но они были на месте. Оже де Морвиль убеждал их перейти под навес — те как будто не слышали. Им предложили сигареты — они отказались и

от курева, показывая руками в сторону катафалка. Тогда Николай Корсаков распорядился, чтобы индейцам принесли еду из буфета, и буквально заставил их поесть. Они ели торжественно, не проронив ни слова. Наутро из Чако, проделав многокилометровый путь, пришли новые группы индейцев, многие целыми семьями.

Потом выступали представители командования, ассоциации ветеранов войны, члены АИИП. Одни отмечали военные заслуги Беляева перед его второй родиной, другие — его вклад в развитие парагвайской и мировой индеанистики, и особо — самоотверженную борьбу в защиту прав индейцев. После торжественных речей его «дети» молча, как по команде, подняли на свои плечи гроб, покрыли его цветным пончо и двинулись в сторону Пуэрто Сахония, где дождался «Хенераль Мартинес» — по иронии судьбы тот самый кораблик, на котором Беляев и его спутники возвращались из своего славного путешествия к лагуне Питиангута в 1932 году. Он должен был доставить гроб с телом Беляева к последнему пристанищу — на остров, где генералом была основана индейская школа. Индейцы хором затянули гортанную песню — я такого еще никогда не слышал.

На пристани генералу были отданы последние почести. Взвод солдат долго и нестройно палил из винтовок. Потом стали грузить венки: от командования, министерства обороны, Ассоциации индеанистских исследований Парагвая, Национального патроната...

Маленький пароходик не мог вместить всех. Провожавшие остались на берегу, с Беляевым отправились индейцы, а из русских только я и мой приятель Николай Гладышев. Когда мы отчаливали, кто-то на пристани обронил:

— Хоронят, как язычника.

И тут же раздался бас Корсакова:

— Господа, бросьте глупости говорить! Беляева в церкви отпели. — И добавил: — Других, может, забудут, его — никогда!

Дождь продолжался, было пасмурно, но Гладышев все время щелкал фотоаппаратом, несколько фотографий получились довольно сносно».

Индейцы хоронили своего Белого Вождя из клана Тигров. В хижине, где вождь учил их детей, они весь оставшийся день и всю ночь читали над гробом «Отче наш» на своем языке и пели заунывные погребальные песни. На рассвете, как и положено, совершили обряд похорон, потом сплели над могилой шалаш и посадили вокруг кусты роз. На ровном четырехугольнике земли, без холма, выложили камнями: «Здесь лежит Беляев».

Все газеты дали подробный отчет о событии. Асунсьонская «Трибуна» писала об «апостоле борьбы за права индейцев», «рус-

ском по происхождению и парагвайце сердцем», подвижнике, который «стал знаменем культурного освоения Чако».

После смерти о человеке принято говорить только хорошее, и это в порядке вещей у его друзей. Но нам небезынтересно узнать мнение о Беляеве тех, кто при жизни его не особо жаловал.

«Наверное, что-то было в личности Беляева, что сделало возможной его близость с индейцами, которые его действительно любили», — писала Е.М. Спиридонова.

«Воистину, невообразимой может быть человеческая судьба, — удивлялся М.Д. Каратеев. — О русском генерале Беляеве, как таковом, через два-три десятка лет исчезнет всякая память. Но как индейский касик — друг и благодетель этого народа, он не будет забыт, пока на земле останется хоть один чимакок. Рассказы о нем, обращаясь в легенды, будут передаваться из поколения в поколение, и, может быть, настанет такой день, когда в Чако ему воздвигнут памятник как индейскому национальному герою».

...Жаркий асунсьонский полдень. На подручном плавсредстве мы перебираемся через реку и оказываемся наконец на земле Чако. Но торжественность момента тут же омрачается тревогой. В высокой траве после сошедшего накануне паводка могут быть ядовитые змеи. Наш гид, полковник Виктор Бутлеров, со знанием дела выбирает длинный прут и молча идет вперед, раздвигая заросли. Я оглядываюсь. Как реагируют на ситуацию остальные члены нашей группы? Но Бутлеров, весело насвистывая, шагает так уверенно, что и я скрепя сердце иду за ним, и наши спутники двигаются следом, не выказывая опасений.

К счастью, путь недолог. Мы у могилы Беляева — на том самом острове, в том самом месте, где когда-то была его школа. Постоянные паводки — прибудь мы двумя днями раньше, и нам к Беляеву пришлось бы добираться по колено в воде — заставили перенести индейскую колонию в глубь Чако, поэтому вокруг пустынно.

Бюст на могиле генерала установлен на четырехножке так высоко, что вода даже при сильных паводках не доходит до массивного постамента, внутри которого находится его прах.

«Индейцы помнят его, некоторые почитают за бога, особенно молодежь, многие молятся ему. Я-то нет, ведь я знал его живого. Но в нем и правда было что-то от бога. Я иногда вдруг замечаю, что мысленно общаюсь с ним, советуюсь, делюсь своими радостями и невзгодами». Это говорит касик Андрес.

На этом мы могли бы и закончить наше повествование. Но... Михаил Дмитриевич Каратеев был прав: Беляеву поставили памятник в Чако. В целом же он оказался плохим пророком.

О «забытом» русском генерале Беляеве вспомнили в России и, как представляется, будут помнить. Потому что история — это не отношения «базиса и надстройки» и даже не «политический процесс». История — это люди. И оттого, какие цели перед собой в жизни они ставят, какими средствами пытаются их достичь, зависит будущее их детей и внуков. И пусть Беляев не был одним из тех «великих», которых мы справедливо, а случается, и несправедливо, такими считаем, его удивительная судьба, его честь, достоинство, вера, любовь и терпимость дают основание надеяться, что в России будут появляться такие люди, как он. И тогда для нее совсем не все потеряно.



Мы начали разговор об Иване Беляеве в скромной квартире на улице Лескова, а заканчиваем его в другой московской квартире, недалеко от площади Трех Вокзалов. Здесь живет человек с интересной судьбой — Сергей Алексеевич Беляев, внук старшего брата генерала Беляева, Сергея Тимофеевича. Сергей Алексеевич — ученый-археолог, специалист по истории Византии и Древней Руси. В его квартире свободно передвигаться можно только боком — все жизненное пространство, от пола до потолка, занимают книги и рукописи. Наверное, такие люди, как он, живущие в постоянном контакте с историей, лучше других ощущают связь времен, видят преемственность поколений в кажущейся хаотичности бытия. Послушаем Сергея Алексеевича:

— Как интересно, как по-разному сложились судьбы шести братьев Беляевых! Трое эмигрировали, трое остались в России. Гражданская война расколола нашу семью, как она расколола всю нашу страну. Михаил Тимофеевич скончался в Югославии, в городе Бор — это недалеко от границы с Болгарией — десятого января пятьдесят первого года. До конца жизни он оставался председателем русской церковной общины в городе Зайчаре. Там сейчас проживают его потомки — Павел и Михаил Кагадеевы. Их семьи очень тесно связаны с Россией. Кагадеевы хранят русские традиции и нашу православную веру. Сын Михаила Тимофеевича, Сергей Михайлович, был специалистом по агрохимии, преподавал в вузе, написал несколько учебников. Он умер в Сараеве четвертого июля восемьдесят девятого года. Слава Господу, его не коснулся ужас еще одной гражданской войны, он не узнал о смерти замученной мусульманками внучки Марины... Сын Сергея Михайловича, Сергей Сергеевич, покинул Сараево и переехал на жи-

тельство в США. Русский участок кладбища в Сараево, насколько мне известно, разрушен...

Николай Тимофеевич Беляев умер в Париже в пятьдесят пятом году. После революции он обосновался в Англии, целиком сосредоточился на работах в области металлургии, начал работать в Институте стали как консультант по технологии металлов. Николай Тимофеевич Беляев был членом многих научных обществ, автором целого ряда научных публикаций, принесших ему известность на Западе. За заслуги в области металлургии он был награжден золотой Бессемеровской медалью. Николай Тимофеевич интересовался и древней историей, опубликовал несколько работ по истории Древней Руси. Николай Тимофеевич как только мог поддерживал свою мать, Марию Николаевну Септюрину, оставшуюся в России и проживавшую до тридцать четвертого года в Ленинграде, семью брата Михаила в ее скитаниях по миру, пока она не осела в Югославии, помогал брату Ивану с организацией эмиграции в Парагвай. Последние годы жизни Николай Тимофеевич провел в Париже, был старостой русской церкви при кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там и похоронен.

Из трех братьев, что остались в России, могила есть только у моего деда. Тимофея Тимофеевича большевики утопили на барже у Кронштадта в июле восемнадцатого, Владимир Тимофеевич умер в блокадном Ленинграде в сорок втором. Он, как и десятки тысяч ленинградцев, был похоронен на Пискаревском... а может, на Серафимовском кладбище. Дед мой, Сергей Тимофеевич, отправив в апреле семнадцатого года семью на юг, к брату Ивану, сам вернулся в действующую армию. Тогда никто и представить себе не мог, что то, что происходило в Петрограде ранней весной семнадцатого года, — только прелюдия, только начало куда более страшных событий. Многие еще надеялись, что «заварушка» скоро кончится и все вернется на круги своя. Сергей Тимофеевич, конечно, не предполагал, что Екатеринодар вскоре станет одним из центров Гражданской войны...

После революции Сергей Тимофеевич не эмигрировал, он считал, что Россия здесь и всегда здесь останется. Некоторое время Сергей Тимофеевич был инспектором артиллерии второй армии, потом стал первым командующим артиллерией Московского военного округа. На этом посту он находился в течение года. С семьей ему удалось воссоединиться только чудом в декабре двадцатого года. Жили в Москве. Сергей Тимофеевич Беляев возглавлял кафедру тактики артиллерии в Академии Генерального штаба РККА. Его «Наставление по тактике артиллерии» было

основным учебным пособием для нескольких поколений русских и советских артиллеристов. Он скончался двадцать четвертого февраля двадцать третьего года и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Мой отец, Алексей Сергеевич, тоже артиллерист, работал в Главном артиллерийском управлении РККА. В тридцатом году он был выслан из Москвы, работал на лесоповале в Архангельской области. Потом семья жила в Костроме. На войну отец не попал по причине плохого зрения и был мобилизован на трудовой фронт. После войны он принял священнический сан. Служил в Рязанской, Орловской и Владимирской епархиях, последние десять лет жизни — в Эстонии. Умер Алексей Сергеевич пятнадцатого декабря восемьдесят седьмого года.

Я окончил исторический факультет Ленинградского университета, долгое время работал в Эрмитаже, в Институте археологии Академии наук. Мне довелось участвовать во многих интересных археологических экспедициях — поколесил по свету... Поклонился Михаилу и Николаю Беляевым в Югославии и во Франции. А перед Иваном Тимофеевичем чувствую себя в долгу. Не успокоюсь, пока не съезжу в Парагвай поклониться его праху.





Где-то далеко, в заброшенном театре поднимается занавес, загораются огни рампы. Механизмы со скрипом поворачивают сцену. И с двух сторон нарастает гул, в нем можно различить топот копыт, крики «ура», беспорядочную стрельбу, стоны раненых — обе стороны бьются за «правое дело». Вскоре этот гул становится невыносимым, хочется заткнуть уши. А сцена остается пустой...

Но вот грохот боя обрывается, и слышится совсем другое: «Соловей-птишечка» вперемешку с лихой парагвайской полькой. По сцене, гремя амуницией, проходит рота босоногих солдат. Они еще неуверенно держат строй и не сразу понимают команды, отданные по-русски. За солдатами мелкими перебежками следуют полубнаженные, украсившие себя перьями индейцы. Их много, но последние ряды каким-то чудесным образом превращаются в солидных господ — в костюмах и с сотовыми телефонами...

Сцена продолжает вращаться. И вот она — Петропавловская крепость. Все окрашено в багрово-красные тона — это закат или рассвет? Часы на башне стоят, похоже, уже давно. Но вот к основанию шпиля падает чистый и светлый луч, неуверенно ползет вверх, к золотому ангелу. Часы хрипят и кашляют, стрелки сдвигаются с мертвой точки — пошли! Шесть утра. Кончилась долгая-долгая ночь. Начинается новый день России.

Каким-то он будет?..

Москва — Санкт-Петербург — Бразилиа — Асунсьон — Москва
1994 — 2005 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	
Санкт-Петербург	
7	
Глава вторая	
Война и смута	
41	
Глава третья	
Загадочная Питиангута	
91	
Глава четвертая	
Опять война	
123	
Глава пятая	
«Русский очаг»	
168	
Глава шестая	
Белый вождь	
209	

Мартынов Б.Ф.

М25 **Русский Парагвай: Повесть о генерале Беляеве, людях и событиях прошлого века.** — М.: Воениздат, 2006. — 239 с., ил. — (Редкая книга).

ISBN5—203—01970—3

Иван Тимофеевич Беляев, русский генерал парагвайской армии, участник Первой мировой и Гражданской войн, георгиевский кавалер, в годы эмиграции стал одним из первооткрывателей Южно-Американского континента, в годы войны Парагвая с Боливией вместе с другими русскими офицерами сражался за свободу Парагвая, стремился создать в Парагвае «Русский очаг» — прибежище для всех русских, потерявших отечество в результате трагических событий российской истории. После 1940 года Беляев делал все, чтобы уберечь от истребления и вымирания парагвайских индейцев, сохранить их самобытную культуру. Имя генерала Беляева — почетного гражданина Республики Парагвай, по сей день пользуется почетом и уважением в этой стране.

Книга адресована читателям, интересующимся судьбами русских людей за рубежом, их вкладом в мировую культуру.

ББК 63.3(7)

Все книги Военного издательства можно приобрести в отделе реализации Воениздата и Торговом доме «Военная книга».

Адрес: ул. Зорге, дом 1 (станция метро «Полежаевская»).

Телефоны отдела реализации:

(495) 195-43-84; 195-02-14; 195-24-60.

Тел./факс: (495) 195-24-54.

Часы работы: понедельник — пятница 9.00—17.00.

Телефон Торгового дома «Военная книга»: (495) 195-24-90.

Тел./ факс: (495) 195-24-14.

Часы работы: понедельник — пятница 10.00—19.00.

Борис Федорович Мартынов
РУССКИЙ ПАРАГВАЙ

*Повесть о генерале Беляеве,
людях и событиях прошлого века*

*

Редактор *Г.В. Булгакова*
Художественный редактор *Л.Е. Кривокобыльская*
Технический редактор *М.В. Федорова*
Корректор *Г.В. Казнина*
Компьютерная верстка *Н.М. Холмеева*

*

Лицензия ЛР № 020872 от 8 июля 1999 г.
Сдано в набор 15.12.05. Подписано в печать 06.03.06
Формат 60×88/16. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Печ. л. 15+ 2 вкл. 2 печ. л. Усл. печ. л. 16,66. Уч.-изд. л. 16,9
Изд. № С/05/444. Тираж 3000 экз. (1-й завод — 1500 экз.) Зак № 7028

*

Воениздат, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1



резиденция АРИДЕП

Мемориал и Музей защитников Чако

Дворец Президента

Этнографический музей «Андрес Барберо»

храм Покрова Пресвятой Богородицы

Национальный Пантеон Героев

улица МАЙОРА САЛАЗКИНА

улица БУТЛЕРОВА

улица КРИВОШЕЙНА

улица ВЕЙСА

улица КАСЬЯНОВА

улица ЛЕЙТЕНАНТА МАЛЮТИНА

улица БЛИНОВА

улица ИНЖЕНЕРА КОНРАДИ

улица ГОЛЬДШМИДТА

CIUDAD DE ASUNCION
VIAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

РУССКИЕ МЕСТА
В СТОЛИЦЕ ПАРАГВАЯ
АСУНСЬОНЕ

КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА
РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ
КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА





КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА РЕДКАЯ КНИГА
 РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ
 КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА РЕДКАЯ КНИГА



Щемящей тоскою рокочут те звуки,
 Те вещи звуки далекой страны,
 И слышится в них ваша скорбь,
 ваши муки,
 Ваш плач по Отчизне – России сыны!

И чудится в этом напеве печальном
 Биение многих мильонов сердец,
 России мне чудится
 многострадальной
 Величие, слава, неожиданный конец.

И вновь мои мысли далеко несутся,
 Как стаи пернатых к восходу с зарей,
 И слышу я – струны хвалой раздаются
 Тебе – русский витязь
 с солдатской душой.

Мне в память приходят
 минувшие беды,
 Походы твои, бесконечный твой труд
 Для нашей Отчизны,
 для нашей Победы,
 А струны мои тебе славу поют.

Иван Беляев



БОРИС МАРТЫНОВ



РУССКИЙ
 ПАРАГВАЙ